

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

В НОМЕРЕ:

ДАВИД АДЕСМАН
ЦВИ АЙЗЕНМАН
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД
ИЕУДА АМИХАЙ
НАУМ БАСОВСКИЙ
МАРК ВЕЙЦМАН
ИННА ВИНЯРСКАЯ
УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ
ЯКОВ ЗУГМАН
БОРИС КАМЯНОВ
ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ
АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ
ИСАИ КУЗНЕЦОВ
ЯКОВ ЛАХ
ЕЛЕНА МАКАРОВА
ОЛЬГА РОГАЧЁВА
ИРИНА РУВИНСКАЯ
ДАВИД САМОЙЛОВ
ЛЕОНИД СОРОКА
АЛЕКС ТАРН
РАХЕЛЬ ТОРПУСМАН
ВЛАДИМИР ФРЕНКЕЛЬ
ВЛАДИМИР ХАНАН
МАРК ХАРИТОНОВ
СУСАННА ЧЕРНОБРОВА
И ДРУГИЕ

N16



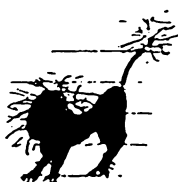
JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלם ספרותי

2003' 16

*Творческое объединение «Иерусалимская Антология»
и редакция «Иерусалимского журнала»
благодарят ЗАО «РОСТАГРОЭКСПОРТ»
и его руководителя Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА
за поддержку, оказанную в выпуске этого номера «ИЖ»*

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

①6 2003

Иерусалимский журнал, № 16, 2003

Ежеквартальный журнал современной израильской литературы на русском языке

Виртуальный вариант в Интернете: www.antho.net/jr/

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор),

Юлий Ким, Шимон Маркиш, Зинаида Палванова, Дина Рубина,

Роман Тименчик, Велвл Чернин, Светлана Шенбрунн

Ответственный секретарь – **Леонид Левинзон**

Художник **Сусанна Черноброва**

Веб-дизайн – **Карина Пастернак**

Редактура и корректура – **Бина Смехова, Любовь Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера – **Ольга Аксютинна,**

Михаил Бяльский, Борис Бронштейн, Даниил Бурштейн,

Лина Виленская, Виктор Гопман, Григорий Гордин,

Светлана Мойбер, Антон Мухин, Илан Рисс, Борис Штейн

Издательство «СКОПУС»

Типография «ЦУР-ОТ»



При поддержке

Центра интеграции репатриантов – деятелей литературы и искусства при Министерстве абсорбции и Министерстве образования, культуры и спорта;



Совета по литературе и искусству

при Управлении национальной лотереи «Мифаль а-паис»;



Отдела культуры

Иерусалимского муниципалитета.

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2003. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам.

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. O. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: review@antho.net

Тел. (972-2) 6720025; 6434005; 6432962

Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте, но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства по рецензированию и возвращению рукописей

Представители «Иерусалимского журнала»:

Москва – Игорь Грызлов, 5507747; igorgr@dol.ru

Виктор Инденбаум, 9157178; sifriya@mail.ru

Новосибирск – Владимир Болотин, 329944; bolotin55@mail.ru

Нью-Йорк – Андрей Грицман, 1-201-2250090; agritsman@msn.com

Рита Бальмина, 619-4606179; rita_balmin@yahoo.com

Чикаго – Александр Блинштейн, 1-847-6761134; rmasis1@home.com

Ефим Котляр, 1-847-5819304; YefimK@aol.com

Бостон – Татьяна Гольдмахер, 508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

Будапешт – Жужа Хетени, 361-3866277; hetenyiz@ludens.elte.hu

Париж – Владимир Смехов, vladimir.smekhov@wanadoo.fr

Торонто – Илья Липес, lipes@idirect.com

В Израиле:

Арад – Ольга Кравченко, 08-9971014. Ариэль – Самуил Кушниров, 03-9365452

Афула – Любовь Серегина, 04-6492095. Герцлия – Леонид Шейнкман, 09-9502681

Кфар-Саба – Виталий Кабаков, 09-7673293. Лод – Михаил Гиль, 08-9201291

Реховот – Марк Павис, 08-9353758. Хайфа – Михаил Басин, 04-8213657

Щеца Амихай

СОНЕТЫ

ИЗ КНИГИ «СЕЙЧАС И В ИНЫЕ ДНИ» (1955)

Из цикла «Мы здесь любили»

6

Наш дом – он замурован до утра,
подобно пирамиде. Над гробницей
гора безмолвий, горние ветра,
у входа – поколенья вереницей.

Когда же тело непробудно спит,
на стенах путь указан чётко,
который нашим душам предстоит.
Ты видишь? Проплывает лодка

и двое в ней стоят, а прочие гребут.
И звёзды вышние, неведомые тут,
уносит Нил времён, храня секрет.

Любовь нас держит, крепко оплетя.
И входит, вечность целую спустя,
весёлым археологом рассвет.

7

Высокие ветра текут над нами
и даже не касаются листвы.
Вот разве только облака быстры
и рябь струится нашими тенями.

Растрчивают брызгалки смеясь
наследственное достоянье – воду
в угоду травам, птицам, небосводу
и нам с тобой чуть-чуть. Не торопясь,

с далёких гор спускается туман,
ползёт во прахе, неуклюж, не зван,
угрюмо думу думая одну.

И морю близкому, укрывшись за курган,
вовек выкатывать нутро своё по дну
на берег, что и так настроен на волну.

14

Удары колокола нас пересчитали,
давно надежды обратились в прах.
Как не своё мы это оставляли,
как номер покидают впопыхах.

И будто из очей явился ветер.
Ушною раковиной выгнулся пейзаж –
подслушать среди всех шумов на свете
двоих, и позабыть про шёпот наш.

Уже деревья двинулись навстречу
безлюдною аллеей. Где же все?
Один, а остальные – на шоссе.

И ты уже одна, как банк под вечер,
внутри он золото хранит. И ты.
И забытьё ползёт из темноты.

20

Мы любили тут. Действительность была уловкой
Как раненая, пресса издавала вой.
За буквами газетных заголовков
мы прятались вдвоём с тобой.

Из новостей передавали что-то
и будто в воду канули слова.
Рычавшие подались на охоту,
рыдавшие – на поиски родства.

Лихим достались лучшие места,
влюблённым оставалась их мечта,
в стаканы чайных дам закапала тоска.

Застыли в ожидании войска,
навек они захвачены войной
и не вернутся никогда домой.

23

Стена внушений трещину дала
и зажурчала лепета струя.
В любви все правы, девочка моя,
и дорог этот миг и снова жизнь мила.

Машины¹ влюблены и замедляют ход,
дороги глядя, ласково шурша,
достаточно и сени шалаша
и им, и нам на весь медовый год.

Мужчины носят первую любовь,
а не медаль за пролитую кровь,
весь мир открыт, надежда без помех

границы переходит, как дитя,
что, пальчиком по карте проводя,
касается весёлых пятен всех.

ИЗ КНИГИ
«НА РАССТОЯНИИ ДВУХ НАДЕЖД» (1958)

НЕ ЖДАЛИ МЫ

Не ждали мы, пока уймутся воды
потопа, что всю землю затопил,
но дым, валивший из трубы завода,
конечно, знал, что мир обманут был.

Его переломило налетевшим ветром,
в тревоге поглотила высота,
и знали мы уже, что в мире этом
свободны меч и голод, и мечта.

Ночная жуть уже недалеко,
и месяц, как на картах, ворожит,
осенние раскинув облака.

Лишь воздух, что пропеллерами бит,
смешался тихо с теми, кто не спит —
любил и он, и мучила тоска.

ЮНЫЙ ДАВИД

Когда победный первый гул затих,
Давид вернулся в общество ребят,
они в кольчугах новеньких своих
по-взрослому держались все подряд.

Охриглый смех и по плечу шлепок.
Кто сплёвывал, а кто – бранился на чем свет.
Давид же, позабыт и одинок,
впервые понял, что других Давидов нет.

И Голиафову башку куда девать?
О ней он будто начал забывать,
хотя ещё за волосы держал.

Тяжёлый и ненужный матерьял.
И птицы вдаль кровавые плывут,
не слыша, как и он, вопящий люд.

ГОРА СИОН

В смятении всё на дыбы взвилось
внезапно перед каменной стеной –
псалмы, ступени, проволоки ость,
могильники и кипарисов строй,

что знали всё, но замерли, когда
стреляли из молитвенных рядов
очередями плача. И без дальних слов
шофары не оставили следа

от бывшей тишины. Лишь высилась стена,
монашеское доносилось пенье,
и минарет за церковью Успенья.

уже не целил ввысь – макушка снесена.
Но выстлали они ковровый разноцвет
Давиду своему, которого там нет.

Перевел с иврита Яков Лах

Яков Лах

ТОГДА ЕЩЁ ОН ПИСАЛ СОНЕТЫ...

Заметки переводчика

В стихах «новых» израильских поэтов, написанных полвека назад, неожиданна плавность производимых ими разрушений классической поэтики – это не камни, разбрасываемые оттого, что время пришло, а будто портик с частью колоннады рифм и размеров отделился от здания и повис в стороне, как отвязанный воздушный шар.

Вот строки первого (по времени) из этой плеяды – Давида Авидана:

*Кто-то пытался стереть пятно со стены.
Но слишком тёмным было оно...
Такилиначе – осталось пятно на стене.*

*... стал я кухонным ножом соскребать пятно со стены.
А нож был до боли остр.
Его наточили вчера.
Итемнеменее.**

(Из книги «Краны с оторванными губами», 1954)

Кажется, что рифмы у поверхности, затянуты тонкой плёнкой, стоит лишь поскрести ногтем...

И то же у Натана Заха:

*Дай мне то, что у дерева есть, чего ему не потерять,
и дай мне свойство утрачивать то, что у дерева есть.
Тонкий эскиз, прочерченный ветром во мраке июньской ночи,
и темень, в которой ни образа, ни чертежа.*

(Из книги «Иные стихи», 1960)

Может быть самое «нездешнее» писал тогда Исраэль Пинкас, но и у него прощупывается пульс – не размера, но сложного ритма, а слова узнают друг дружку по созвучию:

*И вдруг опечалился я
по ослабшим, и плачется горько по братьям
по старшим: Шимон, Реувэн
и Левй, они в рыхлую землю ушли,*

* Переводы с иврита здесь и далее мои. (Я. Л.)

*во мрак подземного дома,
где волосы их продолжают безумно
расти, а также – настёрные ногти
с целью, неведомой мне.*

(Из книги «Ужин в Ферраре», 1961)

На молодых поэтов 50-х годов, несомненно, влияла поэзия западноевропейского авангарда, но жили они в иврите, вырастали из израильской поэзии, и выходили у них строки, по форме напоминавшие и библейские тексты, и традиционные стихи. Это лучше всего, пожалуй, видно в первых двух сборниках Иуды Амихая:

*Бог жалеет детей в саду,
школьников – чуть поменьше,
а больших уже не щадит,
оставляя одних,
а когда-нибудь им придётся ползком
по горячим пескам
добираться до сборного пункта...*

(Из книги «Сейчас и в иные дни», 1955)

*Молчанье моё большое и малый крик – будто в упряжке осёл
и бык. Я воду прошёл и огонь прошёл.
Был и в Риме, и в Ерусалиме. Может, поеду в Мекку.
Но сегодня прячется Бог, и «Где ты?» – звать человека.
Вот она – слава твоя.*

(Из книги «На расстояньи двух надежд», 1958)

«Новые» стихи у Амихая вполне уживаются на одной странице с классическими размерами и регулярными рифмами (я написал было «мирно уживаются», но амихаевские метафоры мирными не назовёшь). Тогда он ещё писал сонеты и рубайи, и циклом из двадцати трёх сонетов «Мы здесь любили» завершается его первая книга. А вторая – открывается сонетом «Не ждали мы».

Ирина Рувинская
ИЗ ИЕРУСАЛИМСКОЙ ПЕТЕПРАДИ

Стасю

1

любительница русского фольклора
ну каково
в окне огни огни ерусалима
на полке мегилат-эстер и тора
и никого
и лишь тоска неуголима
и видно скоро скоро
добьется своего

2

тут зимою не выпросишь снега
а весной так ручьев не хватает
правда осенью слава богу
листва пусть не вся облетает
и представь даже мальва с ромашкою произрастают
и не одни колибри
родные наши вороны и воробьи летают
и сосёт конечно тоска
но сосёт не гложет
и пускай душа свой дом
 позабыть никогда не сможет
но обвыкнет как-то наверно освоится что ли
может потом
то что спать не дает назовет «фантомные боли»

3

променяв соотечественников на соплеменников
по праву крови
и себя ощущая то как изменников
то как чудом спасшихся от катастрофы
под беспощадным небом этой земли
что на карте заметна едва и уже не кажется раем
ходим пьем из бутылочек воду
 говорим иногда слова
привыкаем господи
 привыкаем

4

о чем? о том что солнце немилосердно
что по дождям тоскуешь
почти как по людям
а думать и думать о том что случилось
вредно?
но мы об этом сейчас не будем
тогда о чем? о том что новых уже немало
на душе бессмертной
да и на теле меток
и торной дорогою понемногу стала
тропка
протопанная в «шаарей-цедек»*?
но вот немыслимое лето идет на убыль
взрывы неблизко
подешевели сливы
ведь падает шекель все же не так
как рубль
и все живы *барух а-шем*
покуда живы

5

дождь налетит и запахнет землею земля
даже на миг позабудешь ты тут или там и
горло сожмет
но оранжевыми цветами
иерусалим зацветает в конце января
радио имена говорит говорит по утрам
битком по утрам набит автобус
а дома
твой лопухий дудит в трубу как в шофар
упрямо стучит в барабан
кричит «бегома шалома»
тянет «купить» за собою рифму «убить»
только дешевле всего
все равно на рынке
и надо легкую черную куртку себе купить
в таких тут ходят марокканки и филиппинки

* Больница в Иерусалиме.

Елена Макарова

В МИЗЕРЕ

Поселяются вместе два фантастических идиота, Моисей Фрицевич и Яков Петрович, на съемной квартире в Ашкелоне, по триста шекелей с носа. И союз этот хуже брака по расчету, последнее недоразумение.

У каждого свои фотографии, – черно-белое прошлое с обломанными углами. Вытряхнуть содержимое коробок на круглый стол, перемешать солдатиков в пилотках, евреев с желтизной в котелках европейских, ассимилированных, парней в трусах широких, стрижка бобриком, с пальмами картонными да девами румяными в шароварах и лифчиках белых... Некто на ослике, дамы роскошные, декольтированные, с лорнетами и сумочками, и дамы строгие, до подбородка застегнутые, дети в рюшечках и дети шпанистые, мальчик толстый с глазами тоскливыми, памятники такие и сякие, мал человек и ничтожен у их подножья, – поди, догадайся, кто стоит у монумента в честь.

У Моисея Фрицевича все сложено в ящик из-под ручного пылесоса, да и сам он, как пылесос, гудит и все, что ни попадая, в себя вбирает, а потом долго над этим кумекает; у Якова Петровича для тех же целей приспособлена коробка из-под печенья «Праздничное», и сам он тоже, выеденный, но все еще праздничный, ждет вестей с родины, считает, что его многие там любили, но дорого стало отправлять оттуда письмо; все, что его там любил, на пенсии, и он на них копит.

К примеру, не купил курицу за 10 шекелей, – сэкономил 2800 рублей, это же живые деньги, Фрицевич!

Моисей Фрицевич затыкает уши и кричит, потому что его бесит примитивное был бы сыт. В нашем возрасте пора понять смысл, а не думать о прокорме! В чем смысл нашего с тобой пребывания в этой, с извинения сказать, схар-дире ашкелонской, среди воров и потаскух пляжных, как мы попали в этот еврейский оазис, зачем мы здесь?!

Яков Петрович лыбится и подхватывает языком верхнюю челюсть. Когда человек худеет, он худеет весь, и челюсти перестают держаться, а пригнать их – на это надо копить, что важней, его личное неудобство или пенсионеры, которые там его любят и им нечего есть.

Яков Петрович одет для морской прогулки, Моисей Фрицевич имеет обычай набрасываться по утрам, – может, ему стоило бы выходить на люди, за что уж так их ненавидеть... С его образованием, с его знанием языков...

У Фрицевича нет родного языка, – жил он то ли в Польше Литовской то ли в Литве Польской, оттуда попал на Урал, с Урала –

уже точно в Польшу, намотал себе хвост, или шлейф, не знаешь, как выразиться поаккуратней, – идиш, польский, литовский, русский, немецкий да «иврит каля», все у него в голове путается, прошлое с настоящим, идиш с русским, – тяжело с ним.

Все это Яков Петрович уже не думает, а говорит вслух. За столиками на берегу моря израильская молодежь в купальниках пьет кофе. Роскошь недоступная, в смысле выпить кофе, он в ту сторону и не смотрит, просто сидит себе на лавочке не один и любитесь на молодежь. Рядом с ним – старушка Сима из дома престарелых, «бейт-авот» на иврите, Яков Петрович говорит про Фрицевича, а она ему – про спятивших престарелых, которые за ней следят и обзывают зона, то есть блядь, они завидуют ей за что, что она встречается с Яковом Петровичем и изливает ему душу.

К тому же у Фрицевича была какая-то черепно-мозговая травма, и травма повлияла на речь, она у него отрывистая, иногда замрет на каком-то слогe, – и не знаешь, ждать вежливо продолжения или плюнуть и уйти в свою комнату. Только уйдешь, как у него механизм речи наладится, и он стучит кулаком в стену: «Яков, Яков, ком цу мир!»

Старушка Сима поддакивает, а сама смотрит на молодых, как они в воде плещутся, как любят друг друга без всякого сокрытия чувств, и думает, дура я была, дура идейная, всю юность прохлопала, а сейчас так ей хочется раздеться да блякнуться в пену волн вместе с шоколадными израильтянами и мармеладными израильтянками, или на лыжах вон тех прокатиться по гребням пузырчатым, – но что скажет «бейт-авот», и так на нее с Яковом Петровичем все косятся, хотя между ними четкая дистанция – ни он к ней, ни она к нему, есть, правда, маленькие, дробненькие движения с ее стороны, то шаль натянет на плечо, то отпустит, то юбку на коленях разгладит, то гребенку поправит в волосах, есть и со стороны Якова Петровича встречные акции, то свернет газету «Время» в трубочку, то развернет и положит на лавку, аккуратно между ними. Скверная израильская печать, а вернее – русскоязычная, так руки пачкает.

Яков Петрович показывает Симе руки, но та не обращает на это никакого внимания – она смотрит в сторону кафе. А что если сделать жест и пригласить Симу в кафе, нельзя же так беспочвенно копить на пенсионеров, которые, конечно же, его любят и не шлют писем из-за дороговизны отправки. Но Сима наверняка бы отказалась – на что нужен чай за три с полтиной шекеля в гуще голой молодежи, если дома можно выпить в тишине и бесплатно, ну не совсем бесплатно, за пятьдесят агорот. Дело, конечно, не в чае, а в движении души – в самом порыве слиться со своим народом, к чему они всю жизнь стремились, а вышло хуже интерната.

Моисей Фрицевич, улегшись на кровать, думает о том, на каком языке он думает? И думает ли он вообще?! Интересно, если бы у человека изначально не было никакого языка, мог бы он размышлять, что за образы роились бы в его снах, ведь сны – это изнанка сознания, но если есть изнанка, то предполагается и лицевая сторона. Возьмем недавний сон с никелированными кроватями. Он – однозначно из детства. Зачем ему было ребенком часами смотреть на самого себя в кривое зеркало никелированных шариков? Зачем всю свою долгую жизнь он смотрел в зеркала? Из страсти к самопознанию? Везде, где были зеркала, он смотрел в них. Чтобы убедиться: раз Моисей Фрицевич отражается, значит, он существует. А что, если накапливать отражения нефотографическим способом, без припечатывания к бумаге? Захотел себя, молодого, – вызвал, не надо – махнул рукой, и отражение рассылось.

Моисей Фрицевич махнул рукой, призвал свое утреннее отражение. Оно не слишком его обрадовало – под голубыми глазами – отвислые карманы, в них за ночь накапливаются слезы, беззубый рот-воронка...

Самым интересным объектом в мире является он сам, Моисей Фрицевич, и этой истины он ни от кого не скрывает. В лагере он ставил опыты на своих отражениях: способен ли этот обросший, голодный человек в драной телогрейке жить со своим имманентным отражением, очищенным от грязи и стружек, отражением, влюбленным в другое отражение, имеющее форму женщины?

В комнате Якова спертый воздух. Самого его нет, но Моисей Фрицевич видит, как вздымается на его животе одеяло; отражение Якова дышит тяжело, как паровой котел. Оно укрыто подбородком, и голова на подушке кажется отсеченной от тела. В каких уродов превратило их время, как удалось им дожить до такого вырождения?! На себя-то тошно смотреть, а тут еще этот котел старой конструкции, б/у, – маленькое сморщенное личико с неестественно белозубым ртом, – так и уснул в зубах, лентяй...

«Тени. Тени родят тени. Тени родят тени теней. Питом мишеху, ше ани ло макир бихляль, светит и убивает их светом», – думает Моисей Фрицевич, сам уже не понимая, что думает. Голубое море с пароходиком вдаль, пустырь с клочками высохших трав, красная машина, под которой лежит человек, отражаются на его сетчатке. Ноги человека кажутся отрезанными от тела, неужели там, под капотом, есть голова и все, что положено целому человеку? В ответ на это медленно выползает большое тело, тащит за собой круглый живот, плечи, маленькую лысую голову... Уж не Яков ли Петрович? Нет, это совсем другой, и вовсе не старый, лысый молодой человек...

Яков легок на помине – идет с моря, да не один, с дамой. Дама в шали и чем-то голубом, Яков молодцеват, дама подвижна. Они останавливаются на углу. Яков уговаривает, дама жметя. Неужели ему еще не наскучило знакомиться и читать русскоязычную прессу?

Они сворачивают за угол, они уходят!

Моисей Фрицевич стоит у двери, прислушивается, а что если они сделали круг... Но шагов не слышно. Он смаргивает слезы. От слез, что так себе текут из старых глаз и застывают у углов, образуя желтоватые катышки, никакая крыша не проломится. Крыша, как свидетельствует Мишна, может проломиться от внезапной слезы. Так случилось с раввиншей, которая двадцать лет ждала своего мужа-рава, а тот все не шел к ней, учился. И когда, наконец, стоя на крыше, она увидела его, из ее глаз выкатилась такая огромная слеза счастья, что проломила покрытие; раввинша провалилась в него и разбилась насмерть.

Мишну Яков не проходил. Типичный советский еврей. Но если типичный советский еврей не принесет хлеба и молока...

В окне слишком много курорта, столько людей и моря никому не нужно. Моисей Фрицевич закрыл ставни и призвал отражение старого грека из Храма Гроба Господня. Тот сидит в маленьком храме внутри большого и взглядом останавливает прохожих, они, как загипнотизированные, подходят к иконе и дотрагиваются рукой до какого-то камня. Лицо грека – это отраженный свет. Улыбаясь, Моисей Фрицевич задремывает.

Яков Петрович, приподнятый, на цыпочках, с хлебом все в той же газете грязной, появляется на пороге и шнырь в свою комнату. Достает коробку из-под печенья «Праздничное», зарывается в нее, скребет по днищу как пес, лапами, подгребают под себя черно-белый песок бытия, что-то ищет и не находит, поскольку не знает, чего ищет, он взбудоражен, не знает, куда себя деть.

С коробкой подмышкой он приотворяет дверь к Моисею Фрицевичу. Тот сидит за столом в банном халате, сортирует фотографии. Жаждет отыгаться.

– Показываем интимные тайны, – хихикает Моисей Фрицевич, завидев отражение Якова с двумя волосками на отлете.

Они сидят друг против друга и перемешивают фотографии. Тузы – монументы, Короли – они сами, Дамы – ясно кто, Вальты – друзья, а остальное – групповые снимки, от десяти до двух человек на каждом. Джокер – прекрасная дама из колоды Моисея Фрицевича – в декольте и длинной юбке в обтяжку, с сумочкой.

Яков расписывает пулю.

Моисей Фрицевич думает о девах Якова – в белых лифчиках и шароварах с картин Дейнеки. Бестии.

В ночи останавливается время, скапливается в ушных раковинах, давит изнутри, Моисей Фрицевич и Яков Петрович, красные и потные, вытирают лысины синей туалетной бумагой.

Свет от настольной лампы освещает игру, сами же игроки в полутьме, тасуют фотографии, следят друг за другом пристально, чтобы без блефа. Три кона сыграли – джокер не объявился. А не припрятал ли Моисей Фрицевич прекрасную даму? В отместку за то, что он, Яков, проваландался с «бейт-авотницей» и не купил ни хлеба, ни молока.

Яков ведет, но впереди отыгрыш, в шесть заходов. Жарко. Он открывает ставни, распахивает окно. Море тихое, звучат цикады, вдали все тот же пароходик с огнями.

Моисей Фрицевич открывает карту. Джокер. Прекрасная дама в декольте и длинной юбке в обтяжку. 300 очков.

Почему она – джокер? Только потому что ее шлепнули? А кого из колоды пощадили?

Двух идиотов, которые играют в карты на деньги, которых у них нет.

Послушать их, да и отправить в дурку:

«Мамой не крой, Ленин взял Маркса, дамы спорят, взял тебя с пальмой, а я тебя с Крейсером Аврора, Крейсер Аврора Туз, но я-то Король!»

Яков Петрович продувает. Он в мизере из-за дамы сердца Моисея Фрицевича. Попалась она ему не вовремя. Минус 300.

Но и Моисей Фрицевич промахивается, – заказал две взятки в расчете на монументы, а Яков Петрович ему раз – и снова Джокер.

Дама эта действительно особенная. Никому не подыгрывает.

Яков Петрович вдруг как рассмеется.

А что тут смешного?

– Послушай, Моисей Фрицевич, а что если бы... они видели... как мы в них... играем?!

– И показываем интимные тайны..., – подхватывает Моисей Фрицевич.

Море шумит, цикады трещат. Пароходик подмигивает с горизонта.

Яков подсчитывает очки.

Никто никому ничего не должен.

Ни они нам, ни мы им, ни мы друг другу.

Ничья.

Развеселились оба. Укладывают дам в лифчиках и шароварах в коробку из-под пылесоса, а чопорных и декольтированных – в коробку из-под печенья «Праздничное». Джокера, даму сердца Моисея Фрицевича, по долгому размышлению, уstraивают на ночлег отдельно.

А что если, думает Яков Петрович, а что если... прекратить экономить, да пригласить Симу в кафе...

А что если, думает Моисей Фрицевич, взять вот прямо сейчас и выйти к морю...

Пароходик подмигивает, цикады поют, море молчит.

Все хорошо, только слезы мешают.

Яков Петрович выходит из ванной. В дрожащей руке – кружка с зубными протезами.

– Яков, известно ли тебе, что слеза, искренняя, от счастья, способна проломить крышу?

Яков кивает, берет со стола коробку из-под печенья «Праздничное» и скорей – в свою комнату. Пока милость Фрицевича не сменилась на гнев.

Моисей Фрицевич лежит у открытого окна и думает о греке, осевшем на старости лет в Иерусалиме. А его ночлежка – в Ашкелоне, тоже святая земля. Рядом с ним, в коробке из-под пылесоса, спят дейнековские девы в белых лифчиках и черных шароварах...

Постанывает море. Или Яков Петрович?

На каком языке он думает?

Постепенно расчищаются вавилоны и авгиевы конюшни.

Моисей Фрицевич дотягивается рукой до стола, нащупывает фотографию дамы сердца, кладет ее на подушку и гасит свет. Чуть приподнявшись, он смотрит в темное окно. Много воды. Моря он не заказывал. Значит, минус триста. И дама, на которой лежит его неподвижная ладонь, вне игры. Мизер.

На рассвете набегает волны, приносят с собой ветер.

Скрипит ставня, храпит Яков Петрович.

В оконных рамах, как в люльке, раскачивается отражение Моисея Фрицевича.

Владимир Френкель
НА ЭТОМ ЗЕМНОМ БЕРЕГУ

* * *

Миндаль цветет почти под снегом
Вблизи, вдали,
И день-деньской мешает с небом
Цветы земли.

А снег безжалостно ломает
Ветвей крыла,
И здесь никто не различает
Добра и зла.

Но как внезапно, открываясь
Для всех и всем,
Неудержимо, не считаясь
Уже ни с чем,

Цветет миндаль, объединяя
Ерусалим,
От края неба и до края,
И мир, и Рим.

Как очевидна и мгновенна
Для всех, не счесть,
До всех пределов экумены
Благая весть.

Цветет миндаль неистребимо
За веком век.
От Иудеи и до Рима –
Цветы и снег.

* * *

Стихи о свободе и смерти,
Из самых последних, из тех
Стихов, что в закрытом конверте
Укроем совсем ото всех,

Стихи о покое и воле,
Как сказано было давно,

Слова и слова и не боле,
А более нет ничего.

Когда, ни о чем не заботясь,
По берегу моря пройдем,
Волна отпечатает оттиск
Песчаный – и тут-то пойдем,

Что мы загостились, однако,
На этом земном берегу,
И впрямь не заметили знака
На мокром песке, на бегу.

* * *

Наблюдая вечерами
Дней связующую нить,
Целый мир в оконной раме
Я могу вообразить.

Благо, надобно немного
Из того, что знаем мы:
За деревьями дорога,
Небо, дальние холмы.

* * *

Не оглянись, если что оставил –
Все поглотили дни.
Жизнь – это, право, игра без правил,
Да ни к чему они.

Ах, наконец, я и сам уеду,
Вот и меня здесь нет.
Жить – это значит идти по следу
Мимолетских лет.

Надо бы нам поменять местами
Судьбы и времена.
Мы никогда еще не устали
Жить – и ничья вина,

Если нечаянно сходим с круга
В ночь, где ветра шумят,
Не окликаая во тьме друг друга,
Не посмотрев назад.

* * *

*Не знаю, кто из нас пилот,
А кто летит за ним.*

1974

Здесь на Иудейские холмы
Постепенно наползает тень.
Тьма берет у сумерек взаймы
Полчаса, заканчивая день.

Эти складки резкие теней
На камнях вовеки не забыть,
Это все становится темней,
Быстро, быстро, не остановить.

Ангел ночи крылья распростер
Надо всей пустыней без огня.
На глазах сужается простор
Жизни и единственного дня.

Все едино – плачь или молись,
Скоро все окажется во тьме.
Даже и единственная жизнь,
Поутру дарованная мне.

Тут и дел всего-то ничего –
День прошедший как-то помянуть.
И забыть скорее про него,
А иначе ночью не уснуть.

Ночью без обмана над землей
Совершает медленный полет
За звездой, за ангелом, за мной... –
Помнишь?.. – тот единственный пилот.

СТРОФЫ НА ПОБЕРЕЖЬЕ

1. Давай неслышно поговорим
Вначале Бог весть о чем.
Пускай останутся мир и Рим
Не к месту и ни при чем.
2. Крута завещанная земля,
От жажды суха навек.
Порой здесь кажется – я не я,
А кто-нибудь – имярек.
3. Следам его на земле отцов
На желтых камнях не быть.
И вдаль до греческих островов,
Пожалуй, уже не плыть.

4. Угрюм и древен морской прибой,
 Подробен отсчет минут.
 Волну волне догонять волной –
 Упрямый сизифов труд.
5. Не все дороги ведут туда,
 Где путь указывает Рим.
 Над темным миром плывет звезда
 В небесный Ерусалим.
6. А здесь – граница миров. Не столь
 Граница, как место встреч.
 Сухая горечь, земная соль,
 Свобода, морская речь.
7. Свободна эллинская строфа,
 Библейская речь горька.
 На желтом камне – моя стопа.
 На мокром песке – строка.

* * *

*И ничему не возродиться
Ни под серпом, ни под орлом.*

Георгий Иванов

Повсеместно обломки Эллады
На камнях, на песке, островах,
То базилики часть, то ограды,
Средиземное море в глазах.

То ли греки, не то византийцы,
То в истории темный провал.
Мореходы, торговцы, убийцы,
И монахи, и четок сандал.

Слишком много веков пролетело.
Равнодушное время ушло.
И философы нынче без дела,
И поэтов всего ничего.

Как промолвил угрюмый вельможа:
Не такие, мол, царства, гляди,
Пропадали как в воду. Ну, что же –
Все империи здесь позади.

Что же делать, скажите на милость,
Если время закончилось тут,
Что история не пригодилась...
А смотри – без нее и живут.

* * *

Средневековых городов
Узорно-каменная кладка
Так убедительна, что слов
Не стоит тратить, и оглядка
Тут ни к чему – куда ни глянь,
То двор двенадцатого века,
То неф готический, и впрямь
Дела и вера человека
Неколебимо тут живут,
По временам впадая в ересь,
Но их за то не призовут
К ответу, с истиною сверясь.
Ведь здесь история, как соль,
Осела так неповторимо,
Свою доигрывая роль
На сценах времени и Рима.

* * *

Венеция медленно проплывает,
Как будто пустилась в дальний путь.
Наверно, в вечности так бывает:
Никто не знает, куда – и пусть.
Где вид дворцовый, а где картинка
Всего лишь в книге... Пройдут года,
Никто не помнит, с какого снимка
Проходит берег, рябит вода.
Полдновым светом слепит в лагуне
Глаза – но виден уже причал.
Венецианке – девице – лгунье
Когда-то встречу я обещал.
Так вот «застроенное пространство»!
Свиданье с ним, как сказал поэт.
Секрет сиянья венецианства –
Стоянье вод и течение лет.
Наверно, к полудню будет жарко.
Толпа туристов. Никто не ждет
Меня в соборе святого Марка,
Куда неспешно течет народ.
Канал давно покрывает ряска.
Дворцы и площади клонит в сон.
А вся Венеция – только маска
На карнавале былых времен.

* * *

Через ливонские он проезжал поля.
Вокруг была печальная земля,
Незная, разве что проездом
Увиденная, да и то лишь для
Сужденья об истории нелестном.

Он думал, что история никак
Не отразилась тут, и если знак
Какой-то и оставлен, то не ею.
Река, дубрава, может, буерак...
Природа вечна – кто мы перед нею?

Спустя года, в других местах, потом,
Он думал все об этом же, о том,
Что наше время слишком быстротечно.
Природа знать не знает о былом.
А то, что знаем мы, увы, не вечно.

А между тем одно уж то, что он
Окинул взглядом этот небосклон,
Латвийские песчаные дороги,
Останется до будущих времен,
Покуда помним тютчевские строки.

* * *

Почти на окраине русского языка,
Его пересудов и кривотолков,
Куда долетает еще пока
То, что осталось имперских осколков...

Нет, погоди, не об этом речь.
Тут, на окраине, в нашей отчизне,
Где ничего уже не сберечь
Дольше одной-единственной жизни,

Покуда словарный запас не весь
Еще разбазарен, еще исправен,
Стоило здесь оказаться, здесь,
Где лишь язык с бессмертием равен.

Владимир Ханан
ДВА РАССКАЗА

«БЕССОННАЯ НОЧЬ» В ВОЛГОЛАГЕ

— Вот что я никак не могу вспомнить, — говорила мать, — по какому случаю мы с отцом были приглашены. Седьмого ноября или Первого мая. Не зима и не лето, точно. А вот весна или осень...

Праздник отмечали в Волголаге — в лагере, который располагался на другом берегу Волги, напротив их городка. Это сегодня нужно пояснять, что речь идёт о лагере — зоне, в которой сидели заключённые, а тогда, если о лагере не говорили «пионерский», всем было ясно, о чём идёт речь.

Всё было как обычно: торжественная часть, потом концерт, после концерта танцы. Концерт силами лагерной самодеятельности — но видели бы вы эту самодеятельность! Известнейшие артисты, «звёзды», как сказали бы сегодня, тогда так не говорили — к тому же мало кто знал, что они сидят. Статья была — за работу на врага на оккупированной территории, конкретно — за то, что выступали — перед немцами. Никого не интересовало, на что бы они жили, если бы не работали. И после концерта — танцы. Кто танцевал? Понятное дело, гости — в лагерь съезжалось всё окрестное начальство, не только из их городка. Не заключённые же, ясно.

— Там среди артистов был такой красавец, — говорила мать, — что все жёны начальства на него облизывались, как кошки на мышь. Необыкновенной красоты шатен, молодой, и с такими большими печальными глазами.

Мой отец был среди начальства из самых молодых, а мать ещё на одиннадцать лет моложе и к тому же красавица, а красавицы, как известно, никого не боятся; по крайней мере, моя мать была из таких. Она просто взяла, подошла к начальнику лагеря и сказала ему прямо, что все женщины — имея в виду жён начальства — умирают, так хотят потанцевать с этим красавцем. Так и сказала: «умирают, так хотят». И начальник, посмеявшись, разрешил. Мать рассказывала мне это не один раз, и каждый раз в этом месте я чувствовал возмущение. Эпизод был прямо из рабовладельческой жизни: высокородные жёны просят дать им раба поиграть. Как игрушку. Мать в своём поступке, как и в желании женщин пообниматься с красивым молодым мужчиной, ничего плохого не видела. Даже наоборот: ему, она говорила, тоже было приятно, это было видно. Причём, обстоятельство, что он был заключённым, исключало ревность начальственных мужей. Это-то, по моему мнению, и было самым отвратительным: к рабам не ревнуют. — Ты, — говорила мать, — всюду видишь

сложности, а всё было просто: нам хотелось потанцевать с ним, ему – с нами. Ну, как ей объяснишь?

На высоте оказался отец. Когда красавец-артист после танца подвёл маму к нему, отец спросил, давно ли он здесь. – Давно, – сказал артист. – Надолго? – Ещё ... лет. – Дома жена и?.. – Только жена. – И все эти годы?.. – Да, – сказал артист, – только письма, раз в год.

Отец, как мне кажется, не был большим храбрецом. А сейчас – то ли он не понимал риска, то ли понимал, но шёл на него сознательно (Сталин был ещё жив)... Короче, он договорился с начальником лагеря, что артиста отпустят к нам домой на один день, а потом отец доставит его обратно. Подробности этого договора я не знаю, знаю только по более поздним временам, что отец умел разговаривать с любым начальством на равных, не теряя достоинства и не тушуясь. Может быть, это и подействовало. В общем, к нам домой они вернулись втроём. Дома гостю устроили баню, предоставив горячую воду и корыто (о ваннах в городе знали смутно), вкусно накормили, а потом отец позвонил телефонистке – в нашем доме телефон был без диска – и соединил его с Москвой, с домом.

– Мы вышли, – сказала мать, -- и оставили его. Не знаю, сколько он говорил с женой, но через некоторое время я почувствовала что-то неладное. Я вошла в комнату, он сидел на кровати (телефон был в спальне), зажав руки коленями, и у него было мёртвое лицо. Его жена, эта... (мать у меня не выражалась) вышла замуж. Самое омерзительное, что за энкаведиста, который вёл его дело, к которому и она ходила на допросы. Доходила. Он сказал: «Отвезите меня в лагерь сейчас». Я пробовала его успокоить, но он говорил, отвезите сейчас, я хочу в лагерь. Отец отвёз, вызвал машину и отвёз, а что мы могли сделать. А потом – он умер. Кажется, пошёл на колючую проволоку... и погиб. Так говорили.

– Господи, мама, – сказал я, – ты что-то путаешь. Ты же рассказывала, что вы с ним встретились в начале шестидесятых, в театре... Какая смерть? Какая проволока?

– Точно, – сказала мать. – Точно, я перепутала с этим, про которого мне рассказывала Зина Кувшинова, она тоже тогда была на вечере. Правильно – мы встретились в Москве, уже при Хрущёве. Во МХАТе, не помню спектакля, мы сидели впереди в партере, там он нас со сцены и углядел. И в антракте подошёл, знаешь, так, сзади, взял меня за плечи и сказал: «Вы помните, Лида, как мы с вами танцевали танго?» Представляешь? И имя запомнил и танец. Вот так. А жена его, оказывается, дождалась, но сейчас он женат на другой, молоденькой, из их театра. И ты знаешь, когда он это рассказал, мне расхотелось с ним говорить. Конечно, он настрадался, но... Между прочим, твой отец не был таким уж большим храбрецом. Просто я сказала ему, что он ревнует меня к этому шатену. Вот он и пошёл к Закревскому – доказать мне, что это не так. Ах, да... мёртвое лицо. Раз я пришла

домой, это уже много-много лет спустя, а он сидел на диване, ладони зажаты коленями, и вот такое лицо... Мне бы понять, а я не поняла – только через месяц, когда он умер. Внезапно, в магазине, стоя в очереди. А тогда, в тот день, он сказал: «Я жалею, что плохо о тебе заботился. Платьев мало покупал...» Получается, подводил итог.

А сейчас я сижу, только руки не так, и тоже вспоминаю. Помнишь школьную тему «первый бал Наташи Ростовской»? Мы с отцом бывали в компаниях, и в рестораны ходили... но чтобы это можно было назвать балом... А там, в лагере, пел Козин и ещё кто-то, не менее известный... Артисты, знаменитости, и этот шатен... Выходит, что мой первый и единственный бал был в лагере для заключённых. Даже помню, как называлось танго: «Бессонная ночь».

ЛИЗА

– Барин! Барин! Ну, ба-а-рин же!

Высокий молодой человек в офицерской фуражке и юнкерской шинели со споротыми погонами и красной повязкой на рукаве – Толмасов обернулся и увидел девочку лет шести, закутанную в большой рваный шерстяной платок.

– Что тебе? – спросил Толмасов.

– Там барышня, – сказала девочка, – там барышня просит...

– Какая барышня? Что просит?

– Помочь, – пояснила девчушка. – Просит помочь.

– Хорошо, – сказал бывший юнкер. – Если просит помочь, веди.

Обходя покрытые тонким ледком лужи, они дошли до переулочка, свернули, у четвёртого от угла дома девчонка стукнула кулачком в парадную дверь, «застеклённую» грязным куском фанеры: здесь.

Толкнув дверь, Толмасов оказался в тёмном подъезде, где метрах в трёх от себя увидел силуэт девушки в белой («беличьей» – подумал он) шубке. Ещё через секунду, уловив взмах белой руки, он отпрянул в сторону – и вовремя: мимо его головы просвистел немалый, судя по звуку удара о входную дверь, камень. Силуэт нагнулся, но Толмасов прыгнул вперёд и крепко сжал руку, уже почти ухватившую новый камень.

– Что такое? Что вы делаете? – крикнул он, выпрямившись вместе с девушкой. – За что вы хотели меня убить?

– Ненавижу хамов, – лицо девушки было бледно. – А ещё больше ненавижу дворян, которые служат хамам. Ведь я не ошиблась – вы дворянин?

– Бывший, – сказал Толмасов. – Бывший дворянин и бывший юнкер.

– Значит, ошиблась, – сказала девушка. – Я всегда думала, что дворяне не бывают бывшими. Но сейчас это уже не важно. Кроме того, когда я шла за вами, мне понравилась ваша шинель,

на неё я могла бы выменять... Хотя это тоже уже не важно. Можете меня вести к этим... вашим... товарищам.

— Оставьте товарищей, — сказал Толмасов. — Я отведу вас домой. Хотя, похоже, что охранять нужно не вас, а от вас. Куда вам?

— Недалеко, — сказала девушка. — Сейчас далеко от дома не отходят.

На улице Толмасов разглядел её. Светлая шатенка, почти блондинка, судя по прядям, выбившимся из под меховой шапочки, стройная даже в шубке, под которым виднелось коричневое платье знакомого Толмасову покроя.

— Смолянка? — спросил он.

— Смолянка, — ответила она и, чуть помедлив, добавила: — на сей раз действительно бывшая.

Её лицо, абсолютно белое в сумраке подъезда, на улице порозовело и оказалось необыкновенно привлекательным. Контраст её мягкой, склонной к улыбке, приветливой мимике составляли глаза, серьёзные и глубокие, смотревшие как бы внутрь собеседника.

— Я провожу вас до квартиры, — сказал Толмасов, когда они остановились у её дома, — сейчас небезопасно даже в подъездах. А впрочем, — он усмехнулся, — кому я это рассказываю.

— Поскольку вы меня не арестовали, — сказала она, — вы вполне можете считаться моим спасителем. А спасителей вводят в дом, а не бросают у дверей. Идёмте.

На стук дверь отворилась так быстро, что было ясно, девушку ждали.

— Боже мой, Лиза! — взволнованно говорили пожилая женщина в пенсне, с внешностью классной дамы. — Где ты была? Я уже Бог знает что передумала! В такое время! Это счастье, что тебя проводил молодой человек. Представь нас... ах, нет — беги скорее переоденься, я боюсь, ты простудишься, мы обойдёмся без тебя. Меня зовут Мария Дмитриевна, а вас?

— Алексей Григорьевич, — сказал Толмасов, — можно просто Алексей.

— Тогда, Алексей, сейчас мы попьём чаю, и хотя он без сахара, это настоящий Высоцкого, а не какой-нибудь там морковный...

— Спасибо за приглашение, — сказал Толмасов, — но увы, должен идти: служба. Если можно, я...

— Конечно, попрощайтесь с Лизой, — не дала договорить Мария Дмитриевна. — Лиза, — крикнула она, — к тебе можно?

В маленькой комнатке, куда вошёл Толмасов, стояли ломберный, знававший лучшие времена, столик, стул и узкая, аккуратно заправленная кровать.

— Лиза, — сказал Толмасов, — нас свели не совсем обычные обстоятельства, но я хотел бы думать, что вы больше не желаете моей смерти. Может быть, это покажется вам странным, но я рад, что всё так получилось... И уж коли вы меня не убили, мне кажется, что я имею право на продолжение знакомства. Вы разрешите мне вас навещать... хотя бы изредка?

– Я уже не хочу вашей смерти, – сказала Лиза. – И даже вашей шинели тоже... Приходите, когда сможете. Мы... Я почти всегда дома.

...Через два месяца Толмасов и Лиза шли, взявшись за руки, по узкой улочке Петроградской стороны.

– Когда-то в этих местах жила моя няня, – говорил Толмасов, – Она умерла в начале войны, когда я уже был в училище. А вон там жил мой сокурсник Зайдлиц, барон из прибалтийских немцев. В его квартире был роскошный камин. Может, и сейчас есть: это ведь не так просто – украсть камин.

Они прошли во двор, потом во второй и неожиданно оказались перед невысоким, явно временным забором.

– Ну, нет, – сказала Лиза, – по дороге к камину нас ничто не остановит.

– Осторожно, – крикнул Толмасов, но Лиза уже была по другую сторону забора.

– Вы думаете, только вы убегали из своего училища без разрешения, – рассмеялась она, – плохо же вы знаете смолянок.

Камин в квартире был, как ни странно, в исправном состоянии, о чём свидетельствовали недавнего происхождения угли. Из мебели присутствовали широкая продавленная тахта, такого же вида кресло, в углу лежали превращённые в дрова останки пары стульев.

– Не хватает только ананасов в шампанском, – сказал Толмасов, когда бывшие стулья вспыхнули. – Чем не рай, а мы с вами не Адам и Ева до грехопадения.

– Кстати, о грехопадении, – проговорила Лиза. – Кажется, я чересчур расхвасталась. Похоже, что на этом проклятом заборе я порвала одну весьма интимную часть туалета... и к тому же на весьма интимном месте. – Скажите, Алёша, – она смотрела прямо ему в глаза, – Вас это... совершенно... не волнует?

– Волнует, – сказал Толмасов. – Очень волнует... Я...

– В таком случае, – сказала она, – отвернитесь и не подглядывайте.

Когда минуту спустя Толмасов обернулся, Лиза лежала в платье на расстеленной на тахте шубке, спокойно, как на своей девичьей кровати, легко вытянув руки вдоль тела и молча смотрела на Толмасова.

Уже через минуту Толмасов лежал рядом, зарываясь лицом в её лёгкие пушистые волосы, целовал глаза, шею, щёки, мягкие, нежно открывавшиеся ему навстречу, губы, бормоча какие-то ему самому не понятные слова...

– Лиза, – говорил он уже после, обнимая всё ещё разгорячённое тело, – прости, тебе было больно, я не знал, что...

– Ага, – сказала Лиза, – а ты уже, конечно, решил, что перед тобой барышня с опытом. Надеюсь, тебя не огорчило, что ты у меня первый мужчина... и ты даже не представляешь себе, как мне хочется сказать – навсегда...

– Навсегда. – Сказал Толмасов. – Навсегда – назло этому сошедшему с ума миру. Навсегда – назло этому чёрному от крови времени. Назло всесильному злу и ослепшему Господу Богу – навсегда.

Через полтора месяца вернувшийся из Гатчины, куда их часть была послана на умирение взбунтовавшихся казаков, Толмасов узнал от Марии Дмитриевны, что Лизу, накануне вечером неосторожно вышедшую из дома, изнасиловала группа пьяных матросов, после чего тело бросили в канал. Ещё через два дня, выведя из строя пулемёты полка, Толмасов бежал на Дон, где его следы окончательно затерялись.

Мария Дмитриевна пережила Гражданскую войну с послевоенной разрухой и дождалась лучших дней, в один из которых – в феврале 1942 года – умерла от голода в блокадном Ленинграде.

Честно говоря, эта история, рассказанная мне внучатой племянницей М.Д., не произвела на меня большого впечатления. Подобных было читано не одна и не две, Революция давно превратилась в строку из учебника истории, а Гражданскую войну заслонила Отечественная с Катастрофой, задевшей и мою семью. Однако произошло нечто странное: не слишком взволновавшая меня история прочно засела в сознании и решительно не желала из него уходить. Мало того, – настоятельно требовала от меня литературного воплощения. Раздумывая об этом, я вспомнил рассказ одного чудака, побывавшего, по его словам, на том свете, – о том, что художественное произведение на самом деле создаётся в горних – скажем мы высоким слогом – мирах и лишь затем выбирает себе (само или его автор, что, по сути, одно и то же) писателя-исполнителя. В результате подобных размышлений у меня появилось основание считать, что в данном случае я избран некими высшими силами на эту самую исполнительскую роль. В общем-то, в ситуации, в которую я, по всем признакам, попал, не было ничего для меня унижительного, если, конечно, не обижаться на качественную сторону «высочайшего» выбора: кому-то «Война и мир», а кому-то... ну и так далее. Нельзя сказать, что я не сопротивлялся: как минимум пару месяцев отговаривался неактуальностью темы и заезженностью сюжета. Настойчивость, с которой услышанное требовало письменного оформления, ставила меня и ещё перед одним вопросом: какое, спрашивается, отношение имею я, пожилой еврей, внук торговца и правнук мельника, к любовной истории молодой дворянской пары – юнкера и институтки? Единственная более или менее рациональная мысль, которая пришла мне в голову – это что все мы – независимо от расы, национальности и тому подобного – связаны между собой родственными, пусть и не всегда ощущаемыми, узами. Хотя бы через прародителей Адама и Еву, которых, как я сейчас думаю, не случайно в очень важный для нашей истории момент упомянул её герой – бывший юнкер Алексей Толмасов.

Елена Аксельрод
МЕЖДУ ПАЛЬМОЙ И ЛИПОЙ

* * *

Н. и Л. Кутиковым

Когда-то была я слегка опальной,
Но никогда – гражданкой великой.
Вот и теперь – лишь уставлюсь на пальму –
Нехотя взглядом встречаюсь с липой.
Зелено, холодно – жарко, голо –
Мутная явь, наподобие клипа.
Пальцы пальмы сжимают горло –
Перед глазами маячит липа.
Жизнь маскарадная, все понарошку –
Рукопись стала крошкой-кассетой.
Села на корточки, глажу кошку –
Даму дородную полусвета –
Свет загорожен наполовину,
Ибо окошки завешаны липой.
Месяц дожди поселковую глину,
Щебет, урчанье, чавканье, всхлипы.

Завтра я с пальмой махну на свиданье,
С гордой любимицей полного света.
Снова урчание и щебетанье.
Ливня усердного песенка спета –
Ливня, которому я подпевала
Вместе с далекими, милыми – вами.
Было ли это иль не бывало?
Что же мне делать с моими правами
В небе метаться в поисках крова,
Если любое жилье иллюзорно,
Если бывшее пристанище – слово –
В тине озерной, в сухости горной
Не разглядеть, не найти, не присвоить?
Рукопись смыта, стерта кассета.
Пальма и липа, одни вы – живое –
Дети дождя, порождение света.

* * *

Отгороженный дождем,
Пруд прикинулся дорогой,
Черным глянцевым листом,
Распластавшимся полого.

Отгороженный прудом,
Лес прикинулся горою
С переливчатым хребтом,
Под которой мы с тобою,

Не забыв про лес и пруд,
Поселились ненароком,
Где знакомый наш верблюд,
Повернувшись лысым боком,

Нас встречает что ни день –
Та же поза, тот же профиль.
Как ему стоять не лень –
Без фалафеля, без кофе?

Благо, туча не грозит,
Благо, ни дождя, ни града.
Только высохший зенит,
Только мы и небо рядом.

2003

* * *

Я возвратила ссуду,
Сдала свои дела,
Смахнула всю посуду
С разбитого стола.
Но черепки сверкают –
Часы, недели, дни –
И будто намекают:
Очнись, нам жизнь верни!
Те лунные тарелки,
Тот лиственный узор
Не так уж были мелки,
Коль помнишь до сих пор
И полдень на поляне,
И полный до краев
Кувшин хмельных желаний,
Неосторожных слов.

2003

Может, от неприютности,
 может быть, с непривычки
Полюбила я, как родного,
 тощей земли клочок.
Вон как за жизнь цепляются
 плюща-бедолаги косички,
Скорей расплетайтесь, милые,
 а коль приуныли – молчок.

Здесь баловница-землица.
 Копнешь – и уткнешься в камень.
Как ухищряются корни
 смягчить неуступчивый нрав?
И вот ладони лимона
 глажу своими руками,
Сбитый ветром фонарик
 загорается между трав.

Горькую кожуру я накрошу в бутылку...
Вихрами плюща заслонившись,
 сядем с гостями за стол
И распечатаем вместе от Господа Бога посылку –
Пляшущий палисадник
 и на опохмелку – рассол.

* * *

Я в детстве не была ребенком,
Я в зрелости не стала взрослой,
Не заливалась смехом звонким,
Страшилась лишнего вопроса,
Сама не спрашивать старалась.
Десятки лет недоуменья
В тяжелый ком сплелись под старость,
Но не прибавилось уменья
Ни друга спрашивать, ни Бога,
За кем бежать, играя в салки,
Как не судить о ближних строго,
Не замечать в колесах палки,
И, не оглядываясь – мимо –
В качалку – с музыкой и книжкой...
Пока заждавшаяся мина
Не разорвется черной вспышкой.

2003

* * *

Дети и птицы щебечут
Не на моем языке.
Гнутся к земле мои плечи –
Ветви гнутся к реке.

Что ни денек – все ближе –
С Летой накоротке –
Ветви течение лижут,
Льнут к ледяной щеке.

2003

ГРЕШНА...

1

Как просто нам дается грех,
Как трудно покаянье!
Давным-давно замолкший смех
Смутит и, вспыхнув, канет
В провал безмолвный – в забытье,
И я почти забыла
Тот светлый чад – добро свое,
Которое сгубила.
А вспомнишь – сладко защежит,
Винишься ты и плачешь,
Забравшись в свой пустынный скит,
Воспоминая прячешь.

2

Потому-то, наверно, бессонницей маюсь,
Что во сне просыпается совесть,
Колобродит, бесчинствует... Я подымаюсь,
Разлепляю глаза, чтоб незваную

в слове

Запереть, но она, бестелесная, тает,
Забивается молча за черные шторы.
Вроде сплю...

Тут как тут она. Память листает.
За тяжелыми шторами – шепот и шорох.

2003

* * *

Ф. Я.

Отец – мой Бог, сын – Господин...
А я, как перст, посередине.
Не помудрела от седин,
Не видела склоненных спин,
Как следует богине.

Не Божья дочь, не Богоматерь –
Весталка в стираном халате,
Не знающая Благодати,
Не заслужившая проклятий –
Что ни затею – все некстати.

Нарушившая все обеты,
Варю нехитрые обеды
На нас двоих,
Безбожных сих.
Не присягнувши на безбрачье –
Знай разливаю суп горячий.

2003

* * *

Памяти отца

Твой голос не умер в квартире пустой,
Тебя не забывшей, еще заселенной...
Ты сам их когда-то пустил на постой –
И рощи, и лодки, и крымские склоны.
Их голос сливался с твоим, глуховатым,
Их цвет состязался с приморским закатом.

Живет твое зренье в квартире пустой,
Печаль о мальчонке в картузе глубоком –
Притушены краски его нищетою,
Понуриясь, глядит не израильским оком,
К столу прислонив свой пастушеский посох...
Ты здешних увидел бы – громкоголосых...

Как будто меня на бессрочный постой
Вселили в бетонные эти квадраты.
С тобою в обители нашей пустой –
Не пусто. По стенам гуляют закаты,
Летят тамариски в лиловые дали
По белой извеске, по диагонали.

2003

* * *

Горизонтальный веник пальм
В совок окна сметал соринки,
А ты не видел их, ты спал,
Как нищий спит на пыльном рынке.
И мне б заснуть, чтоб нищий дух
Оставил скаредную душу,
Но слышу я, как ветер сух
И жар трясет, как ветер грушу,
Мою, еще живую плоть,
Надежды мятую сорочку...
Как славно – пустоту полоть,
Под солнцем гнуться в одиночку
И вдруг заметить, что росток –
Причуда робкая меж сора
Земли бесплодной, мертвых строк, –
Моргнув, проснулся у забора.

2003

* * *

Как примирить гармонию и хаос?
Безукоризненны черты лица,
Но что-то чуждое в глаза прокралось –
Блеск зимней стали, синева свинца...

Своих богатств чурается природа –
Казнит, бичует самоё себя.
Топя себя в дождях, не ищет брода.
Свирепый зной зовет, себя слепя.

Гармонией дареные мгновенья –
Очковтирательство для простаков,
Сумятицы пропущенные звенья,
И где счастливы те, что без очков

Их разглядят? Есть простак такие –
Не пряча зависти, смотрю им вслед.
Свой лад в душе у них, и нет стихии
Сильнее их непрошенных побед.

2003

* * *

Ф. Я.

Ветер не театральный,
Ветер не показной,
Качели на детской площадке
Кружатся, а не взлетают.
Пальма, как панк нахальный,
Желтой трясет волосней,
Своей макушкой зеленой
Пыльную книгу листает.

А я – не панк и не пальма,
Смотрю из окна на бурю,
Взглядом встречаюсь с ней.
И будто завеса спала –
Просту мучаюсь дурью –
Сколько недель заспала!
Ветер меня живей.

Вдохни в меня силы, милый,
Сам побуянь немного,
Слегка подтолкни качели,
В небо смурное подбрось.
Окна я перемыла,
Не надо смотреть так строго,
Мы долго прожить сумели –
Вместе, как пальма и ветер,
Как снег и пустыня, – врозь.

2003

ДВА ЛЕТА

Цокот шаров бильярдных,
Шелест газеты в беседке,
Сбивчивый говор машинки,
Треск надломившейся ветки –
Летний замес тишины...

Смех юнцов шоколадных,
Спасателя окрик редкий,
В бокалах лодочки-льдинки.
Выстрел редкий, но меткий –
Летний замес не-войны.

1973, 2003

Ольга Рогачёва

ЗНАЮ, КОГО ПОЖАЛЕЮ

СУДНЫЙ ДЕНЬ (ЙОМ-КИПУР В МОСКВЕ)

В день, когда я вернулась, убили еще четверых.
До свидания, новых таможен, тележек, тунгусов,
впрочем, диких по-прежнему. Островом стал материк.
на рябиновых листьях – следы комариных укусов,
проступает по яголке осень, мороз достает
до застёжек на лифчике... дальше идти разучилась.
До свидания, новых заслуг перед жизнью, холодных щедрот,
выдаваемых мной сгоряча за последнюю милость,
впрочем, неудивительно. Речный дождик сквозит.
Под салями кассеты вопят о любви и разлуке,
и отчества запах, дешёвый поместный транзит,
протрезвеет, несвежей газетой испачкает руки.
Нас с пути не свернёшь! До чего хороши облака!
Проплывают, гляди, над говяжьим, с подливочкой, храмом.
Золочёную крепкую луковку тронет Господня рука
И простит, и помирует, с ложки накормит – за папу, за маму,
и, пока что живой, ты отыщешь пельменную, в ней – уголок,
над безгрешной тарелкой вздохнёшь о чеканке устава
и, склонившись над собственной тенью,
 столовским ножом её срежешь у ног
и в соборных лесах отмахнёшься от римского права.
Пусть себе говорят! Пусть плеснётся на поздний асфальт
и коньяк за лимон, и омоновский кукольный пристав,
и четвёртой волны торопливый скрипичный дискант,
и компьютерный вирусный кашель в домах оптимистов.
Я запомню всё это, я милую долю с ладони сглотну,
я и капли не дам темноте сентября на затравку.
До свидания, новых зарубок, себе оставляю одну –
в счёт кленовых венозных зарубок
 на красном листе,
 укрывавшем московскую травку.

* * *

Всё то же самое, что в двадцать пять, что в сорок:
неделя рассыпается на ворох
бессмысленного яркого тряпья.
И в зеркале покачиваясь, я

не узнаю себя, да зеркало ли это
или на тёмной стенке блики света
застыли... а светило пронеслось
и нет его, и мы по жизни врозь.

Так ласточка беззвучно гнёзда лепит,
и высыхает глина, пережив
себя, насельников, чуть слышной жизни лепет,
тепла мгновенный перелив.
И я, сестра моя, и я леплюсь к стене,
и я боюсь и холода, и жара,
и шва меж ними, и борьбы теней
под крыльями, и бархатного жала
соседей по судьбе и суете,
их резких песен, их молекул мёда,
их траектории в зрачках детей,
раскрытых пустоте иного рода.
Прости меня, ты во сто раз смелее.
Склонив крыло над лепесточком глиняным,
душа запомнит медный привкус клея
и не утратит собственного имени.
Спасение созвучно благодати.
Прости, когда мне воздуха не хватит.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Город закончился, стихло метро,
в мокрой траве остывает перо,
птица теряет свободу,
месяц грозит небосводу.
плач пересмешника, шёпот колёс,
посвист бескормицы, тряска полос
светом ударит по стёклам –
беженским обликом блёклым.
Холодно спать в не своём октябре,
боязно прятать лоскут в серебре,
к сердцу его прижимая...
Стынет ладошка немая.
Мне бы вернуться, вернуться домой,
в город застывший, напрасный, но мой,
соли прибрежной напиться,
злиться заморскою птицей.
Мне бы с тобой повстречаться ещё –
веткой промокшею, ветром у щёк,

неба глотком в амальгаме,
пылью, песком под ногами.
Мне бы... но рельсы текут по кустам,
детям, бессонницам, милым устам,
сласть обернется потехой.
Ты не успеешь доехать.
Скоро ли? Выглянешь – лес, голоса,
серого света четыре часа,
спи, берегись, просыпайся,
с облака вниз не спускайся.
Слышишь? Домой – на бегу, на века
йодом, мазутом полны облака,
спи на сквозном и заветном,
ранку укачивай ветром.
В облаке греется птичье крыло,
Богу отрадно, любви тяжело,
месяцу быть в небосводе,
мне – сообразно свободе.
Ближе к станице, южнее маня,
доля-сестрица торопит меня,
сердится, плачет, смеётся,
в руки никак не даётся.
Спи, не боли у детей и зверья,
теплая темень родного жилья,
мира, улады, покоя –
есть на земле и такое.
Въедешь на облаке. Спи, я слежу:
как убаюкала, так разбужу,
знаю, кому тяжелее,
знаю, кого пожалею...

Цви Айзенман

ГОЛУБИ

У фокусника была черная, острая бородка, длинный нос и пронзительный взгляд.

В черном блестящем костюме с белым накрахмаленным воротником, оттенявшим смоляную черноту бородки, он стоял на сцене маленького театра в уездном городе N. В перекрестном свете двух ярких юпитеров его лицо казалось призрачным и отчужденным. Фокусник стоял почти неподвижно, только его руки постоянно двигались, то подбрасывая вверх какие-то деревянные колеса и бутылки, то ловко извлекая из рукава разноцветные шелковые ленточки. Махнет рукой направо – и ленточки вдруг превращаются в часики с серебряными брелками, махнет налево – и перед зрителями те же часики, но уже без всяких брелков. Публика неистовствует от восторга. Хлопки, свист, выкрики, но фокусник и в ус не дует. На миг его неутомимые руки успокаиваются, он отвешивает низкий поклон, на лице застывает та же гримаса отчужденности, а глаза посверкивают, как лезвия. В зальчике воцаряется тишина, и снова руки мага разбегаются в разные стороны. Острая сабля на виду у всех в одно мгновение становится расписным платком, красочный платок – пышными цветами, кудесник швыряет цветы в зал, зрители ликут, надрыдают от смеха животики, но ликование достигает предела позже, когда фокусник, продемонстрировав перед собравшимися пустой чемоданчик, решительным жестом закрывает его, кладет на столик, накрытый аляповатой скатертью, простирает над ним руки, что-то загадочное шепчет, громко хлопает в ладоши, и тут крышка чемоданчика неожиданно отлетает, и оттуда под потолок взмывают белые голуби. Голуби парят над сценой, машут крыльями, но вот волшебник снова хлопает в ладоши, и вся голубиная стая тут же слетается в чемоданчик. Бородач захлопывает крышку. Выждав минутку, он решительным жестом снова откидывает ее – и уже в помине нет никаких голубей, нет шелестящей белизны. Чемоданчик пуст.

Публика ликует, свистит, кричит, топает ногами, но фокусник и вида не подает, что взволнован, он чуть заметно наклоняет голову и косится на мальчонку, который должен дать занавес. Но сорванец не замечает косых взглядов своего кумира, Шлеймке захвачен и ошеломлен зрелищем, его слух еще полнится шелестом крыльев, а глаза лихорадочно ищут голубиную стаю.

Так повторялось на каждом представлении. Затаившись в уголке за кулисами, Шлеймке терпеливо ждал той счастливой

минуты, когда из чемоданчика к потолку взмоют голуби, когда они в свете юпитеров закружат над залом, и волна восторга от их ослепительной белизны захлестнет сердца. Сколько раз он из-за кулис следил за их завораживающим полетом, сколько раз поражался тому, что происходит перед его глазами. Во все это было трудно поверить! Но как не поверить, если Шлеймке слышал, как вылетевшие из чемоданчика голуби машут крыльями и рассекают густую, коричневую тьму крохотного зальчика, если воочию видел, как, покружив над креслами, птицы внезапно исчезают в широкой пасти чемоданчика. Всякий раз Шлеймке становилось грустно оттого, что он без промедления должен был дать занавес и еще оттого, что в маленьком зальчике не оставалось ни одного зрителя. Юпитеры гасли, усталый фокусник со своими часиками, лентами и таинственным чемоданчиком, покинув сцену, медленно и степенно отправлялся в примерную, по пути к ней расстегивал свой накрахмаленный воротник, извлекал из кармана свой не волшебный носовой платочек и принимался вытирать со лба росинки пота.

Войдя в примерную, фокусник запирался на ключ, а Шлеймке еще долго воровато подглядывал за ним в замочную скважину: чудотворец сидел, развалившись в кресле, один ботинок снят, рубаха распахнута, кумир что-то смачно жует. Своими длинными пальцами он выуживает из круглой миски какой-то жирный кусок, быстро проглатывает и тщательно облизывает свои чудотворные пальцы. Шлеймке было страшно – могли «застукать». Он отскакивал от двери и ждал, когда волшебник закончит свою трапезу.

Как только фокусник после трапезы выходил из «театра», Шлеймке тут же увязывался за ним. На дворе уже владычествовала ночь. На улицах ни души, а в домах темным-темно, до дешевого постоянного двора – рукой подать. Где-то на углу еще тускло светились окна единственного в городке питейного заведения... Фокусник скрывался за толстой стеклянной дверью. Шлеймке подходил к окну и прижимался к нему лицом. Внутри заведения посетителей уже почти не было. Только за одним столиком сидела какая-то парочка. Женщина плакала, вытирала слезы, а мужчина придвигал к ней непочатый бокал с вином. По соседству с ними за другим столиком спал умаявшийся пьянчужка – упавшая на клеенчатую скатерть кудлатая голова взъерошена, руки свисают к половицам. Прислуга – дебелая девка – лениво подметала пол, ставила на пустые столики кресла и, сладостно потягиваясь, громко зевала.

Фокусник купил у сонной буфетчицы папиросы, закурил, затаился, одной рукой ущипнул за румяную щеку молодуху, а другой продолжал крепко держать свой волшебный и доходный чемоданчик. Через некоторое время он величаво вышел из заведения и шагом победителя направился к постоянному двору, хозяин которого именовал его не иначе как отелем. Шлеймке остановился напротив вспыхнувшего окна, за которым жил за-

езжий гость, и, благоговейно застыв, погрузился в нешуточные раздумья о том, как же его кумиру с такой легкостью удастся из обыкновенного чемоданчика выпускать на волю такую стаю белоснежных голубей.

– Как же это ему удастся? – терзал себя Шлеймке. Ведь он за кулисами следит за каждым движением фокусника, ему знаком каждый взмах его руки. Что же он такое делает, чтобы голуби то взмывали под потолок, то снижались так низко, что их можно ухватить за крылья и даже пощупать?

Размышляя над этим, Шлеймке не мог оторвать взгляда от светлого пятна на стене постоянного двора, словно там, за окном, был ответ на все тайны волшебства, с которым он, Шлеймке, столкнулся с тех пор, как в городе появился этот странный бородач. Порой ему чудилось, что там, за освещенным окном постоянного двора-отеля, летают не мухи, а голуби, чистые-чистые, белые-белые, такие, что зажмуриваешься от их белизны; они парят в воздухе, едва размахивая крыльями. Гаснет свет в окне, и они исчезают бесследно, и Шлеймке остается в непроглядной ночи один – один на всем белом свете. Одиночество пугало мальчика, и он вдруг пускался наутек, домой, в убогую хату, которая чернела далеко-далеко от этого постоянного двора, на глухой окраине, где гуртовались все бедняки. Он бежал по безлюдным улицам, и вдогонку за ним мчалось гулкое эхо его башмаков, стучащих по мостовой.

Дома Шлеймке встретила его испуганная, заждавшаяся мама:

– Откуда ты? Так поздно?

– От голубей... Может, ты знаешь, как он их выпускает из этого чемоданчика.

– Что ты мелешь? Какие голуби? Какой чемоданчик? Ложись лучше спать... Умаялся ведь!.. И что-нибудь перекуси перед сном. Картошка, наверно, уже остыла. Не могу же я столько времени на кухне огонь жечь...

Шлеймке не стал есть, бухнулся в кровать, в которой он уже еле уместился, и долго не мог сомкнуть глаз.

– Может, у его чемоданчика двойное дно? Может, он прячет этих голубей в рукав? А может, это и не голуби вовсе?

Больше всего Шлеймке радовался приходу субботы. В субботу мама на будничное платье надевала свое плюшевое пальто и отправлялась к соседям, которые на каменных крылечках часами обсуждали свое житье-бытье. Когда мама уходила, к Шлеймке приходили его дружки-одногодки, и убогая хата сразу оживала, наполнялась шумом и весельем. Утихомирив горлопанов, он выходил на середину комнаты и заговорщически, шепотом цедил:

– Сейчас я вам покажу что-то очень интересное.

При этих словах он убегал в сени, и вскоре возвращался оттуда в длинном отцовском костюме со стоячим воротником из блестящей глянцевой бумаги. Руки его тонули в огромных от-

цовских рукавах, а лицо непривычно удлиняла черная, слепленная из ваты и смоченная в чернилах, борода. Шлеймке придвигал к себе кухонный столик, ставил на него чемоданчик, застывал в неподвижной таинственной позе, окидывал всех пронзительным, острым, как лезвие ножа, взглядом, и в хате наступала непривычная тишина, которую нарушали только тиканье часов да прерывистое дыхание Шлеймкиных дружков.

Шлеймке медленно и властно простирал над чемоданчиком руки с дрожащими от волнения пальцами и принимался бормотать какие-то непонятные слова. Затем он громко, с тайным значением, четырежды хлопал в ладоши, откидывал, пытаясь унять дрожь в коленях, крышку и, когда из чемодана густыми клубами начинала валить пыль, во весь голос восклицал:

– Смотрите, смотрите, они летят, вы что, не видите, они летят!..

– Кто? – допытывался Мотл Кривой.

– Голуби!

Дружки, как по команде, вскидывали голову, но, не увидев ничего кроме облака пыли, раздражались хохотом. Пыль, пыль, пыль, твердили они и незаметно выскальзывали за дверь. А он стоял как вкопанный, растерянно и неотрывно глядя на раскрытый чемоданчик.

Под вечер возвращалась мама, зажигала керосиновую лампу:

– Что ты стоишь в темноте? Что ты там, сынок, видишь? – испуганно вопрошала она, глядя на Шлеймку, который стоял в задумчивости, склонившись над старой рухлядью.

– Голуби улетели, взмыли и улетели.

– Откуда?

– Из чемоданчика.

– Опять ты со своими голубями! Втемяшилась же тебе такая чушь в голову! Опомнись!

– Мотке Кривой просто слеп, как котенок. Голуби и впрямь взмыли из чемоданчика. Закружились над столом и комодом и улетели, мои дружки ничего не видели. Они и вправду слепые... слепые... Ей-богу... А я видел... видел...

– Что ты, сынок, городишь? Что за голуби, что за дружки? Больше я тебя ни за что к этому заезжему греховоднику не пущу.

Шлеймке замолкал, отводил в сторону взгляд. Не обращая внимания на уговоры и запреты матери, он стоял у зачерненного ночью окна и думал о том, как в следующую субботу снова отправится в театр к своему любимцу, к часикам с серебряными брелками и белым голубям.

Так он и сделал.

Театральный зальчик был набит битком. Публика балагурила, раскатисто смеялась, лузгала семечки и ждала, когда на сцену выйдет фокусник. Но он не появлялся. За кулисами и в зальчике возник переполох.

– Где фокусник? Куда он девался?

В постоянный двор публика отправила нарочного – Шлеймке, он все-таки дает занавес. Пусть парень разведает, что случилось.

Чтобы зрители не скучали, за кулисами запустили старую пластинку про несчастную любовь и вечную разлуку.

Шлеймке бросился бегом к постоялому двору. Если бы его даже не попросили, он побежал бы туда сам. Ведь что за жизнь без этого волшебника, без его острого, как лезвие ножа, взгляда, без взмахов его длинных, роковых рук, без полета голубей под потолком?

Он бежал, задыхаясь, казалось, из груди вот-вот выпрыгнет его услужливое сердце... Шлеймке молнией влетел в зачуханный гостиничный номер, и перед его взором предстали залитая вином скатерть, пустые бутылки, перевернутый стул, а между столом и стулом поверженный кумир, маг и волшебник, с заплавленными глазами и с полураскрытым ртом, из которого несло перегаром, фокусник спяну что-то нечленораздельно бормотал, от его высокомерия и важности не осталось и следа. Шлеймке решил приблизиться к нему, он больше не испытывал к нему ни страха, ни почтения. Ведь пьянчужка, валявшийся под столом, даже отдаленно не был похож на статного и величавого фокусника. На нем уже не было ни его черного, элегантного костюма, ни стоячего накрахмаленного воротника. Вся его величавость вдруг испарилась. Переборов в себе колючее, жалостливое отвращение, Шлеймке притронулся к его рукаву, фокусник в ответ сделал какое-то слабое движение рукой, что-то прохрипел и замолк. Казалось, он уснул, но Шлеймке не хотел уходить ни с чем. Глаза у него засверкали, как лезвие ножа, дыхание участилось, и он, забыв, зачем его сюда послали, принялся тормозить фокусника, тот с трудом поднял голову и осоловело уставился на дерзкого юнца.

– Скажите, я вас очень прошу, скажите, как это у вас получается... с этими голубями? – прошептал Шлеймке.

Кудесник не отзывался.

– Скажите, пожалуйста, – снова попросил мальчик, и вдруг среди этого смрада и разрухи ему почудились взмахи крыльев, и до слез захотелось исчезнуть, взмыть, улететь, чтобы больше никогда не возвращаться.

Вольный перевод с идиша Григория Кановича

Алекс Тарн

ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ

1

На выходе из самолета Бэрл протянул руку хорошенькой стюардессе и широко улыбнулся. «Не плачь, Клава, – сказал он по-русски. – Еще увидимся». Девушка не врубилась в непонятный текст, отчего ее профессиональная улыбка вышла несколько растерянной. Сложенная лодочкой робкая голландская ладошка потонула в необъятной бэрловой лапище.

«Цель визита?» – «Бизнес». Чиновник шлепнул печать, и Бэрл ступил в кондиционированные чертоги Схипольского аэропорта. Бутылка «Мартеля», предусмотрительно запасенная в Бен-Гурионе и безвозвратно иссякающая где-то над Альпами, не улучшила его настроения – пасмурного, в тон февральской северо-европейской погоде. Сидя в поезде, мчавшем его в направлении амстердамского вокзала, Бэрл спрашивал себя: в чем, собственно, дело? В чем, собственно, дело, парень, какого хрена свинячьего ты куksiшься?

Задача выглядела ясной на все сто, и в то же время оставляла столь любимую Бэрлом свободу маневра. Место? Бэрлу нравился Амстердам, беспечная, праздничная однообразность его разноцветных домов, концентрические полукружия его каналов, темные полукружия под глазами его веселых, безразличных, обкуранных обитателей. Время? Время, конечно, можно было бы подобрать получше. Например, июнь с его шумными фестивалями, живописной космополитической толпой и бесстыжими парочками всех комбинаций на многострадальной траве Вондельпарка. Или, скажем, сентябрь – цветочные парады, утомленное пресыщение ранней осени, желтизна первых листьев на воде каналов. А февраль... что февраль? – дождь и все тут; даже газоны Вондельпарка закрыты на просушку – то ли от дождя, то ли от спермы, щедро пролитой на них за отвязное лето... С другой стороны, дома зима выдалась на удивление сухой, так что Бэрл определенно соскучился по дождю.

И тем не менее, какое-то неприятное предчувствие не покидало его, назойливо копошась где-то в затылке, занудно поднывая в самом низу живота. Что за ерунда! На вокзале Бэрл прямоком проследовал в камеры хранения. Небольшой, но тяжелый чемодан ждал его в условленном месте. Пошарив во внешнем кармашке, Бэрл извлек оттуда пластиковую карточку-ключ в конвертике отеля «Мемфис». «Ну вот, дурочка, – сказал он сам себе. – А ты боялась...» Настроение и впрямь пошло на поправку,

и, весело насвистывая, дабы поддержать положительную тенденцию, Бэрл вышел на засеянную мелким зимним дождиком привокзальную площадь веселого города Амстердама.

Он отпустил такси на Музейной площади, за нескольких кварталов до отеля. На счастье, лобби «Мемфиса» было забито ордой азиатских туристов: не то корейцы, не то китайцы в одинаковых двцветных куртках, обвешанные тоннами кинофотовидеоаппаратуры, сварливо распределялись по номерам. Швейцар-суринамец, и чемоданные мальчики уже давно перешагнули порог чувствительности и теперь переживали азиатов как стихийное бедствие, уйдя в себя и уставясь в пространство с выражением безграничной покорности судьбе. Не привлекая в этой суете ничьего внимания, Бэрл поднялся на второй этаж и открыл дверь своего номера.

Острый запах опасности ударил в ноздри еще до того, как рука с пистолетом взметнулась ему навстречу. Шестым чувством просчитав чье-то присутствие сзади, он успел присесть одновременно с чудовищным ударом, обрушившимся на затылок, нейтрализовав таким образом большую часть фатальной разрушительной силы. Следуя инерции падения, Бэрл отпустил чемодан и, стараясь производить как можно больше грохота, всей своей стодесятикилограммовой массой рухнул в закуток между столом и комодом. И затих, оценивая ситуацию сквозь прикрытые веки.

Бэрл рассчитывал на то, что шум от их совместного с чемоданом падения собьет противника с ритма, и это позволит ему выиграть столь необходимые секунды. И впрямь, нападавшие замерли, напряженно прислушиваясь и на время выключив Бэрла из зоны первоочередного внимания. Их было двое, худощавых бородатых парней не оставляющей никаких сомнений наружности.

«Только куфии не хватает, – подумал Бэрл. – Суки драные...» Он ощущал странное, даже веселое спокойствие. В этой комнате ему повезло уже дважды. Во-первых, его не убили сразу, а значит, будут дополнительные шансы. Во-вторых, ему удалось с наименьшими потерями симитировать тяжелую отключку, что сулило просто-таки блистательные перспективы, тем более, что парни отнюдь не выглядели профессионалами.

Выйдя из первого оцепенения, они наконец обрели дар речи. Арабской речи... «Идиот, – придушенно прошипел первый, высокий араб с десятком золотых цепочек под расстегнутым воротом белой шелковой рубашки. – Это называется «тихо»? Ты же уверял, что сделаешь его без лишнего шума...»

«Да ладно тебе, Махмуд, – нервно хихикнул второй, в джинсах и футболке «Аякса». – Ничего страшного. От китаезов такой гвалт, что хоть бомбу взрываю – никто не дернется. Зато смотри, как я этого бегемота вырубил!» Он гордо взмахнул здоровенной бейсбольной битой.

«Еще как повезло...» – радостно отметил про себя Бэрл.

Махмуд подошел к телефону и набрал номер. Теперь он говорил по-английски. «Брат? Мы встретили гостя... Да, все в порядке. Как у тебя? Тихо? Ладно, оставайся пока там».

Он подошел к Бэрлу и присел перед ним на корточки, уткнув пистолетный ствол с глушителем под тяжелую бэрлову челюсть. «Эй ты, погань еврейская, – прошипел он, на этот раз на иврите. – Просыпайся, скотина!»

«Э, да парень, оказывается, полиглот», – подумал Бэрл, но глаз не открыл.

«Принеси-ка водички, – не оборачиваясь, сказал Махмуд. – Говорят, бегемоты только в воде разговаривают».

Бросив битую на кровать, парень в джинсах отправился в ванную. На спине его футболки красовалось знаменитое «Гуллит».

«Собака, – подумал Бэрл. – Какое имя марает...» Затем Бэрл думать перестал, ибо Махмуд наконец-то повернулся к нему виском, провожая взглядом уходящего «Гуллита». Самое время было воскресать. Сокрушительный удар лбом обрушился на махмудову височную кость. Так великий Гуллит бодал мячи, загоняя их в сетки ворот соперников мимо отваливших удивленные челюсти вратарей. Махмуд не стал исключением – он тоже отвалил челюсть, закатил глаза и обмяк.

Бэрл поднял пистолет, как раз чтобы приветствовать вышедшего из ванной «Гуллита».

«Поставь стакан на стол, мразь, – сказал он по-арабски. – Разольется, паркет жалко».

«Гуллит» икнул и поставил стакан. Бэрл выстрелил дважды. Затем он повернулся к бесчувственному Махмуду.

«Ты, я помню, водички просил, братан? – Бэрл аккуратно выплеснул на Махмуда принесенную покойным «Гуллитом» воду. – Пей, дорогой...»

Махмуд дернулся и открыл глаза. Его мутило, он с трудом сфокусировал взгляд на приветливой бэрловой физиономии.левой рукой Бэрл сгреб араба за рубашку вместе с бесчисленными цепками и встряхнул. «Говори», – только и сказал он и приготовился слушать.

Подгонять Махмуда не требовалось. Он говорил, косясь на две ровные симметричные дырочки во лбу привалившегося к стене «Гуллита», он тараторил, захлебываясь от честного непреодолимого желания рассказать все, даже самые мельчайшие подробности, так что Бэрлу приходилось время от времени ласково, но твердо останавливать эти потоки информации, когда они разливались на совсем уж неинтересных направлениях. Оба они знали, что Махмуд умрет, как только ему нечего будет больше сказать, и это знание наполняло махмудову душу острой сосущей тоской, ужасом и неутолимой потребностью говорить, говорить, говорить – без конца.

«Погоди-ка секундочку, – сказал Бэрл, будто вспомнив что-то. – Позвони-ка своему человеку вниз. Скажи, чтоб поднимался».

Махмуд с готовностью схватил трубку. Он говорил вполне естественно, даже подмигнул Бэрлу – мол, смотри, как мы с тобой его разыгрываем... Бэрл кивнул. Положив трубку на рычаг, он протянул руку и погладил Махмуда по голове.

«Молодец, братан, так держать».

Махмуд ободренно улыбнулся, и Бэрл, протянув вторую руку, резким движением сломал ему шею. Он сделал это так быстро, что бедняга даже не успел понять, что произошло, так и оставшись сидеть с приклеенной жалкой улыбкой на твердеющем лице, с безумной и робкой надеждой, застывшей в остекленевших глазах, отразивших последний акт драмы – короткую возню у двери и еще одну смерть, смерть преданного им товарища.

* * *

Бэрл запер входную дверь и, сделав глубокий вдох, заглянул в ванную. Девушка была там. Она стояла так, как мерзавцы пристроили ее стоять – наперевес через край ванны, на коленях, со связанными ногами, с кляпом во рту, с руками, прикрученными к вентильному кронштейну на противоположной стене. Тут же был кусок двужильного оголенного на концах провода, воткнутый в розетку для электробритвы. На белой, бессильно провисшей спине пламенели язвы сигаретных ожогов... Девушка мотнула слипшейся каштановой гривой и замычала. Это вывело Бэрла из оцепенения.

Развязывая узлы и осторожно перетаскивая на кровать бесчувственное тело, Бэрл не переставал напряженно просчитывать варианты. Судя по всему, девица была из группы обеспечения. Видимо, ее задача ограничивалась съемом этого номера и передачей ключа другому помощнику, тому, что оставил для Бэрла чемодан в камере хранения. Передав ключ, она должна была исчезнуть на пару-тройку дней. Ни у нее, ни у ее напарника не было и тени понятия о смысле и целях этих действий. Они не знали и не могли знать Бэрла, как, собственно, и он не знал их. Так что подонки зря мучили девочку – при всем желании ей было нечего им рассказать.

Непонятно другое – где произошла засветка? Предсмертная исповедь Махмуда об этом умалчивала. Да и что мог он знать, Махмуд, мелкая сошка... Небось, кайфует сейчас в своем мусульманском раю, пускает слюни, взгромоздившись на первую из положенных ему семидесяти девственниц, царапает ее в кровь своими золотыми цацками... Впрочем, кое-чем он все-таки помог. Во-первых, назвал имя босса, того, кто посадил в засаду махмудову группу. Абу-Айяд – старый знакомый, матерый волчара... Во-вторых – рассказал о другой группе, ушедшей за девушкиным напарником. Это наводило на грустные мысли не только о судьбе последнего, но и о чемодане. Бэрл готов был поклясться, что слежки за ним не было ни на вокзале, ни на пути в отель. С другой стороны, навряд ли они отпустили бы его просто так, без всякого сопровождения, полагаясь лишь на его неперенный приход в «Мемфис». Следовательно, сопровождение находилось в чемодане, пластиковое такое сопровождение, все в разноцветных красивых проводочках... Помимо всего прочего, молчание Махмуда

должно было уже беспокоить его революционное начальство. По всему выходило, что надо сматывать удочки и поскорее.

Бэрл открыл минибар и удовлетворенно хмыкнул. Весь ассортимент был в наличии. Хотя чем-то вы хороши, братья-мусульмане – выпивку никогда не расходуете! Коньяки были представлены «Мартеlem» – уже третье по счету бэрлово везение. Ох, надолго ли? Бэрл принял коньяк залпом, как лекарство и, захватив две другие бутылочки, подошел к девушке.

«Эй, подружка, – он осторожно потряс ее за плечо. – Кончай с этим пляжным настроением, так ведь и совсем обгореть недолго». Бэрл открыл второй «мерзавчик» и аккуратно влил его в запекшийся полуоткрытый рот. Девушка дернулась и, рывком приподнявшись, вперилась в Бэрла диким взглядом загнанной лисицы.

«Шалом, сестричка, – быстро сказал он на иврите. – Поехали домой. Все кончилось. Домой».

Он повторял слово «домой», как заведенный, на все лады и со всеми интонациями, пока она не кивнула.

«Ну вот и хорошо, вот и ладно... Только сначала мы должны заняться твоей спиной. А нет ли у тебя тут крема какого?»

Неожиданно она снова кивнула: «Есть... от загара... в сумочке...»

«От загара?!» Бэрл хрюкнул, подавляя приступ неуместного смеха, но тщетно – неимоверное напряжение последней четверти часа неудержимо рвалось из него наружу лавиной гомерического хохота, и уже не сопротивляясь ему, он рухнул на пол между безучастными «Гуллитом» и Махмудом и заржал, захлебываясь и повизгивая, так, как не ржал еще никогда за всю свою непростую тридцатилетнюю жизнь. Она смотрела на него, катающегося по полу между трупами ее мучителей, и страх сменялся в ней недоумением, затем – обидой и, наконец, подхваченная вулканическими извержениями бэрлового гогота, она засмеялась сама, неуверенным, маленьким, целебным смехом.

С трудом овладев собой, Бэрл делал помогающий в таких случаях глубокий вдох, когда она крикнула ему с кровати: «Что ты ржешь, идиот? Что ты видишь смешного во всем этом, кретин?»

По сути, она, конечно, была более чем права, учитывая ситуацию с тремя еще теплыми трупами, адской машиной в чемодане и Абу-Айядом на подходе, не говоря уже об исчезнувшем напарнике и сожженной сигаретными окурками спине. Все это вместе и даже каждая деталь в отдельности не располагали к веселому настроению. Тем не менее, Бэрл, уже совсем было справившийся со смехом, зашелся по-новой.

«Дура... – задушенно выдавил он. – От загара... в феврале... в Амстердаме... зачем, мать твою? в феврале...»

И снова он накатывал тяжело груженные эшелоны смеха, впрочем, все более и более замедлявшие ход, пока, наконец, drobный стук их колес не сменился предвещающим близкую остановку медленным драбад-даном с оттяжкой.

И пока он, все еще похрюкивая, вытирал мокрые от слез глаза, она вдруг осознала свою наготу, полную наготу, в чем мать

родила двадцать один год тому назад, в чем оставили ее два этих подонка, гадские педики, педики, фаготы сраные, они даже изнасиловать ее не смогли, бздуны, не встал, и они мстили ей за это, туша об нее окурки и тыча в пятки электрическим проводом. Забытая на кровати бейсбольная бита легла ей в руку легко и удобно. Первым ударом она выбила Махмуду нижнюю челюсть. Это было классно. Наотмашь – хрясть... И еще... и еще разочек... Она ощущала, как веселая истерическая сила рождается в ней с каждым ударом, пузырится, растет... хрясть... падлы...

Бэрл, сидя на полу, с серьезным и сочувственным выражением наблюдал за процессом обезличивания борцов за свободу Палестины. К этому примешивалось новое чувство – он вдруг осознал, что любит ее, дикой, неистовой, голой, ладно скроенной Валькирией, или как там – Брунхильдой, или... а черт, что за дребедень... время-то, время-то уходит... Он привстал, счастливо миновав молодецкий отмах биты, и ухватил Валькирию за плечи: «Ну все, все... эк ты раздухарилась... отдохни чуток».

Она выронила биту и, разом обмякнув, повисла у него на руках. Она всхлипнула – раз, другой, как первые капли ливня, потом – чаще и чаще, сплошным захлебывающимся разговором и – зарыдала-заплакала, по-детски захватывая воздух, лепеча, жалуюсь, повизгивая, скуля, как придавивший лапу щенок. Бэрл повернул ее к себе и гладил по голове, приговаривая что-то невразумительно-шипящее: «ну что ты... что ты... что ты...»

Она и перестала плакать, как ливень – разом, с редкими судорожными всхлипами тут и там.

«Что? – спросил он, поняв наконец, что она говорит какой-то осмысленный текст, а вовсе не всхлипывает, как это ему казалось по инерции. – Что ты сказала?»

«Крем в сумочке... Ты хотел крем... от загара...» И они оба рассмеялись почти счастливым смехом, легким, как смех влюбленных.

«Ложись на живот», – сказал он неожиданно севшим голосом. Она медленно отстранилась от него и подошла к кровати. Не глядя на Бэрла, она ощущала на своих бедрах и ягодицах его потяжелевший взгляд. Этот взгляд, как грубая горячая ладонь, ложился на ее тело, глядя и обжигая, и саднящая боль от сигаретных ожогов, казалось, только усиливала эту нарастающую тягучую ласку.

Бэрл откупорил третий «мерзавчик». Он вылил водку в горсть и, помедлив, выплеснул ее на расprostертую перед ним, напряженно ожидающую спину.

«А-ах...» Оба знали, что в этом стоне было меньше боли, чем наслаждения. Бэрл выдавил крем на обе ладони и возложил их на бушующую перед ним стихию. Он знал, что каждая лишняя минута, проведенная в этой комнате, может оказаться смертельной; он почти физически слышал тиканье механизма в валяющемся под столом чемодане; он представлял себе Абу-Айяда с десятком молодцов, подъезжающих на двух мерседесах; крова-

вые маски мертвых арабов скалились на него с пола – но он также знал, что другая, намного более мощная сила подчиняет его себе в эту минуту, управляет его руками, распирает его чресла.

Она выскользнула из-под его ладоней, как волна из-под борта лодки, опрокинула его на спину, выплеснулась на грудь, затопила лицо в омуте волос. Он чувствовал ручьи ее рук, текущие по его телу – везде сразу, вытягивающие его навстречу этому сладкому и вихрящемуся водовороту, и он весь потянулся туда, навстречу, и пропал и пропал и пропал...

А она соскальзывала вверх по крутой спирали через невероятную череду взрывов и судорог к последнему ослепительному пику, сияющему в ее черно-белом, мерно раскачивающемся мозгу. Уже почти добравшись до него, она вдруг изогнулась дугой и, обернувшись, поймала глазами остекленевший махмудовский взгляд. И тогда уже, как будто получив последний толчок от gazeющего на нее мертвеца, она наконец зашлась, забилась в бесконечной пульсирующей вибрации, сотрясающей оба их истекающих любовью тела.

* * *

«Как тебя зовут, валькирия?» – спросил Бэрл, когда комната перестала качаться и плыть перед глазами, и вещи мира медленно, но верно начали возвращаться на свои места.

«Ноа, – соврала она. – А тебя?»

«Моше, – соврал он, по кусочкам собирая себя. – Надо бы нам сматываться, Ноа. Странно, что мы еще живы...»

Пока она одевалась, собирая уцелевшие вещи, Бэрл колдовал над чемоданом. Телефон зазвонил, когда, вооружившись полотенцами, они обходили номер, тщательно стирая возможные отпечатки.

«Все, – сказал Бэрл. – Уходим. У нас есть не более минуты.»

Перед тем, как захлопнуть дверь, он пристроил к ней нехитрую конструкцию из стула, поясных ремней и чемодана.

Спустившись по служебной лестнице, они оказались на улице и быстро двинули в сторону парка. Они уже садились в такси, когда эхо сильного взрыва донеслось со стороны отеля.

«Что такое, бижу? – удивленно обратился Бэрл к водителю-африканцу. – Страдаете газами? Еще бы, глючные грибы – тяжелая пища...»

На набережной Амстеля Бэрл нашел телефонную будку и набрал номер. «Красный код», – сказал он по-английски в безмолвную трубку. Долгое молчание было ему ответом. Затем мужской голос спросил: «Где?» Бэрл ответил и отсоединился.

Через десять часов они сходили с трапа лондонского рейса в аэропорту Бен-Гурион. На выходе из самолета Бэрл задержался около стюардессы.

«Что ты ей сказал?» – спросила «Ноа», поджидавшая его внизу.

«Чтоб не плакала», – ответил Бэрл и ухмыльнулся.

2

«...и ух-мыль-нул-ся». Точка! Вот оно как, государи вы мои милостивые... Еще одну главу отбуцкал, отстругал, отбомбил. Еще семьсот зеленых американских тугриков в бездонную прорву моего дырявого кармана. Спасибо тебе, Бэрл, лапочка, детище мое ненаглядное, за хлеб, за башли. И подружке твоей безымянной спасибо отдельное, и Махмуду, и даже быстро продырявленному «Гуллиту»... Надо бы выпить по этому поводу. Шломо сунул ноги в раздолбанные тапки и зашлепал на кухню.

Дважды в месяц он отсылал по электронной почте несколько страничек приключений своего несгибаемого Бэрла. Кому отсылал? А черт его знает... Черт его знает, кто скрывался под безличной комбинацией цифр и знаков этого интернетовского адреса. Да и кому какая разница, если ровно через два дня на шломин перегруженный овердрафтом счет капали благословенные доллары. Капали, как капли воды в пересохшее горло. Как вальерянка сердечнику. Как водка алкоголику. В общем – кайф.

Если уж начинать с самого начала, то примерно год тому назад Шломо получил первое и пока единственное послание от своего неизвестного благодетеля. Скорее всего, получил его не только Шломо, но и сотни других мелких литработников из бесчисленных русскоязычных изданий, рассеянных сейчас, слава Богу, по всему свету. Послание содержало простое и понятное предложение – текст в обмен на деньги. Конечно, если текст окажется Благодетелю по вкусу.

Видимо, эта необычная для подобных писем простота и заставила его отнестись к предложению более-менее серьезно. Как правило, ведь получаешь по несколько раз на дню всякие красочные многословные простыни с идиотскими заголовками типа «Ваше будущее – в ваших руках» или «Сделайте ваш первый миллион» или еще чего в том же духе. Только, мол, вышлите нам рупь-два или шекель-три, а еще лучше – доллар-четыре в качестве вступительного взноса...

Нет, никакого такого жульничества в письме Благодетеля не содержалось. Текст в обмен на бабки, да и только. Ну разве что еще одно небольшое условие: полный, решительный и бесповоротный отказ от любых авторских прав. Как с младенцем от донорской мамы: родила, отдала, забыла. И пусть его ходит-гуляет дите где-то по белу свету – сначала в коляске, потом своими ножками, а то и в белом лимузине с лазурными занавесками – чур не искать, справок не наводить... Да может, и помер он уже, ребеночек, на втором месяце от дифтерита – кто знает? Кому надо, тот и знает, только не мамаша-донор. Этой – заказано.

Тяжело, а? Мамаше-то, может, и тяжело, а вот Шломо – ни-сколечко. Потому как свои претензии на мировую славу он похоронил давно, не помнил даже, когда. Скорее всего, и не было у него таких претензий с самого рождения. Точно, не было. Не в его это характере. Как есть он мелкий журналюга... да, в общем, и

не журналюга даже, скорее – корректор, невеликая такая, легкозаменяемая техническая деталька в невеликом, легкозаменяемом механизме мелкой русскоязычной газетенки. В общем, не было у Шломо проблем с этим условием. Хотя иногда смерть как хотелось узнать – что с ним происходит, с Бэрлушкой ненаглядным, там – на другом конце провода? Небось, тискают его из номера в номер в каком-нибудь «Урюпинском Вестнике» или в «Питтсбургском Русачке», а то и в «Русопятом Новозеландце» или еще в какой параше... Бог весть, и слава Богу.

Так рассуждал себе Шломо, да и, по совести говоря, выбора у него не было – уж больно он тогда с деньгами зашился. Думал даже сменить свою работу в редакции на что-нибудь более денежное и менее вонючее – скажем, на должность уборщика в общественном туалете. Катька тогда снова потеряла работу, доченька дорогая как раз демобилизовалась и бредила путешествием в Латинскую Америку, машина сломалась, чеки возвращались, с потолка и из носа текло... короче, жизнь раем не казалась. Вот и схватился Шломо за благодетелево предложение, как пьяная шалава за соломинку. Так родился Бэрл. Вышел он молодцом на загляденье, просто вылитый Джеймс Бонд, аккурат для Урюпинска. Причем, чем гаже тогда было автору, тем круче мочил Бэрлушка своих супостатов. Такая вот интересная закономерность.

В общем, отправил он тогда Благодетелю первую порцию. А через пару дней пришел перевод. Так все и закрутилось

* * *

Шломо в задумчивости стоял на кухне, прикидывая варианты. Для виски было еще рановато, не говоря уже о коньяке. Водка?.. джин?.. текила?.. в девять утра все это решительно не канало. Пособаچی склонив голову набок, Шломо тцательно вслушался в себя... нет, даже портвейн не подходил. Оставалось пиво. Но пива как раз таки не было! Вздохнув, он полез в холодильник за кефиром.

Шломо Бельский проживал в земном пупе – Золотом Иерусалиме, а точнее – в одной из самых потных складок пупа, известной под названием «Мерказуха». Этот памятник архитектуры победившего сионизма более всего походил бы на муравейник, когда бы Великий Бог Зданий, смягчив свое каменное сердце, даровал ему чуть больше порядка и чуть меньше суеты, крикливой и бестолковой. Мерказуха была построена в новом иерусалимском квартале Гило в конце 70-х с благородной целью первоначальной абсорбции репатриантов. Подойдя к делу вполне идеологически, авторы проекта решили воплотить идею Алии архитектурными средствами. Прежде всего, они трактовали алию как сугубо индивидуальное в духовном плане дело, что отразилось в наличии отдельного выхода на улицу для каждой репатриантской семьи. Понятно, что реализация этого принципа в условиях большого четырехэтажного здания требовала огромного количества внешних лестниц. Но это не пугало вдохновенных архитекторов, тем более

что обилие устремленных в синь иерусалимского неба ступенек прямо ассоциировалось с идеей алии как восхождения, а для особо образованных в еврейском вопросе порождало глухую, но многозначительную внутреннюю переключку со знаменитой лестницей Иакова. В итоге получилось, что и говорить, кучеряво. Как известно, главным строителем древнего Израиля был царь Ирод. Возможно, поэтому многие жители Мерказухи именовали создателей своего жилища емким словом «ироды»...

Пока Мерказуха была молода, ей многое прощалось – и лестницы в том числе. Да и не предназначалась она для постоянного обитания. Слегка оперившись и научившись худо-бедно чирикать на иврите, репатриантские семьи выпархивали из нее, как из гнезда, навстречу своему светлому сионистскому будущему. А затем и вообще, как сказал поэт, «грянули всякие хренации». Русские вошли в Афганистан, мир, пожимая плечами, учил нелепые слова «баб-рак», «кар-маль»... кончилась репатриация. Опустела Мерказуха, обветшали, осыпались бетонные ступеньки знаменитых лестниц, заржавели железные перила, зашуршали мышки под задыбевшим линолеумом пустых комнат; только зимние ливни навещали их через прохудившуюся крышу, да нахальный западный ветер стучал в окно полуотвалившейся трисой. Прошла жизнь, отшумела, как крепдешиновое платье последней москвички, и поникла бедная Мерказуха, как нестарая еще вдова в безмужнем военном захолустье.

И когда казалось, что уже все – конец бедняжке, уже загорелые строительные подрядчики причмокивали толстыми губами на хороший участок, уже здоровенный амбал-бульдозер точил на нее свой хищный нож на соседнем пустыре – как – оп... вновь крутанулось над нами непонятное колесо, дернулись приводные ремни, скрипнули шестеренки, кто-то качнул лысым, чертом меченым лбом, кто-то начал, по-ставропольски упирая на первый слог, процесс, и процесс пошел, и пошел, и пошел... Началась Большая Алия 90-х. Мерказуху подремонтировали на скорую руку, залатали видимые миру раны, и загудела она пуще прежнего.

В числе прочих прибыл туда и Слава Бельский с женой Катей и десятилетней дочерью Женькой. Впрочем, к моменту прибытия в Мерказуху его уже звали Шломо. Произошло это по причине пересыхания горла у чиновника министерства абсорбции, заполнявшего в аэропорту бланки славинных документов. Чиновник был лыс, прокурен и сер от бессменных ночных вахт – олимовские рейсы прибывали тогда с головокружительной частотой. Мучительно отпершиваясь, он потянулся к стоявшей перед ним чашке остывшего кофе и, глотнув разок-другой, откинулся на спинку стула, позволяя себе минутное расслабление. Теперь, после того, как он отключил свой канцелярский автопилот, в нем даже появилось что-то человеческое.

«Значит, Вячеслав Бельский, – протянул он, насмешливо глядя на Славу. – Ты что, из бояр? Это твой дедок с Иваном Грозным переписывался?» «Нет, – жалобно ответил ему совершенно

измученный и оттого также находившийся на автопилоте Слава. – Нет. Из Бельц мы, оттого и Бельские. А с Грозным Курбский переписывался... Курбский, а не Бельский».

«О'кей, – прервал его израильтянин и вернул чашку на место. – Не переписывался, и ладно. Да если и переписывался – не мое это дело. Максимум – ШАБАК спросит». Он улыбнулся. «Пусть будет Бельский. Но «Слава» – это уже чересчур, особенно в сочетании с Бельским. Давай запишем тебя «Шломо», а? Самое то по-моему... Ну?»

Рука его зависла над бланком. Слава мучительно соображал. Неясные клочки мыслей прыгали в его гудящей голове по полотну огромного плаката, на котором аршинными буквами значилось: «ХОЧУ СПАТЬ!!»

«Ну что, решайте! – нетерпеливо подогнал его чиновник, переходя отчего-то на «вы». – Люди ждут». Знакомая формула вывела Славу из ступора, и он послушно кивнул. Ручка коршуном упала на бланк. Новоиспеченный Шломо дурак дураком вышел к жене и дочке. Сначала он комплексовал: как, мол, друзьям сказать, то да се... А потом привык. Какая, в общем, разница? Хоть горшком назови, только в печь не ставь.

В печь – не в печь, а в Мерказуху-то он угодил. Да так в ней и остался. Все как-то недосуг было съезжать на съемную квартиру, да и денег лишних не наблюдалось. А как пошла на убыль Большая Волна, и цены на жилье подскочили чуть ли не втрое, тут и подкатились власти к уцелевшим обитателям Мерказухи с заманчивым предложением. Мол, не купить ли вам, люди добрые, занимаемые вами квартирки, да по бросовой цене? Подумал Шломо, подумал, да и согласился. И то – какая ни есть конура, а своя. Да и прижились они тут как-то, все вокруг привычное, каждый угол знакомой собакой пахнет. Люди вокруг все свои, родные – Софья Марковна, Гриша с Ксюшей, Сеня... да мало ли...

Шломо допил свой кефир и стал собираться.

* * *

Час пик уже миновал, дети загнаны на школьные лавки, но утро еще держалось на пустых улицах Гило во всей своей зимней прозрачной иерусалимской свежести. Шломо кивнул знакомому шоферу и сел у окошка. Пришепetyвая пневматикой и припадая на передние колеса, автобус спускался с крутой гиловской горы в сторону Пата. Черный поджарый BMW-кабриолет, торопясь «украсть» светофор, резко обогнал их справа, срезал угол, взвизгнул, хлопнул и, накатив на перекресток в последнее желтое мгновение, исчез в направлении Малхи.

«Видал этого придурка? – сказал шофер, призывая Шломо в свидетели. – Совсем сдурели, ездят, как хотят. И полиции нет на него, обрати внимание. Стоят где-нибудь, ма́ньяки, втюхивают почем зря рапóрты честной шоферне...»

И досадливо замолчал, вспомнив сокровенное.

3

Бэрл торопился на встречу. На спуске с Гило какая-то дура тормозила его по левому ряду. Пришлось обгонять автобус справа. Срезав угол, он успел проскочить светофор почти вовремя и погнал дальше, в направлении Малхи.

Прошло уже почти 14 часов с момента его возвращения после амстердамского провала. Как и было предусмотрено чрезвычайной инструкцией, он расстался с «Ноа» до паспортного контроля, намеренно задержавшись, чтобы исключить любую возможность зрительного контакта со встречавшими ее людьми. Самого Бэрла не встречали. Взяв такси до Центрального автовокзала в Тель-Авиве, он погулял там с четверть часа и рейсовым автобусом вернулся в Иерусалим. Когда он добрался, наконец, до своей постели в доме на улице Шамир, сил у него осталось ровно на то, чтобы скинуть ботинки. Он заснул, не раздеваясь, ему снилась вывороченная шея Махмуда, голая «Ноа» с бейсбольной битой в руке и незнакомый утопленник на дне амстердамского канала.

* * *

Мудрец позвонил в половине девятого.

«Шалом, Бэрл, – сказал он, сильно картавя и растягивая гласные. – Как Ваша голова?»

«Не страшно, Хаим, – ответил Бэрл. – Мальчишки всегда набивают шишки. Но вы не волнуйтесь: мамочка прикладывает к моим синякам холодные пятаки и жалеет своего бедного крошку».

Мудрец хмыкнул: «Я так понимаю, что большую порцию жалости вы получили еще там».

Бэрл промолчал. С другого конца провода донесся неприятный смешок: «Э-э, да дело, видимо, серьезнее, чем я полагал...»

«Послушайте, Хаим, – сказал Бэрл, слегка выведенный из равновесия. – У меня нет ни малейшего понятия, о чем именно вы сейчас говорите. Этот факт, вкупе с некоторыми другими недавними событиями, наводит меня на мысль о том, что не вредно было бы нам потолковать о том о сем... и как можно скорее».

«Конечно, конечно, Бэреле, – заторопился Мудрец, – собственно, затем-то я и звоню...»

«Тогда какого же болта ты мне сейчас мозги компостируешь, старый ты мудозвон?!» – мысленно заорал Бэрл, но вовремя сдержался. Нет уж, жирно будет, такого удовольствия старому хрену он не доставит...

Он перевел дыхание и спросил: «Через час вас устроит?»

«Договорились», – ответил Мудрец несколько разочарованно.

Когда Бэрл подъехал к террасе ресторанчика в промышленной зоне на Гар-а-Хоцвим, Мудрец уже сидел там, меланхолично двигая по столу стакан тыквенного сока. Бэрл сел и заказал «Хейникен». Рассказ его занял не более десяти минут. Закончив, он залпом допил пиво и махнул повторить.

Мудрец молчал, изредка смачивая губы в своем стакане, маленький плюгавый старичок лет семидесяти, с венчиком пегих волос, окаймляющих обширную лысину. На седловине мясистого кривоватого носа плотно сидели массивные очки с неправдоподобно толстыми стеклами. Стекла были какие-то особенные, фигурные, с дополнительными накладками, и оттого спрятанные за ними глаза Мудреца превращались в далекие неуловимые точки, прыгающие туда-сюда в рамке роговой оправы.

«Вы знаете, Бэрл, – сказал он наконец. – Мы таки имеем не маленькую проблему. Вас в Амстердаме ждали, а это означает, что кто-то дал им информацию. Это во-первых».

Мудрец снял очки и потер переносицу. Обнаружились карие глаза навывкате. Лишенные многослойной стеклянной брони, они выглядели по-детски незащитными.

«Во-вторых, – продолжил Мудрец, – вас не убили сразу, значит, рассчитывали вытрясти из вас кое-что новое. О чем это говорит?»

Он вернул очки на привычную позицию, и теперь его зрачки снова суетились, как две сумасшедшие белки. Бэрл молчал. Он вообще предпочитал не отвечать на дурацкие вопросы. Общение с Мудрецами требовало немалого терпения и выдержки, прежде всего из-за их преклонного возраста. Бэрл вздохнул и присосался к горлышку бутылки, всем своим видом показывая, что сотрудничать он не намерен. Не дождавшись ответа, Мудрец с неудовольствием хмыкнул.

«Я скажу вам, молодой человек, о чем это говорит. Это говорит о том, что утечка произошла во внешнем круге. Разумеется, возможно, затронуто и внутреннее кольцо, но вероятность этого невелика. Иначе вы бы уже плавали в Амстеле лицом вниз». Последнюю фразу старик произнес с видимым удовольствием.

«Фу, как мелко», – подумал Бэрл. Он зевнул и посмотрел на небо. «К вечеру дождь обещали, – рассеянно заметил он. – У вас как – кости не ломит? Я слышал, что к девяноста годам старики чувствуют изменение погоды лучше любого барометра...»

«Боюсь, что вам не суждено удостовериться в этом на личном опыте, – парировал Мудрец и обиженно нахохлился. – Вы и до моих-то шестидесяти семи не дотянете».

«Врет, собака, – подумал Бэрл. – наверняка ему под семьдесят пять». Внезапно ему стало смешно – нашел с кем заводить. Он примиряюще улыбнулся. «Ладно, Хаим, не будем ссориться. Давайте-ка лучше прямо к делу, чего там петлять вокруг да около».

Мудрец погрузился еще больше. «Видите ли, Бэрл, – произнес он, потупившись и глядя в сторону. – Дело и в самом деле неприятное. С одной стороны, вовлечено не так уж много людей. Во внешнем круге операция касалась всего пятерых, из них двое – исполнители...»

«Кстати, что со вторым?» – прервал его Бэрл.

«Мертв, как и следовало ожидать, – кивнул старик. – Сегодня утром полиция обнаружила тело...»

Он вздохнул и выложил на стол дискетку. «Вот досье на всех пятерых».

Бэрл молча сунул дискетку во внутренний карман куртки.

«Поверь, Бэреле, – продолжил Мудрец, – мне крайне неприятно возлагать на тебя эту грязную работу, но обстоятельства не позволяют использовать кого-нибудь другого. Ты уже засвечен в этом деле, тебе и разгребать».

«Полномочия?» – спросил Бэрл, ощущая непонятный подъем, не вязавшийся с похоронным настроением Мудреца.

Старик вздохнул. «Я вижу, ты не совсем меня понял. У нас нет времени на выяснение вопроса – кто именно из пятерых является источником. Поэтому Совет не будет возражать против любого решения, даже если пострадают невиновные».

«Секундочку, – сказал Бэрл, не веря своим ушам. – Вы хотите, чтобы я убрал всех четверых? Даже если они свои в доску?»

Мудрец поднял голову и распрямился. Теперь его прыгающие зрачки скакали прямо по бэрловому лицу. «Да, – сказал он твердо. – Да. Именно так, уважаемый Бэрл. Если вы хотите видеть Протокол, я могу вам его представить».

Некоторое время оба молчали. Затем Мудрец протянул руку и вынул газету из висящей на спинке стула сумки. Он развернул ее на нужном месте и протянул Бэрлу.

«Не знаю, успели ли вы просмотреть сегодняшние газеты... взгляните...»

Бегло просматривая газетный лист, Бэрл не сразу обратил внимание на маленький заголовок в углу. «Смерть в Амстердаме». Ну-ка ну-ка...

«Вчера, около семи часов вечера, французский финансовый магнат Жак Фредж был доставлен в больницу с тяжелым инфарктом. Сообщается, что он умер, не приходя в сознание. Ливанец по происхождению, Фредж приобрел скандальную известность своими связями с торговлей оружием и открытым финансированием террористических организаций. Обвиняли его и в причастности к отмыванию исламских наркоденог из Афганистана, Ливана и Сирии...»

Бэрл вопросительно посмотрел на Мудреца. Тот кивнул.

«Ваш клиент. В Амстердаме у вас был дублер, как всегда. Вы же знаете, мы никогда не кладем все яйца в одну корзину. Нельзя было позволить Фреджу заключить эту сделку...»

Это не было для Бэрла особенной новостью. Он и сам нередко исполнял роль дублера, не зная об этом до самой последней минуты. Итак, дело сделано. И слава Богу. Он испытывал смешанное чувство ревности и облегчения от сознания того, что его личный провал не повлиял, в конечном счете, на результат.

Мудрец смущенно кашлянул, выводя его из раздумья.

«Я только хотел напомнить тебе об этом, Бэреле. У тебя всегда есть дублер. Всегда. И в этом деле – тоже». Он ткнул пальцем в направлении кармана бэрловой куртки, где лежала дискета.

«Сделай то, что надо и побыстрее, иначе это сделают за тебя. Мы не можем рисковать». Мудрец встал.

Бэрл лихорадочно соображал. «Подождите, Хаим, – остановил он старика. – Я могу попросить вас об одном одолжении? Дайте мне неделю. Всего лишь одну неделю».

«Зачем тебе неделя, ингеле? – мягко спросил Мудрец. – Что ты успеешь, один, за эту неделю?»

«Если я найду вам источник, не надо будет убирать остальных, – сказал Бэрл, глядя в сторону. – Зачем вам лишняя кровь?»

«Остальных... – эхом отозвался Мудрец. – И ее, в первую очередь...»

Он покачал головой и взял сумку.

«Три дня. Я даю тебе три дня. Поверь мне, и это – чересчур. Ты ведь прекрасно знаешь, во что обходятся нарушения Протокола... Но имей в виду – на четвертый день в дело включается дублер».

Подшаркивая, он обошел стол и погладил Бэрла по плечу. «До свидания, ингеле. Постарайся не совершать глупостей».

* * *

Бэрл остался сидеть на террасе, задумчиво вертя в руке пустую пивную бутылку. Наконец он поднялся, положил на стол банкноту и медленно пошел к выходу. Бармен окликнул его изнутри: «Эй, приятель!»

Бэрл обернулся. «Не грусти, все образуется», – крикнул бармен и жизнерадостно заржал.

Бэрл покрутил головой. Видать, и впрямь, дело – не фонтан. Он вошел внутрь кафе и сел у стойки. Бармен, ухмыляясь, глядел на него. Кафе было пусто в этот неопределенный час между завтраком и ланчем.

«А есть ли у тебя «Мартель», бижу? – спросил Бэрл. – налейка мне порцайку».

«Квартиру у него покупаешь? – осведомился бармен, наливая коньяк в широкий низкий бокал. – Не стоит. Я у этого деда даже пердячий газ покупать бы не стал, хотя это, вроде, единственный качественный продукт, который он может предложить».

И он снова заржал, по-лошадиному качая головой и постукивая по стойке короткопалыми верхними конечностями.

«Это почему же?» – спросил Бэрл, пересиливая раздражение.

«Да ведь сразу видно – жук он! – сказал бармен, отсмеявшись. – Жучила, каких мало. Ты бы у него под пальтом проверил – у него ведь там, небось, панцирь, как у скарабея. А глазки-то, глазки, – так и бегают... и каждый сам по себе. Жук, одно слово».

Бэрл молча допил коньяк и потянулся за салфеткой. Так же молча он сложил салфетку вдвое и широким жестом припечатал ее к стойке прямо перед барменом. «Получи, бижу, – сказал он, вставая со стула и направляясь к выходу. – Сдачи не надо».

«Эй, приятель, – завопил бармен, опомнившись. – А кто платить будет?»

«Ты что, сдурел? – нахмурился Бэрл. – А это что?» Он указал на салфетку.

«Это ты шутишь так, да? Это же не деньги!»

Бэрл вразвалку вернулся к стойке и взял бармена за локоть.

«Послушай, бижу, – сказал он почти ласково. – Я согласен, что это не деньги. Но и то, что ты налил мне в стакан, тоже трудно назвать «Мартелем». Посмотри мне в глаза, бижу, и скажи, что я не прав. Ну? Что же ты молчишь, большеротый?»

Бармен и в самом деле не находил слов, разевая рот, но не издавая ни звука. Доводы Бэрла звучали достаточно веско, но еще убедительнее была железная хватка бэрловых пальцев на нервных узлах локтевого сустава.

«Надеюсь, ты не обидишься, бижу, если я истолкую твоё молчание как знак согласия?» – спросил Бэрл и ослабил хватку. Бармен поспешно кивнул.

«Вот и славно, – заключил Бэрл, отпуская барменский локоть. – Но предупреждаю тебя на будущее, бижу. Если ты еще раз нальешь мне местную бурду вместо «Мартеля», это меня очень разочарует. Очень. Будь здоров».

Бармен молча смотрел ему вслед. Он видел как Бэрл пересек террасу, спустился по ступенькам на улицу, сел в свой кабриолет, как он тронул и, педантично остановившись на «стопе», вырулил на главную дорогу.

Лишь после того, как черный задок машины окончательно скрылся из виду, бармен взял оставленный Бэрлом бокал и задумчиво взвесил его в руке. Потом он облизнул губы и тихо сказал одно только слово: «дерьмо».

Потом он подумал и добавил еще тише: «Тебя бы на мое место, дерьмо, со всеми этими сраными налогами, дерьмо, посмотрел бы я, как ты крутился бы. Дерьмо».

* * *

Вернувшись домой, Бэрл включил компьютер. Ее звали Дафна, эту «Ноа». Дафна Шахар, 21 год, город Ашдод; два года службы в пограничных войсках; учится на подготовительных курсах в Тель-Авивском университете.

Ее напарник, Гай Царфати, 26 лет, житель Лода, демобилизованный лейтенант «Голани»; после армии больше года болтался по Латинской Америке; в настоящее время – без определенных занятий. Был без определенных занятий...

Оба они, Дафна и Гай, подрабатывали в частной сыскной конторе «Стена». Владельцами «Стены» числились два других героя досье – Ави Козн, 37 лет и Арик Зисман, 42, оба – выходцы из элитных боевых частей, у обоих – по несколько лет работы в израильской полиции, Зисман к тому же в течение трех лет подвизался в качестве военного советника в Нигерии.

Пятый, Исраэль Лейбович, 69, уроженец Польши, чудом уцелевший в Катастрофе, проживал в Хайфе на скромную пенсию бывшего кладовщика Электрической Компании.

Покончив с досье, Бэрл плеснул себе коньяку и вышел на балкон. Грея бокал в руках, он обмозговывал ситуацию. Как и следовало ожидать, схема была простой и эффективной. Лейбович получал задание от Мудрецов, скорее всего, не напрямую, а через одного или двух посредников. Затем он передавал детали агентству «Стена». Ави и Арик задействовали своих дешевых агентов. Учитывая простоту задачи – тут снять гостиничный номер, там оставить конверт в камере хранения, все выглядело достаточно невинно, и не вызывало никаких опасений у будущей студентки и ее несчастливого напарника. Скорее всего, хозяева «Стены» толкали им какую-нибудь ляльку о слежке за обманщицей-женой... Бэрл покачал головой, представив себе изумление Дафны при виде вломившихся в комнату арабов...

Впрочем, и Ави с Ариком знали немногим больше. Правда, в отличие от Дафны и Гая, они могли догадываться об истинных целях операций. Постфактум, по сообщениям газет, типа сегодняшней «Смерти в Амстердаме»... Бэрл вздрогнул. Вот оно! Для Исраэля, Арика и Ави операция прошла успешно. Они не должны были знать, что, на самом деле, задачу выполнила дублирующая группа. Нельзя ли сыграть на этом?

Бэрл опустил лицо к бокалу. Теплая щекочущая виноградная волна хлынула в его ноздри. Он закрыл глаза. План уже наклеивался у него в голове, как первый стук робкого мягкого клюва по внутренней поверхности яйца.

4

Шломо ждал Сашку Либермана на углу Кошачьей площади. Они договорились пообедать в расположенном неподалеку грузинском ресторанчике. Сашка опаздывал, и Шломо нервничал, поминутно поглядывая на часы. Обеденный перерыв подходил к концу. Обычно такие мелочи мало волновали работников «Иерусалимского Вестника», но неделю назад в газете сменился очередной редактор – пятый за последние два года, и это естественным образом вызвало прилив дисциплинарной активности. Шломо вздохнул. С другой стороны, договариваясь с Сашкой, смешно было рассчитывать на какие-то временные рамки, так что – кончай мохать, парень, лучше покорись судьбе, целее будешь. Шломо еще раз вздохнул и покорился. И действительно, сразу как-то полегчало. Он еще раз прошелся по маленькой площади, разглядывая молодую веселую тусовку вокруг лотков с бусами, браслетами и прочей культовой молодежной бранзулеткой.

Ему вдруг вспомнился Питер семидесятых и дымный «Сайгон», где прошла их с Сашкой прекрасная юность; подружек с болгарскими сигаретками «Родопи» на отлете изящного одрихтпбернского жеста; их самих, небрежно перекатывающих по уг-

лам презрительного рта круто заломленную «Беломорину»; крашенные джинсы-самопалы, битлов, сухое вино, белые ночи, кухонные споры, самиздат, дикие молодые пьянки с приключениями... «Эй, Славик!» – окликнул его сашкин голос, окликнул оттуда, из щемящих глубин тридцатилетней давности, с угла Невского и Владимирского.

«Эй, Славик!» – Шломо вздрогнул и обернулся. Конечно... какой, к черту, угол Невского... Вот он Сашка, собственной персоной, во плоти и крови, поспешает вниз по улице Йоэль Моше Соломон, вот он выкатывается на Кошачью площадь, пыхтя и виновато разводя руками, издали бормоча пока не слышные Шломо слова оправдательной речи по поводу своего получасового опоздания. «...крыли все движение на Яффо... очередной подозрительный предмет... пришлось пешком, даже бежал три квартала... Ну привет, чувак....» Они расцеловались.

Как это происходило всегда, при виде Сашки шломина злость стыдливо скукожилась и убежала прятаться. Их знакомство началось лет тридцать тому назад, в восьмом классе сосново-полянской школы, куда Сашка пришел, переехав вместе с родителями из коммуналки на Герцена. Единственные евреи в классе, они быстро сошлись, но вехой, отмечающей начало их настоящей дружбы, оба считали драку осенью 73-го, когда на перекуре в школьном дворе Мишка Соболев сказал им с растяжкой, через слово сплевывая сквозь редко поставленные зубы: «Ну что, жи-ды, пригорюнились? Щас-то вам болты ваши обрезанные поотрывают...» И все вокруг засмеялись, включая девочек. В Земле Израила грохотала Война Судного Дня, и советская пресса радостно хоронила «сионистское государство».

Сашка полез в драку, не раздумывая. Шломо присоединился к нему вторым номером, не очень, впрочем, понимая, зачем он совершает столь безрассудное, ввиду явного неравенства сил, действие. Как и следовало ожидать, их побили, не сильно, но унижительно, на глазах у всей школы. Когда они отмывали в туалете грязь, кровь и сопли с разбитых лиц, Сашка сказал глухо: «У меня там сейчас старший брат. Танкист». И снова сунул под кран свою кактусообразную курчавую голову. Так в шломину жизнь вошел Израиль, страна, существование которой он никогда до того не связывал с собой лично.

Потом они поступили в один и тот же вуз на избранную из практических родительских соображений специальность, не имевшую никакого отношения ни к уму ни к сердцу обоих. На последнем году, как раз перед дипломом, Шломо женился по беспамятной любви на красавице Кате Блейхман, со второго курса факультета машин и приборов. Женился еще и потому, что проект под названием «Женька», свет очей и радость жизни, уже наклонился в недрах неосмотрительного Каткиного живота.

Потом пошла обычная безысходная советская бодяга: жилищный вопрос, безденежье, тупое и бесплодное инженерство, безденежье, мучительные перемещения в потном набитом мет-

ро, безденежье, летние халтуры, тяжкий и выматывающий быт. На этом этапе пути друзей несколько разошлись. Холостой Сашка ударился в религиозный сионизм, бегал от КГБ, учил иврит, щеголял в не снимаемой ни при каких обстоятельствах кепочке и демонстративно отказывался от пива в Песах. Шломо же было как-то не до того. Слушая друга с подобающим уважением и даже время от времени кивая, он, тем не менее, в принципе не мог представить себе обстоятельств, оправдывающих добровольный отказ от пива.

Смешно, но в Израиле Шломо оказался прежде Сашки. Решение об отъезде он принял, по своему обыкновению, рывком, не отвлекаясь на долгие раздумья и взвешивания. Так он в свое время женился, так, еще раньше, прыгнул на Мишку Соболева в той приснопамятной драке. «Есть решения, к которым идешь всю жизнь, — так объяснял Шломо свою преступную легкомысленность. — Что уж тут обдумывать — и так все ясно». Все смотрели на него, как на идиота. В самом деле, кто ж едет в Израиль без мотоцикла?.. без пианино, на худой конец?..

В противоположность своему легковесному другу, Сашка готовился к отъезду долго и обстоятельно. Главной причиной задержки была необходимость жениться. Все в один голос утверждали, что ехать в Израиль одному совершенно не с руки. И хотя в свои тридцать три года был Сашка парень хоть куда, трудно жениться закоренелому холостяку. К тому же дело сильно осложнялось тем, что, в дополнение к обычным параметрам, невеста должна была иметь хотя бы минимальное понятие об иудейских религиозных обычаях. Помыкавшись около года, Сашка, наконец, женился. Дорога на Землю Предков была открыта.

В аэропорту Бен-Гурион его встречал родной Славка с чужим именем, чужой старший брат с именем родным и команда старых безымянных знакомцев по родным подпольным кружкам, все в кипах и при прежнем сионистском задоре. Сашка почувствовал себя витязем на распутье. Он пожил с месяцок у брата в Кфар-Саббе, кернул как следует со Шломо в Мерказухе, да и перебрался к своим кружковцам, в дальнее поселение Долев, к северу от Рамаллы, навстречу новой неизведанной жизни, ставшей, тем не менее, логическим продолжением прежнего диссидентства.

С тех пор они виделись нечасто. Когда Сашка, шумный, загорелый, кипастый, в клетчатой поселенческой рубаше навывпуск и с потертым «Узи» через плечо заявлялся к старому другу в Мерказуху, вслед за ним в железные двери мерказушного апартамента заскакивали непрошеные, незнакомые прежде недоразумения, отчего-то катастрофически мешавшие нормальному общению. Прежний отказ от пива в Песах трансформировался у нового Сашки в кашрут по всей форме. Так что застолья не получалось. А много ли пообщаешься без бутылка с закусоном? Ездить же в Долев — еще двадцать раз подумаешь... Путь неблизкий, да и страшновато как-то с непривычки. В те времена машины еще не обстреливали, но камни уже кидали, а то и бу-

тылку с зажигательной смесью схлопочешь. Неприятно. Да и, честно говоря, Сашкина боевая подруга не очень-то Бельским показалась. Чужая какая-то... и губы на них, некошерных, поджимает. В общем, в гости не ходили, больше перезванивались.

Разве что шломина газетенка с грехом пополам удерживала этот почти развязавшийся узел. Дело в том, что Сашка пописывал. Забросив, как и Шломо, свою совковую инженерность, он прилепился к какому-то национально-религиозному издательству, редактируя на американские спонсорские деньги всевозможные брошюры и книжки, подобные тем, что передавались в свое время из рук в руки в подпольных еврейских кружках. Параллельно с этим он состоял внештатным корреспондентом сразу нескольких «русских» газет, сея разумное, доброе, вечное на их обильно одобренных антигеморройной рекламой страницах. Сашкины статьи были напряженно-патриотичны. Он ругал правительство, причем, если левому доставалось по определению, то правому – за недостаточную правость; он разоблачал лживость и двуличие; он грозно клеймил, он едко высмеивал, он остро полемизировал; не было такой маски во всем политическом израильском балаганчике, которую бы не сорвала его безжалостная рука...

Шломино участие в политической полемике ограничивалось областью грамматики и синтаксиса. По многолетней привычке он относился к общественным процессам, как к погоде, со спокойным, наблюдающим фатализмом. Процесс выборов всегда был для него мучителен – в самом деле, имеет ли смысл голосовать за дождь? или за солнце? В итоге он, как правило, голосовал за тех, кто обещал меньше всего решительных перемен к лучшему. Правя сашкины статьи для «Иерусалимского Вестника», он особо не вникал в их привычное содержание. На вопросы – как понравилось – отвечал обычно, что да, понравилось, только вот на его, шломин, вкус, следовало бы смягчить излишнюю резкость высказываний, чему, впрочем, Сашка не следовал никогда.

Так они и жили, пока, наконец, поток сашкиных опусов не оборвался резко и необъяснимо. Поначалу Шломо, не читавший никаких газет, полагал, что Сашка отдает предпочтение другим изданиям, обходя «Вестник» по каким-то своим, одному ему известным соображениям. Лишь много позже, когда общие знакомые стали недоуменно осведомляться, куда это запропал Саша Либерман, он понял, что происходит какой-то нестандарт и позвонил Сашке. В ответ на заданный в лоб вопрос Сашка, помолчав, ответил: «Кризис жанра. Потом расскажу...» – и перевел на другое.

И вот сегодняшним утром, придя в редакцию и включив компьютер, Шломо обнаружил почту от Сашки. Почта содержала файл со статьей и короткий сопроводительный текст в три слова: «Позвони, когда прочтешь».

Прочтя статью, Шломо не стал звонить. Он поискал сигареты и, не найдя их на привычном месте, пошел стрелять у выпускаю-

щего редактора. «Что, опять? – удивился выпускающий. – Ты ж уже год как бросил...»

«И в самом деле...» – вспомнил Шломо и вернулся к своему компьютеру. Избегая смотреть на экран, он начал наводить тщательный флотский порядок на вверенном ему столе.

«Шломо! – звенящим шепотом сказала секретарша Леночка. – Шломо! Что случилось?» Шломо не реагировал. Впервые за шесть лет работы он убирал свой стол, ставший притчей во языцех именно по причине своей принципиальной, уникальной, фантастической никогда-не-убираемости. Леночка смотрела на него с ужасом, как на инопланетянина. Закончив уборку, Шломо сел за стол и произвел последние взаимные перестановки калькулятора, словаря и стаканчика для ручек. Потом немного подумал и переставил их еще раз, в обратном порядке. Потом он затих и просто посидел минуточку-другую, глядя на пустую поверхность стола, как тяжелоатлет, ухватившийся за гриф штанги и собирающий всего себя в единый комок воли перед последним, решающим штурмом. Затем, неимоверным физическим усилием оторвав взгляд от помоста, он вытолкнул его на экран монитора, где по-прежнему красовалась статья его лучшего друга Сашки Либермана.

Он прочитал текст еще дважды и позвонил. Сашка снял трубку. «Славик? – угадал он. – Славик? Ну не молчи, говори что-нибудь...»

И впрямь, подумал Шломо, надо бы что сказать. Как-никак.

Он сказал: «Ты...» Потом сделал паузу и прибавил нецензурный глагол.

Сашка несколько нервно рассмеялся: «Эк тебя проняло!»

«Да уж... – дар речи медленно возвращался к Бельскому. – Да уж...»

«Послушай, чувак, какой-то ты заторможенный сегодня – сказал Сашка, беря инициативу. – Давай-ка пообедаем вместе? В «Кенгуру». Что скажешь? В два, на Кошачьей площади. А? Обещаю ответить на все вопросы...»

«Да уж, – сказал Шломо. – В два».

* * *

Иерусалимские кафе переживали не лучшие времена. После серии терактов на центральных улицах люди предпочитали сидеть дома. Шломо и Сашка были единственными посетителями в этом популярном некогда ресторанчике. Они уже переговаривали о здоровье, о женах, детях, перемыли косточки общим знакомым, посетовали на экономический спад... Оставалось поговорить о погоде. Нетерпеливый Сашка сломался первым.

«О'кей, Славик, – сказал он, будто отодвигая занавеску. – Давай не будем о погоде... Что ты думаешь о статье?»

«Не знаю, – сразу ответил Шломо. – Я просто не знаю, что мне об этом думать. Если все это, конечно, не шутка. Если это

не хитроумная пародия на левую публицистику. Мол, смотрите, до какого абсурда можно прийти...»

«Что же показалось тебе абсурдным?» – Сашкин взгляд знакомо взъерошился, как всегда перед началом принципиального, по его мнению, спора.

«Ну как... – протянул Шломо, сосредоточиваясь. – Возможно, слово «абсурд» тут действительно не подходит, но, по крайней мере, о полном выпаде из консенсуса можно говорить точно. Смотри – сейчас даже многие арабы не приравнивают сионизм к расизму. А по-твоему выходит, что это – близнецы-братья...»

Сашка тряхнул головой: «Конечно, Славочка, а как же иначе? Это ведь как дважды два! Расизм – это разделение по расовому признаку, так? Это – раз. Сионизм – это государство только для евреев, а чтоб другие – ни-ни, так? Это – два. Что получается? – Расизм в чистом виде! Разве не так? Ну скажи, разве не так?»

Шломо мучительно скривился и пожал плечами.

«Что же ты молчишь? – возбужденно додавливал его Сашка. – Разве за это мы боролись в совке? Мы там за права человеческие боролись, а не за «евреи – прямо, арабы – налево»... Ну?»

«Не знаю, – ответил Шломо. – Это ты тогда за права боролся. Я боролся за существование. Я тогда выживал, Катьке с Женькой молоко таскал в клювике...»

«Неважно», – перебил Сашка, но Шломо остановил его:

«Отчего же неважно? Может, в этом-то и дело, Сашок? В выживании? Видишь ли, с точки зрения выживания все эти высокие материи как-то не канают. Нет, я тебя, конечно, понимаю – права личности и все такое... Но это все как-то умозрительно, а кровь – она вот, живая, на ощупь – липкая...»

«Что ты такое говоришь! – всплеснул руками Сашка. – Ты сам-то слышишь, что ты несешь? Права личности и все такое? Да как ты можешь? Да если хочешь знать, нет ничего важнее...»

Его понесло. Запрокинув лоб и тыча в пространство указательным пальцем, он говорил о светлых, истинных ценностях, о слезинке ребенка, о стихийном людском братстве; он вопрошал: по ком звонит колокол? – и, разумеется, отвечал; он клеймил низких, равнодушных филистеров, с чьего молчаливого согласия... и еще, и еще – все дальше и дальше от Шломо, вниз по широкой реке красноречия, плавно и сильно текущей в кисельных берегах его возбужденного воображения. Шломо смотрел на друга, не слушая уже, а только впитывая его всей силой набухающего в сердце сострадания.

«Боже мой, – думал он. – Боже мой, что же будет... Что же с ним будет... Что будет...»

Вдруг он осознал, что Сашка уже давно молчит и смотрит на него выжидающе, видимо ожидая ответа на какой-то безнадежно пропущенный, прослушанный вопрос. Глядя в сторону, чтобы скрыть подступающие слезы, Шломо сказал: «Ну ладно, Бог с ним, с сионизмом. Но как ты дошел до того, что иудаизм – рели-

гия фашистов? Ты, верующий человек, с кипой на голове? Ну не дикость ли?» Он поднял взгляд на Сашку и осекся. Тот сидел напротив, улыбаясь с видом фокусника, демонстрирующего публике загаданного туза. Сашка снял свою вечную кепочку и, держа ее в одной руке, другою указывал на свою курчавую шевелюру. Кипы на его голове не было. Шломо застонал и закрыл глаза.

«Как же ты не понимаешь... – продолжал Сашка, улыбаясь светлее солнца. – Тут нельзя наполовину. Видишь ли, я сравнил иудаизм с фашизмом по основным параметрам. И что ты думаешь? Результаты просто поразительные. Они практически совпадают, даже в малом. Смотри: фашизм мистичен, апеллирует к древней традиции, культивирует вождизм, национализм и ксенофобию, не терпит критики, подавляет плюрализм. То же самое, в точности, можно сказать и об иудаизме! Ну ты ведь читал, в статье все это раскрыто подробно. Разве не убедительно?»

«Если честно, то – нет, не убедительно, – устало ответил Шломо. – Можно возразить тебе многое по каждому пункту в отдельности. Даже мне, профану в этих делах, видны натяжки и преувеличения. Что уж говорить о специалистах – дай им только в руки этот текст, и они камня на камне не оставят от всей твоей аргументации, пункт за пунктом. По-моему, ты просто увлекся...»

Сашка молчал, насупившись. Шломо вздохнул. «Ты твердо намерен это опубликовать?» Сашка кивнул. Он сидел, зажав в кулаке свою кепочку – упрямый обиженный сорокапятiletний ребенок. Шломо встал и пошел к стойке. Когда он вернулся с графинчиком чачи и двумя стопками, Сашка сидел все в той же позе, упрямо и вызывающе уставившись в стену напротив. Шломо налил. «Не думаю, что это кошерно, – сказал он шутливо. – Ну да тебе теперь ведь все равно». Сашка не улыбнулся. Они выпили, как было заведено у них издавна – по две, вагон с прицепом. Помолчали. Шломо налил еще.

«Я вот чего не понимаю, – сказал он. – Разъясни ты мне, дураку. Как ты дальше жить собираешься? У тебя же все приводные ремни к этому делу присобачены: работа, дом, друзья, семья наконец... Куда ты теперь пойдешь, горе ты мое луковое? Ты с женой уже разговаривал?»

Сашка мотнул отрицательно.

«Ну вот. Она же тебя выпрет, дурака, как пса паршивого. У тебя же двое детей малых, Саня... Ну что ты киваешь, как китайский болванчик? Скажи что-нибудь...»

Сашка вдруг быстро выпил, налил и выпил. Раз-два, вагон с прицепом. Потом он обратил к Шломо невидящее, мокрое от слез лицо и судорожно вздохнул.

«Эх, Славик, ты думаешь, я всего этого не знаю? Я просто не могу больше, понимаешь? Я просто не могу». Он сгреб салфетку и высморкался. Графинчик кончился.

* * *

Самолет опаздывал. Катя, хотя и знала об этом, приехала в аэропорт намного раньше времени, как будто рассчитывая приблизить тем самым долгожданную встречу с Женькой. Она загнала свой старенький «Уно» на полупустую стоянку Бен-Гуриона.

Еще два-три года назад здесь приходилось ездить кругами, ожидая, когда уже кто-нибудь освободит тебе место. Война решила проблему парковки кардинально.

Шломо должен был подъехать на автобусе из Иерусалима, и Катя, держа остановку в поле зрения, пристроилась с книжкой на свободной скамейке. Подошел автобус. Шломо вышел последним и огляделся, крутясь вокруг собственной оси, подобно собирающейся улечься собаке.

«Эй! – крикнула Катя. – Эй!.. Слава!» Он еще немного подергал головой и наконец сфокусировался в ее направлении.

«Ничего себе, – подумала Катя, глядя на приближающегося преувеличенно твердой походкой мужа. – Это в честь чего же мы так набрались?»

Подойдя вплотную, Шломо церемонно кивнул, поцеловал ее руку бережным мокрым поцелуем и лишь после этого плюхнулся на скамейку.

«Катенька, – объявил он решительно. – Если б ты знала, как я тебя люблю!»

«Я знаю, Славик, – сказала она и погладила его по щеке, – Что случилось, ласточка? Где это ты так нагрузился?»

«Сашка. – сказал он. – Ты себе не представляешь... Просто катастрофа...» Он замолчал, крутя головой из стороны в сторону с каким-то особенно безнадежным выражением. «Нет. Я тебе потом все расскажу. Давай лучше Женечку встретим, – он спокойно оглянулся, ища часы. – А чего это мы здесь сидим-то? Разве не пора?»

«Сиди уже, – рассмеялась она. – Алкаш ты мой ненаглядный. Рейс опаздывает на два с половиной часа. Так что давай, выкладывай – чего это там с Сашкой твоим произошло».

Шломо вздохнул и начал выкладывать. Катя слушала, кивая головой.

«Ты знаешь, меня все это почему-то не удивляет, – отрезала она сердито. – Я всегда знала, что мудак он, твой Саша. И сволочь». В отличие от аполитичного Шломо, Катя имела о происходящем вполне определенное мнение.

«Подожди, Катя, – сказал Шломо, страдая. – Почему ты отказываешь ему в праве на инакомыслие? Почему сразу – сволочь?»

«Почему? Ты еще спрашиваешь почему? Да потому что нас взрывают на улицах! Потому что Гило, в котором, между прочим, живет твоя собственная семья, обстреливают из Бейт-Джаллы наобум святых из крупнокалиберных пулеметов! Потому что твоя

собственная дочь подвергается ежедневной опасности, надевая армейскую форму! Подлец он и предатель...»

«Катя, Катя, подожди, – прервал ее Шломо. – При чем тут наша дочь? Она демобилизовалась год тому назад».

«Ну и что? Ты забыл, как мы ночами не спали, как ждали ее звонков из этого чертового Бейт-Эля? Как нас в дрожь бросало от шагов на лестнице? Какая сволочь!»

Шломо понял, что спорить бесполезно. «Хорошо, – сказал он. – Будь по-твоему. Хотя я по-прежнему не вижу никакой связи между обстрелами Гило и сашкиными взглядами на сущность сионизма. Оставим их, эти взгляды. Речь идет о моем старинном друге, который вот-вот окажется на улице безо всяких средств к существованию. Это ты понимаешь?»

«Погоди-ка... – вдруг поняла Катя. – Ты хочешь притащить его к нам жить? В наши две с половиной комнаты? Именно сейчас, когда Женечка возвращается? Ты что – сбрендил?» Она даже встала и прошлась туда-сюда параллельно скамейке с уронившим голову на руки мужем.

«Уму непостижимо...» Она сердито всплеснула руками и села. Шломо молчал. Катя вздохнула. «Ладно, Бельский, что уж с тобой сделаешь. Все равно ты мне плешь проешь с этим идиотом... Пусть приходит. Но руки я ему не подам, так и знай».

Шломо кивнул. «Спасибо, Катюня. И за что мне такое счастье с женой выпало? Другой такой, как ты, нету».

«Это верно, – печально согласилась она. – Такую дуру еще поискать. Пойдем хоть кофе попьем...»

Потом, когда они уже стояли в зале прибытия, нетерпеливо и радостно высматривая Женьку, к ним подошла высокая худая очкастая женщина в элегантном брючном костюме и с огромным количеством дутых золотых браслетов.

«Прошу прощения, – сказала она церемонно. – Вы, видимо, родители Жени?» Она произнесла «Дженьи».

«Да, – ответила Катя. – А вы, конечно, мама Гиля? Очень приятно познакомиться».

Гиль был Женькиным бой-френдом, с которым она тусовалась вот уже два года, включая эту поездку по Латинской Америке. Шломо улыбочиво закивал, мучительно соображая, что бы такое сказать, как вдруг новая знакомая сама вывела его из затруднения.

«Вот они, вот они... выходят!» – воскликнула она и рванула навстречу умопомрачительно молодой, сногшибательно красивой и неправдоподобно загорелой паре, враскачку вплывающей в зал во всем великолепии своих разноцветных косичек, деревянных индейских бус, костяных гребней и где только не рваных джинсов. Не пробежав двух шагов, гилева мамаша раскинула руки, отчего ее браслеты издали согласный, торжественно-фанфарный звон, и театрально воскликнула на весь зал: «Добро пожаловать в ад!».

Шломо изумился и пошел целовать Женьку.

5

Машины он брал в занюханном прокатном бюро в Ришоне. Клерк скользнул взглядом по предъявленным Бэрлом водительским правам на имя Шимона Барталя и попросил кредитную карточку. Бэрл замялся.

«Послушай, бижу, – смущенно сказал он. – У меня нет кредитки».

«Сожалею, – сказал клерк, напрягшись. – Мы выдаем машины только по предъявлению кредитной карточки».

Бэрл покашлял, демонстрируя полное замешательство: «Видишь ли, бижу, я не могу позволить себе кредитку. Я – игрок. Сам понимаешь, кто же заходит в казино с кредиткой в кармане...»

В глазах клерка мелькнуло сочувственное понимание. «О'кей, – сказал он. – Но и вы должны нас понять, господин Барталь. Нам тоже нужен какой-нибудь залог на тот или иной пожарный случай...»

«Нет проблем, – сказал Бэрл, широко улыбнувшись. – Я внесу залог наличными. Десять тысяч вас устроят?»

Клерк моргнул. «Послушай, бижу, – сказал Бэрл. – Кончай ты с этим триллером. Я всего-то хочу доехать до Эйлата со своей несчастной подружкой, просадить всю свою наличку и мирно вернуться в Тель-Авив. Назови свою цену или я просто уйду».

«Подождите секундочку, пожалуйста», – сказал клерк и ушел советоваться за занавеску.

«Пятнадцать», – объявил он, вернувшись.

Бэрл обиделся. «Борзеть-то надо, да? Что я вам – фраер? Не хотите, как хотите...» Он сгреб свои документы со стола.

«Подождите...» – остановил его клерк.

Спустя полчаса Бэрл уже выезжал на перекресток Бейт-Даган в слегка раздолбанном, но еще живом «Опель Вектра». Ленивый слепополуденный траффик выплюнул его с Аялона в районе бульвара Роках. Проехав еще пару светофоров, Бэрл припарковался напротив задних ворот Тель-Авивского университета.

Она вышла около четырех, одна, и направилась к автобусной остановке. Бэрл тронул машину. Подъехав к остановке, он открыл правую дверь и спросил, обращаясь в пространство: «Кто-нибудь может объяснить мне, как проехать в Пардес Кац?»

«А стоит ли, приятель? – улыбнулся бойкий паренек с волосами до плеч. – Пардес Кац – поганое местечко. Езжай лучше в Кфар-Шмариягу...»

«Погоди, Галь, – прервал его другой. – Человек серьезно спрашивает, а ты...» Он начал долго и обстоятельно объяснять, перечисляя светофоры, повороты и ориентиры. Бэрл, не слушая, кивал. Он покосился на молчащую Дафну и едва заметно подмигнул. Это вывело ее из ступора.

«Мне как раз туда надо, – сказала она, подходя к двери. – Если хочешь, я могу показать дорогу».

«Слава Богу, проснулась», – подумал Бэрл.

Они выбрались на Аялон и теперь медленно продвигались на север в обычной для этого часа пробке. Оба молчали, глядя прямо перед собой, поглощенные острым чувством взаимоприсутствия.

«Говори уже что-нибудь, – хригло сказала она наконец. – Например, куда ты меня везешь? Не то чтобы это имело какое-то значение...»

«Как твоя спина?» – спросил он, игнорируя ее вопрос.

«Заживает. Хотя с рюкзаком придется повременить неделю-другую».

«Я надеюсь, что с кремом для загара нет проблем», – сказал он и искоса взглянул на нее – впервые с того момента, как она села в машину.

Они расхохотались, празднуя исчезновение этого невыносимого, звенящего напряжения, заложившего уши и затруднявшего дыхание, когда каждое движение выглядело невозможным в своей чрезмерной интимности.

«Что ты привязался к этому крему? Он просто остался там с лета. Неужели трудно понять – у какой женщины есть время перебирать свою сумочку ежедневно?»

«Ежедневно? – ухмыльнулся Бэрл. – На дворе февраль, дорогая».

«Дорогая? – изумилась она. – Дорогая? Послушайте, уважаемый. Я не отрицаю, что позавчера трахнула вас с определенным, даже, как мне показалось, взаимным удовольствием. Последнее обстоятельство, – я имею в виду взаимность – видимо, не позволяет вам подать на меня в полицию жалобу за изнасилование. Но с чего вы взяли, что имеете право обращаться ко мне, как будто мы уже двадцать лет женаты? Дорогая... Подумать только!» Она возмущенно фыркнула и отвернулась к окну, глядя счастливыми невидящими глазами на проплывающие мимо зеленые пустыри, домики, изгороди, на весь этот прекрасный и ласковый мир, танцующий медленное болеро в такт ее светлой раскачивающейся радости.

Бэрл смутился, поняв, что взял не ту ноту. «Ну насчет двадцати лет – это ты, пожалуй,хватила, – сказал он, пытаясь отшутиться. – Двадцать лет назад тебя еще грудью кормили».

«Сукин ты сын, – думала Дафна, уткнувшись в свое окно. -- Сукин ты сын. Сегодня кормление грудью предстоит тебе. Уж я об этом позабочусь... Господи, что я несу?» Она ужаснулась откровенной непристойности своих мыслей. Но это был какой-то веселый, даже радостный ужас. Вслух она спросила: «Нам еще долго?»

«Почти приехали», – ответил Бэрл. Как и Дафна, он чувствовал мощный, оглушающий резонанс их тяжелого притяжения, темную, засасывающую воронку, из которой, медленно кружась и искривляясь, исчезало шоссе с разноцветными коробками машин, придорожные столбы, ясные, педантичные линии его прежней жизни. Теперь, при помощи какой-то чудом уцелевшей части

сознания глядя сверху на эту воронку, на себя самого, бесповоротно и сладко тонущего в ее властном неотвратимом кружении, он понимал, что единственным движущим мотивом всех его последних действий было желание увидеть ее, коснуться ее, спрятать, укрыть, защитить. Это было неправильно, преступно, против всех правил.

У Бэрла никогда не было недостатка в женщинах. Фактурная внешность, щедрость и бойко подвешенный язык без особого труда поставляли ему короткие, ни к чему не обязывающие связи, в которых обе стороны с той или иной степенью откровенности использовали друг друга для столь необходимой время от времени разрядки. Помимо разрядки, это даже доставляло удовольствие, вполне сравнимое с гурманским обедом или трансляцией хорошего футбольного матча.

Что же произошло на этот раз? Отчего он видит ее, эту совершенно незнакомую девчонку, видит, даже не глядя в ее сторону, каким-то особым звериным периферическим зрением, нюхом, физическим осязанием окружающей ее ауры? Почему именно этот острый локоть, это ломкое запястье, этот темный каштановый завиток над упрямой скулой рождают в нем тянущее, щекочущее, влекущее чувство, эту тяжесть в паху, это сладкое сверление в сердце? Такое происходило с ним впервые в жизни.

«Со мной такое впервые в жизни, – вдруг сказала она, обращаясь к окну. – А ты наверно думаешь, что я нимфоманка. Ну и черт с тобой, думай что хочешь. Кто ты мне? – никто. Я даже не знаю, как тебя зовут...»

Бэрл взял ее руку и поцеловал в ладонь. Они съехали с трассы и продолжили по проселку. На указателе «Бейт-Нехемия» Бэрл свернул и затормозил у шлагбаума. Сонный сторож с древним карабином через плечо обошел машину и сунулся к бэрлову окошку.

«Привет, бижу, – сказал Бэрл. – Где тут у вас циммеры?» Сорож махнул рукой.

* * *

Потом они лежали неподвижно, прислушиваясь к затихающему рыку и топоту зверя, временно оставившего их в покое.

«Кто ты? – прошептала она в его подмышку. – Почему?»

«Слушай меня внимательно, девочка, – сказал Бэрл. – ты проживешь здесь с недельку. Может, меньше. Пока я не устрою наши дела». Она кивнула.

«Нет, – сказал Бэрл. – Я хочу быть уверенным, что ты поняла». Он вытащил ее голову из подмышки и посмотрел в неожиданно глубокие колодца зрачков под припухшими веками. «Тебе угрожает большая опасность, слышишь?» Она опять кивнула. «Ты должна сидеть тут безвылазно, никаких звонков, ничего. Ферштейн?»

Дафна снова кивнула и спросила шепотом: «А ты? Ты будешь здесь?»

«Нет. Говорю тебе, я должен уладить кое-что. А ты пока тихонечко посидишь тут, хорошо?»

Она с сомнением качнула головой: «Прямо не знаю, как справлюсь. Ты меня так разогнал, что мне придется завести любовника».

Бэрл рассмеялся. «Ладно. Я приведу тебе стадо козлов. Только смотри, не затрахай их до смерти».

«Ах ты, кобелина, – возмущенно воскликнула Дафна. – Соблазнил бедную девушку, а теперь в кусты? Козлами думаешь отделаться?»

«Кто... кого... соблазнил, – выкрикивал Бэрл, задыхаясь от смеха и безуспешно пытаясь заслониться от сыплющегося на него града ударов. – Кто... кого...»

Зверь возвращался, топоча кровью в пульсирующих висках, обжигая своим жарким дыханием их ищущие друг друга губы...

* * *

В Тель-Авив Бэрл вернулся в десятом часу вечера. Уже совсем стемнело, и нервозный деловой трафик сменился другими, ленивыми, разгульными, опасными ритмами ночного средиземноморского города.

Частное сыскное агентство «Стена» помещалось в даунтауне Рамат-Гана, на шестнадцатом этаже одного из больших офисных зданий за алмазной биржей.

Днем этот район кишит клерками в красных галстуках, длинноногими секретаршами, длиннопейсными алмазными дилерами, посыльными, студентами мелких колледжей и прочим сверхзанятым служилым людом.

Ближе к ночи вся эта публика бесследно исчезает, разъезжаясь по домам, поближе к зануде-телевизору, домашним тапкам и теплему супружескому боку. Запираются двери кондиционированных офисов, гаснут стеклянные стены небоскребов, замирает дневная жизнь даунтауна. Какие-нибудь час-другой опустевшие улицы еще притворяются, что, мол, вот и замерло все до рассвета... но не тут-то было. Вместе со сгущающимися сумерками из неприметных полуподвалов выползает наружу другая, нагловатая в своей бесстыжей откровенности реальность.

А может, слово «другая» здесь как раз-таки не к месту? Может, следует просто говорить «реальность», или еще лучше – «истинная реальность», в противоположность надуманной, лживой, фальшивой маске дневной галстучной благопристойности... Как бы то ни было, тут и там загораются разноцветные рекламы пип-шоу и бинго-клубов; с веселым скрежетом поднимаются железные трисы бильярдных; красные фонарики ночные запевают свою качающуюся песню над дверьми массажных

кабинетов; равнодушные громилы занимают места перед стальными решетками подпольных игорных домов...

И вот уже – шур-р-р – выпорхнула из такси первая ночная бабочка, тут же заплатив таксисту натурой; остановилась на минутку подправить помаду на губах трудового рта, одернула – не вниз – вверх – короткую кожаную юбку, вскинула голову в презрительном развороте и пошла, пошла, поплыла особенной, медленной, тянущейся походкой, моментально превращающей прозаический дневной тротуар в сверкающую грехом ночную панель. А вот и местная гиена – гнойноглазый сутенер, в умопомрачительном пиджаке и сверкающих кожаных полусапожках, натянутый как струна, с выкидным ножом в рукаве.

Все вроде в сборе... нет, кого-то не хватает... Ба, да вот и они – полицейский патруль, крутя чоколакой, проезжает по улицам, тщательно избегая темных тупиков, все в том же общем медленном ритме менуэта, перебрасываясь шутками со знакомыми девочками, шугая чужих, следя за своими – чтоб не борзели.

Ну и, понятно – клиент... Хотя клиент, он клиент и есть, ничего особенного: кто просто глазеет, а кто и покупает. Покупают тоже, как в супермаркете – кто выбирает товар, приценивается, семь раз отмеряет, хотя, казалось бы – что тут на хрен мерить? – а кто хватается, как окунь – быстро, жадно, лишь бы хапнуть...

Шуршит по даунтауну ночная жизнь, свивается кольцами, блестит тусклой змеиной чешуей – до утра, до первого света.

Под утро гаснут разноцветные гирлянды, грохоча, опускаются железные ставни, закрываются витринные окна полуподвалов. Последние одиночные гуляки вываливаются из стрип-клубов, карточные игроки с опрокинутыми лицами щурятся навстречу ненужному новому дню, бледные ошалевшие тинэйджеры выблеывают под забором последствия сигаретного отравления... и все ловят такси – скорее, домой, к подушке... эй, шеф, куда же ты? Но шеф-то знает куда, вон она, его клиентка, ночная ударница, вусмерть уставшая, до ушей затраханная, вон она на углу, ждет его, качается на шестидюймовых шпильках... ахалан, Моти, братишка, вези скорей домой, сил нету. А дома – шприц – и в койку, до вечера...

Зевающий патруль проезжает последний раз по затихшим улицам, сгоняя с углов неконвенциональных свехурочниц, и – вовремя, как раз вовремя – вон, смотрите, уже побежал первый клерк, размахивая кожаным портфельчиком, бодрый, как пионер; за ним – еще и еще, галстук вьется по ветру... а вон и посыльный на тустусе... и адвокат на «Вольво»... Еще какие-нибудь полчаса, и зашумит-забегает деловой даунтаун, как вчера, как завтра, как всегда. А ночного удавищи – как не бывало. Эй, змей, откликнись, ты где, горыныч? – молчит, и нет ни следа, ни чешуйки... Разве что рассеянный бородач в лапсердаке и черной шляпе, выходя с подземной стоянки, поскользнется на присохшем к ступенькам презервативе, оглянется посмотреть, да и сплюнет с возмущением. Тьфу... прости Господи... И то – пакость-то ведь какая.



Бэрл неторопливо вошел в пустое лобби, кивнул ночному сторожу и направился прямо к почтовым ящикам на противоположной стене. Спиною чувствуя взгляд охранника, он вынул связку ключей и сунул подходящую отмычку в замочную скважину первой же попавшейся ячейки. Как он и предполагал, смешной замок имел скорее декоративное назначение. Бэрл вытащил пачку счетов и рекламных флайеров, с полминуты постоял, разглядывая их и озабоченно покачивая головой, и лишь затем направился к лифтам. Старик-сторож продолжал есть его глазами.

«Эй, бижу, ты так во мне дырку просверлишь, – улыбнулся Бэрл. – Я новый помощник адвоката Яари». Он протянул старику руку: «Шимон. Очень приятно».

Старик кивнул: «Добрый вечер, господин Шимон. Вы ожидаете кого-нибудь? Я хотел бы запереть входную дверь».

«Нет проблем, бижу, – разрешил Бэрл. – Я ненадолго – вот только разберу пару писем. Сколько можно вкалывать, правда? Жить-то когда будем?»

С французским замком во входной двери частного агентства «Стена» не пришлось возиться многим дольше, чем с почтовой ячейкой адвоката Яари. Это был маленький двухкомнатный офис с крохотной прихожей. Ребята и в самом деле работали вдвоем, даже без секретарши. Бэрл прошелся по ящикам столов, быстро прочесал картотеку, наугад дернул несколько папок из небольшого стеллажа. Все выглядело вполне невинно. Бэрл и сам не знал, что именно он рассчитывал обнаружить – просто так, абы-что, какую-никакую зацепку, кочку на ровной, как стол, поверхности его тотального, бесследного неведения.

Компьютер был только у младшего, Ави. Экран засветился и послушно распахнул перед Бэрлом все небогатое содержимое единственного диска – без паролей, без криптованных файлов и прочей необязательной чепухи. Положительно, ребятам было нечего скрывать. Впрочем, одна деталь как раз привлекала внимание – по крайней мере наполовину диск был забит всевозможными карточными игровыми программами. Десятки вариантов одного только «Блэк Джека»... Ави и впрямь мог считаться истинным любителем карт.

Бэрл открыл браузер и просмотрел историю последних подключений к Интернету. Гм... недлинный список на девяносто процентов содержал сайты интернетовских букмекеров и казино. Это явно становилось интересным. Бэрл выключил компьютер. Он уже собирался уходить, когда взгляд его упал на скомканный рекламный флайер со следами губной помады. Бэрл развернул бумажку. На лицевой стороне крупными буквами было написано: «Клуб стриптизерш МУЛЕН РУЖ!»... лучшие... зажигательные... участие зрителей... и так далее. На обороте флайера русскими буквами, неровно выведенными яркой фосфоресцирующей помадой, значилось: «ЖАННА».

* * *

Стриптиз-клуб помещался в трех кварталах от офиса. Представление еще не началось, клуб был пуст, билетер и бармен перекуривали у входа.

«Вам двадцадки поменять?» – осведомился билетер, продавая Бэрлу билет.

«Зачем?» – удивился Бэрл. Билетер с барменом переглянулись.

«Вы у нас еще не были? – спросил бармен, улыбаясь. – Тогда просто поверьте мне на слово – двадцатки вам весьма пригодятся...»

Бэрл пожал плечами и разменял пару сотенных. «Кому же еще верить, как не тебе, бижу, – ласково сказал он бармену. – А как насчет того, чтобы плеснуть мне коньячку на донышко?»

Бармен почесал в затылке. «Могу предложить только паршивый бренди, – сказал он честно. – Но мой тебе совет – возьми лучше пиво. Мы тут по части выпивки слабоваты. Мы тут как-то все больше по сиськам».

Они подошли к стойке, где уже стояли две девицы в купальных халатах.

«Познакомься, – сказал бармен. – Жанна. Джессика».

Жанна была высокой шатенкой с огромной грудью и неправильным прикусом. Она мило улыбнулась и кивнула, загребая воздух передними зубами.

«Счастлив встрече, – сказал Бэрл, залезая на табурет. – Выпете что-нибудь, девочки?»

«Спасибо, не сейчас, – ответила Джессика, окидывая Бэрла профессионально оценивающим взглядом. – Нам выступать скоро...»

«Пойдем, Ирка, – сказала она по-русски, обращаясь к «Жанне». – Я еще не вмазала...»

Бэрл взял свое пиво и сел за столик у стены.

Зал понемногу наполнялся. Ввалилась шумная компания развязных юнцов человек в двадцать – праздновать чей-то уход в армию. Бочком-бочком просочилась и тесно пристроилась у самой сцены бригада мрачных, придавленных румын-гастарбайтеров. Прочие рассаживались маленькими группами – по двое, по трое. Были и одиночки, один из них – парень явно арабской внешности, обысканный на входе с пристрастием.

Ударил оглушающая музыка, и на сцену, покачивая бедра, стали выходить «артистки» – шесть девушек в бикини. Представление началось. Бэрлу быстро стало скучно – он не находил ничего интересного в страстных обвинениях шеста и художественном раздвигании нижних конечностей. Вдобавок у него начала болеть голова от духоты и табачного дыма. Он вышел на улицу подышать. Билетер клевал носом на стуле у входа.

«Ну как, нравится? – приветствовал он Бэрла. – Наше шоу – лучшее на Ближнем Востоке. Приезжают аж из Иордании!»

«Что сказать тебе, бижу? – ответил Бэрл. – Это и в самом деле нечто. Я сам себе завидую. Вот вышел немного поостыть – боюсь обмочиться от возбуждения».

Он сделал несколько шагов по направлению к углу здания и скорее почувствовал, чем услышал приглушенную арабскую речь. Силуэты двоих мужчин угадывались в темноте тупика, за мусорными баками. «Эге... – подумал Бэрл. – Это что ж за каша тут заваривается?» Он вернулся в зал. Первая часть представления закончилась, девушки спустились в зал и расхаживали между столиками. Бэрл не успел занять свое место, как подошедшая сзади Джессика решительно плюхнулась к нему на колени.

«Это что ж такое, Джессика? – спросил он, предугадывая, впрочем, развитие событий. – Ты что, на мне ездить собралась? Я что тебе, лошадь?»

Джессика жестоко улыбнулась и расстегнула лифчик. «Двадцать шекелей», – сказала она, борцовской хваткой вцепляясь в Бэрлову шею. Бэрл беспомощно оглянулся. Он был не единственной жертвой. Все полуголые «артистки» уже оседлали своих избранников из публики и интенсивно отрабатывали номер. Он поискал глазами Жанну. Она была рядом, за соседним столиком. Утопив голову маленького пожилого мужчинки в своих необъятных прелестях, Жанна плотоядно утюжила его от коленок к животу и обратно.

«Смертоубийство... – ужаснулся Бэрл. – Она ж его задушит на хрен...» Джессика дернула его за шею, требуя внимания. «Послушай, красивая, – сказал Бэрл, стараясь звучать мужественно. – Я дам тебе сорок, только слезь с меня, ради Бога...»

«Ты что, гомо?» – разочарованно протянула Джессика.

«Да как-то не по мне вся эта гимнастика, – сказал Бэрл. – Я больше танцы люблю».

«Можно и танцы, – оживилась Джессика. – Персональный танец в кабинете – сто шекелей. Только предупреждаю сразу – у нас не трахаются. Это на гражданке: «потрогал – женись», а у нас тут все наоборот – трогать можешь, а жениться – ни-ни...» Она рассмеялась. «Ну что, пошли?»

Бэрл смущенно кашлянул. «Э-э... Во-первых, вот тебе твой сороковник, – сказал он, вынимая из кармана две смятые бумажки. – Во-вторых, нельзя ли мне как-нибудь Жанну заполучить?»

«Жанну... Чем же я-то тебе не приглянулась? – обиженно сказала Джессика. – Я и танцую лучше. Ладно, ладно, не объясняй, понимаю... ты, видно, из тех, что на вымя западают. Давай еще двадцатку – устрою тебе Жанну, так и быть...» Она соскочила с Бэрла и, засовывая деньги в сапог, пошла к Жанне. Та уже оставила свою первую жертву и теперь орлиным взором высматривала нового претендента. Пошептавшись с Джессикой, она махнула Бэрлу, указывая в сторону боковой двери.

«Кабинет» представлял собою крохотный закуток с единственным стулом и магнитофоном на полке. Жанна усадила Бэрла на стул и начала возиться с кассетой.

«Послушай, Ирочка, – сказал Бэрл. – Ты, случаем, не из Днепропетровска?»

«С чего это ты взял? – удивилась она. – Вот ведь сучки! Ну никогда кассету назад не отмотают!»

«Вот такой я проницательный. Это у меня профессиональное. Я ведь, если хочешь знать, сыщик. Частный, конечно...»

«Хреновый из тебя сыщик, – усмехнулась Жанна и включила музыку. – С Харькова я...» Она начала неуклюже раскачиваться в такт Джо Дассену.

«Откуда ты знаешь, какие сыщики бывают? Из кино разве что», – поддразнил ее Бэрл.

«Прямо уж... – протянула она, закатывая глаза, чтобы лучше войти в ритм. – Вас тут как собак нерезанных. У меня даже постоянный клиент есть – сыщик. Сыщики-хренищики... Как ни ищи, других таких титек все равно не сыщешь».

Обеими руками она приподняла свои сокровища и шумно задышала, имитируя страсть.

«Тут ты права, – подтвердил Бэрл. – А что это значит – «постоянный клиент», Ируня? Он что тут, каждую ночь околачивает?» «Когда деньги есть, – простонала Жанна, водя руками по своему широкому украинскому телу. По задумке, эти движения должны были носить эротический характер. В революционной жанниной интерпретации они более походили на ловлю блох. – Он ведь в карты играет, мудило, тут недалеко, на соседней улице. Как часам к трем просадится вчистую, так сюда идет – мол, пожалей, Жанночка, дурную мою голову. Вот я и жалею-ю-ю...» Она перешла на следующую ступень страсти, включающую стоны и подвывания.

Несмотря на известную нестандартность жанниного спектакля, Бэрл выглядел совершенно удовлетворенным. Расплачиваясь, он сказал: «Мой тебе совет, Ируня – смени ты имя. Почему именно Жанна? Айседора тебе куда больше подходит».

* * *

Ави Коэн вошел в зал около двух. Все выдавало в нем завсегда: он похлопал по плечу бармена, сунул голову в служебку, подарил звучный шлепок ягодицам пробежавшей мимо «артистки», обнял соскочившую с очередного клиента Жанну... Но не это привлекло главное внимание Бэрла. Следуя многолетней привычке никогда не забывать о ситуации в целом, даже сосредотачиваясь на отдельном ее фрагменте, он обнаружил интересную вещь. Помимо него, в зале находился еще кто-то, не спускавший с Козна глаз – это был тот самый, давешний араб, с понтом обысканный в самом начале вечера. Вот он встал со своего места и, пройдя через зал, тронул Козна за плечо. Вот Коэн обернулся, с видимым неудовольствием оторвавшись от ощупывания пышных форм Иры-Жанны-Айседоры. Вот араб сказал ему что-то на ухо... Коэн кивнул и снова повернулся к Жанне. Араб пошел к выходу.

Бэрл быстро поднялся и прошел в туалет. Задвинув щеколду, он встал на унитаз и приблизил голову к приоткрытой фрамуге, выходящей в тупик сбоку от здания. По его расчетам, там в настоящий момент должны были находиться не только мусорные баки.

«Сейчас выйдет, – говорили по-арабски. – Спрячьтесь и не высовывайтесь. И нож, Зияд, дай мне мой нож...»

Бэрл вынул из наплечной кобуры пистолет и навернул глушитель. Он услышал звук приближающихся шагов.

«Что случилось, Надир? – это был, видимо, Ави Коэн. – Я же говорил, я сам тебя найду, когда будет что-нибудь новенькое. Пока – нет. Но если ты уже здесь, не одолжишь ли мне тыщонку-другую в счет будущего?» «Я здесь, чтобы кое-что выяснить, Ави, – ответил прежний голос с тяжелым арабским акцентом. – Разве ты не читаешь газет?»

Коэн выругался с явно наигранным удивлением: «Так это был все-таки ваш клиент, этот банкир? Искренне сожалею...» В его голосе было услышать все, что угодно, только не сожаление... «Но я-то тут при чем? Мне вы платили за что? – за двух курьеров. Их и получили – какие претензии?»

«Там была засада, Ави. Мы потеряли пятерых. Абу-Айяд чудом остался жив. Что ты скажешь на это?»

В дверь туалета постучали. Бэрл после секундного колебания прыгнул на пол и пошел открывать. В конце концов, он уже слышал более чем достаточно. Его начал бить охотничий азарт. На улице он сказал билетеру-охраннику: «Кто-то заперся там в сортире и не хочет выходить. Ты бы, чем спать тут...» Он не успел закончить фразу, как билетер был уже внутри. Бэрл в два прыжка оказался у входа в тупик. Открывшаяся ему картина, в общем, выглядела вполне подходящей – Ави Коэн булькал на земле перерезанным горлом, один из арабов сидел рядом с ним на корточках, вытирая нож, двое других стояли вблизи. Тем не менее, Бэрл немедленно вскинул пистолет и приступил к еще большему улучшению ситуации. Спустя несколько секунд двое арабов стремительно догоняли Коэна по дороге в преисподнюю; третий лежал в глубокой отключке. Времени на раздумье не было – билетер вот-вот должен был вернуться. Бэрл взвалил на плечи бесчувственное тело и бегом ринулся к своему «Опелю». Он успел захлопнуть багажник как раз вовремя.

6

Под утро прошел наконец долгожданный дождь, и теперь процеженный через его сито зимний иерусалимский воздух был особенно вкусен. Шломо добил очередную главу и вышел на лестницу. Время подъезжало к часу, так что с известной степенью осторожности можно было предположить, что Сеня – сосед Бельских сверху – уже проснулся после своих ночных компьютерных бдений. В настоящий момент Сеня жил один и пробавлялся слу-

чайными заработками программиста-надомника. По личным причинам, усугубленным общим экономическим кризисом, он с трудом сводил концы с концами, и Шломо лелеял надежду пристроить Сашку к нему на временное жительство.

Дверь в сенину квартиру была приоткрыта. Сам хозяин в махровом халате сидел на диване, поджав под себя ногу и курил, бессмысленно щурясь на выключенный телевизор.

«Сеня, привет. Проснулся? К тебе можно?» – спросил Шломо и, не дожидаясь ответа, уселся между телевизором и Сеней, рассчитывая таким образом пересечь воображаемую линию его взгляда. Сеня промычал что-то нечленораздельное и мучительно закашлялся.

Шломо прикинул свои шансы. По опыту он знал, что многоступенчатый процесс сениного пробуждения занимает от часа до полутора. Процесс этот обычно начинался с момента, когда, не отрывая головы от подушки и даже не продирая глаз, Сеня протягивал руку за первой сигаретой «Нельсон», игравшей в данном случае роль кислородной подушки. Вдохнув живительного дыма, он садился на кровати и некоторое время курил, вслушиваясь в себя и поджидая первый приступ кашля.

Кашель подкатывал с мощью грузового поезда. Эту вроде бы неуправляемую враждебную энергию Сеня, в полном соответствии с рекомендациями восточных школ единоборств, рационально использовал в полезном направлении. Так, с помощью кашля он продираал глаза – если уж так или иначе они вылезали из орбит... С помощью кашля он сбрасывал с кровати ноги – улучив момент, когда все тело начинало сотрясаться в едином кашляющем резонансе. Наконец, кашель способствовал первичному умыванию лица посредством обильного слезоточения. С какой стороны ни посмотри – ничего, кроме пользы, от кашля не было, так что временами Сеня с ужасом думал, что же произойдет, если в одно прекрасное утро кашель вдруг откажется служить...

Затем Сеня, используя преимущество открытых глаз, находил пепельницу, гасил уже давно обжигавшую пальцы сигарету и немедленно закуривал новую. Переход на следующий этап, будь то возврат ко сну или прогулка к унитазу, требовал осознанного физического усилия, на что Сеня, как правило, был в этот момент еще совершенно не способен. Это вынуждало его снова ждать внешнего толчка, который обычно приходил в виде властного зова мочевого пузыря.

И снова Сеня использовал враждебную энергию в мирных целях. Он боролся с пузырем до последнего, доводя себя до необходимости направиться в туалет бегом. Это заменяло ему утреннюю пробежку и таким образом экономило время. Помимо всего прочего, невыразимое чувство облегчения поставляло положительный ответ на вопрос – а надо ли было, в принципе, просыпаться? не напрасны ли все эти адовы муки? Вот видишь, – говорил он сам себе, поглаживая живот, где затихал в благодарном трансе страдалец-пузырь, – вот видишь? А не встал бы с по-

стели – хрен бы получил такое огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение...

Приободренный первыми успехами, Сеня выбрасывал в унитаз сигарету, закуривал новую и отправлялся на диван. Там разворачивалось главное сражение. В истории оно проходило под названием «дайте-мне-придти-в-себя», ибо таковы были единственные слова, которые он мог в эти моменты произносить, да и то лишь ближе к промежуточному финишу. Какие именно тектонические процессы протекали на этом этапе в сенином организме, обмякшем на поджатой левой ноге, не мог бы сказать никто, включая самого Сеню. Просто он вдруг обнаруживал, что язык начинает повиноваться, доказательством чего служит первое внятное «дайте мне придти в себя», что картинка перед глазами стабилизируется, как будто повинувшись отвертке настройщика, что ноги носят, а руки в состоянии держать не только сигарету, но и, скажем, ложку. А значит, можно было вставать, делать кофе, принимать душ, звонить по телефону, начинать жить.

Тщательно прослушав сенино мычание, Шломо попытался определить степень его близости к знаменитой формуле. Судя по последнему, вполне четко различимому «бля», ждать уже было не долго. Шломо включил телевизор, дабы что-то раздражало бессмысленный сенин взгляд, и отправился на кухню делать кофе. Чайник уже закипал, когда с дивана донеслось долгожданное «Дайте мне придти в себя!», и почти годный к употреблению Сеня прошлепал мимо него в ванную.

В прошлом году Сене исполнилось шестьдесят. Рожденный в блокадном Ленинграде смертельным декабрем 41-го, он каким-то невероятным образом пережил ту войну, включая прямое попадание авиабомбы в их дом, как раз в момент, когда мать сунула ему грудь с немногими каплями молока. Бездна разверзлась посередине комнаты, пол накренился, и, одной рукой прижимая к груди ребенка, а другой – вцепившись в спинку кровати, она аккуратно съехала с третьего этажа вместе с остатками того, что прежде звалось номером 4 по улице Гоголя, угол Кирпичного, там, где пивной ларек – всякий знает.

Скорее всего, именно эта история сыграла решающую роль в формировании сениной личности. Во-первых, с той поры он всегда ел быстро и жадно, как будто и в самом деле опасаясь внезапной бомбежки. Во-вторых, завидев любую женскую грудь, он испытывал непреодолимую потребность вцепиться в нее как можно крепче. И если первая странность была вполне простительной, да, собственно говоря, и странностью-то в те трудные годы не считалась, то второе обстоятельство выглядело серьезной помехой для стандартного жизненного пути семейного человека. Едва достигнув подросткового возраста, Сенечка превратился в полового гангстера, неутомимого охотника за грудями. Свой первый успех он отпраздновал в средней группе пионерлагеря, на зависть старшим слюнтяям трахнув собственную пионервожатую, и с тех пор не останавливался ни на минуту.

Невзрачный, маленького росточка, с кудлатой головой философа и сатира, он обладал той таинственной и редкой повадкой Казановы, заставляющей любую красавицу по первому требованию сдавать свои бастионы, вернее, свои груди в простертые руки неумолимого победителя. До семьи ли тут, скажите на милость? Впрочем, по молодости лет Сеня женился, родил дочку, но брак этот не просуществовал и года. Еще бы – мог ли наш индеец удовлетвориться двумя вдоль и поперек изученными супружескими грудями, в то время как вокруг, почти без охраны, только руку протяни – парами расхаживали десятки, сотни, тысячи вожделенных объектов всех форм и размеров? И он снова вышел на тропу свободной охоты.

Даже возраст, казалось, был не властен над неугомонным Чингачгуком. Каких только грудей не перебивало в его мерказушной квартирке! Некоторые их обладательницы годились Сене во внуки... И все же... То ли кончилась мера, отмеренная ему Верховным Весовщиком, то ли еще что, только, еще не перевалив через шестьдесят, он вдруг разом потерял интерес к любимому занятию. И не то что пошли на спад его прославленные половые параметры – нет, с этим как раз таки все обстояло не хуже, чем прежде. А вот интерес – пропал. Сеня покрутился еще с полгода – чисто по инерции, а потом плюнул, отправил восвояси последнюю пару грудей и зажил один, не считая телевизора.

Третьим и главным последствием сениного падения на развалины знаменитого пивного ларька стало четкое осознание того факта, что жизнью своей он обязан невероятной случайности, описываемой миллионными долями процента. Собственно говоря, он должен был принять смерть еще тогда, в нежном возрасте мягких черепных костей, не от бомбы, так от потолочной балки, от случайного кирпича, от удара, вызванного свободным падением с десятиметровой высоты, да мало ли от чего... подумайте... ну что тут объяснять...

И тем не менее, он жил, ходил в школу, отвечал у доски, дрался на переменках с Колькой Балуевым, быстро и жадно ел пустую картошку и, подкравшись сзади, дергал за сиськи старших дворовых девчонок. Все эти действия можно было рассматривать как случайные, неучтенные, даже в некотором смысле незаконные, в отличие от солидных, практически обоснованных платформ бытия других детей, того же, скажем, Кольки. Его, Сени, не должно было тут быть, ходить, драться, есть, дергать за сиськи. Он был призраком – вот оно, правильное слово. Призраком.

И как призрак, он никому ничего не был должен. Вот так. Третьеклассником он бесстрашно хамил ужасному завучу 210-й школы, завучу, перед которым плакали, а то и мочились в штаны самые отъявленные сорвиголовы из старших классов. А когда пришла пора джаза, стилига и пластинок «на костях», то именно у него были самые узкие брюки, самые толстые подошвы и самый напوماженный кок во всей компании, что хилила тогда по Броду.

В институте и позже, на работе, он жил, как хотел – легкий, веселый, остроумный – центр любой компании, ничем и никому не обязанный. К советскому инженерству тех времен глагол «работать» подходил весьма приблизительно. Слово «служить» выглядело намного точнее при описании того уникального бытия от восьми до четырех тридцати, заполненного долгими перекурами, бурными служебными романами, дикими пьянками по любому поводу и вовсе без повода, обменом культурными впечатлениями, беготней по окрестным магазинам, игрой в шахматы, в домино, в карты – всем, чем угодно, только не «работой». В этой непростой, совершенно неформальной среде Сеня был бесспорным лидером. Именно таким, блестящим и таинственным неформалом, увидели его впервые желторотые Славка и Сашка, по воле судьбы распределенные в сенину контору после защиты диплома.

А потом, как известно, все развалилось. Особых причин уезжать у Сени не было. С другой стороны, почти все друзья и близкие, а значит – привычная среда обитания – либо уже разъехались, либо уже собирались. Поневоле собрался и Сеня. Несмотря на то, что тогда еще можно было выбирать, он выбрал Израиль – Америка пугала его именно непривычной и всеобъемлющей формализованностью, в то время как Страна Евреев оставляла некоторые надежды на сохранение прежнего образа жизни.

С тех пор, в течение всех своих тринадцати израильских лет, он упорно отказывался от любых формальных рамок, тут и там навязываемых ему новой жизнью – к примеру, здесь требовалось «работать», а не «служить», что уже накладывало неприемлемые ограничения на его свободную, никому ничем не обязанную личность. Эта упорная, неравная, непрекращающаяся борьба с хамской недружелюбной действительностью заслуживала подлинного уважения, тем более, что пока в этой борьбе побеждал Сеня. Он ухитрялся существовать, перебиваясь случайными программистскими халтурками и чтением лекций на курсах компьютерного ликбеза. Впрочем, действительность не отчаивалась, твердо зная, что поражений у нее может быть сколько угодно, в то время как Сеня не в состоянии позволить себе ни одного...

«Сеня! – крикнул Шломо в закрытую дверь ванной. – Кофе готов, вылезай уже, сколько можно...»

«Дайте мне придти в себя», – невнятно донеслось из-за двери. Шломо насторожился, пытаясь определить причину подозрительной невнятности. Иногда процесс Сениного пробуждения впадал в деградацию, вплоть до возврата в постель. К счастью, на сей раз причины были другими – дверь распахнулась, и бодрый Сеня появился на пороге, интенсивно вытирая полотенцем свою бизонью кудлатую башку.

«Ну, – сказал он, усаживаясь на диван и закуривая. – Кто-то что-то говорил про кофе?» Шломо беспрекословно подал.

«Сенечка, – начал он вкрадчиво. – У меня есть к тебе маленькая просьба...»

«Ум-м-м?» – донеслось с дивана.

«Видишь ли, у Сашки могут возникнуть некоторые проблемы с жильем, причем в самое ближайшее время».

«Еще бы, – хмыкнул Сеня. – После вчерашней статьи в «Вестнике» лично я выпер бы его с этой планеты, не то что – с квартиры...» Жмурясь и гримасничая, он начал расчесывать бородастую щеку. «Ты завтракал?»

«Ты же знаешь, я – ранняя пташка», – ответил Шломо.

«Тогда сделай мне яичницу, – сказал Сеня. – Из трех яиц».

Шломо распахнул холодильник. «Тут нет яиц, Сеня!»

Сеня почесал живот. «И бутерброд с маслом», – сказал он, немного подумал и добавил: «И с сыром!»

Шломо вздохнул и выбежал наружу. Торопливо спустившись к себе, он быстро сварганил яичницу с колбасой, намазал пару бутербродов и, загрузив все на поднос, вернулся наверх. Сеня, поджав ногу, сидел на диване перед чашкой остывшего кофе и курил, щурясь на телевизор. Шломо поставил поднос на журнальный столик.

«На стол», – поправил его Сеня, не отрываясь от телевизора. На экране жизнерадостная тетка в сарафане объясняла по-немецки кулинарные рецепты.

«Сеня, – сказал Шломо спокойно. – Пошел ты на...»

«Ты груб», – констатировал Сеня. Кряхтя, он сполз с дивана, погасил сигарету и, взяв поднос с яичницей, пошел к столу. На полпути он остановился и спросил, обращаясь к тетке в сарафане: «Разве я просил яичницу с колбасой? И почему бутерброды без сыра?» Тетка молча шинковала сочную немецкую капусту. Шломо улыбался. Не дождавшись ответа, Сеня сел за стол и начал есть, быстро и жадно.

Заглотив последний кусок, он откинулся на спинку стула и закурил, поставив оба локтя на стол и задумчиво глядя сквозь приоткрытую дверь на умытые горней росой кварталы Иерусалима. Шломо ждал. Сеня докурил сигарету до самого фильтра и сказал: «Вчера смотрел фильм, не помню названия. Шкодный такой фильм, с Умой Турман. Так вот, она там...»

«Сеня, падла, – сказал Шломо беззлобно. – Сашке жить негде».

«Что значит – негде? – удивился Сеня. – Я же тебе десять раз говорил – пусть живет у меня. Так вот, Ума Турман...» Он закурил и начал пересказывать виденный вчера фильм. Шломо смотрел на него, не слушая, а просто любя до слез, как любят только домашних собак и самых близких людей.

«Вы знаете, Бэрл, – сказал Мудрец задумчиво. – С годами учишься находить Бога в самых малых вещах. В глотке воды или воздуха. В мокром листе. В чем-нибудь взгляде. Даже в пластмассовой игрушке». Он рассмеялся дробным мелким смешком.

«Знавал я одного юродивого – из тех косматых оборванных существ, что ходили в Польше из деревни в деревню, круглый

год босиком – по камням, по снегу, по осенней грязи – куда там йогам... Так вот, отчего-то он терпеть не мог пластмассовых игрушек. Бывало, как увидит, что ребенок в песочнице с пластмассовой формочкой возится, так подбежит, схватит формочку-то, да и забросит куда подальше. Ребенок, конечно – в плач, мамыши – в крик, папаши – в тычки, а он, бедняга, им всем объясняет: мол, люди добрые, нету Бога в пластмассовой игрушке; в этом вот железном совочке – есть, и в кубике этом деревянном – тоже есть, а вот в том синеньком ведерке – нет, и не ищите...»

Они медленно шли по мокрой после недавнего дождя тель-авивской набережной по направлению к Яффо. Бэрл напряженно молчал. Ему были хорошо знакомы эти отвлеченные философствования Мудреца, скрывающие за собой аналитическую мыслительную работу совершенно в другом направлении. Полчаса тому назад, за столиком в кафе Капульского Бэрл завершил свой рассказ об агентстве «Стена», о скурвившемся Ави Коэне и о сильно помятом, но пока еще живом связнике Надири, ждущем своего часа в подвале дома на улице Шамир. Путешествие в циммеры кибуца Бейт-Нехемия он опустил как не относящееся к делу. Выслушав, Мудрец помолчал, а затем предложил подышать свежим воздухом. С тех пор он говорил только о Боге и погоде. Они уже подходили к «Дельфинарию», а Бэрл все еще не услышал от своего собеседника ничего путного. Это слегка беспокоило его, но он не вмешивался в пустые разглагольствования Мудреца, зная, что это может только отдалить результат.

«К сожалению, это знание приходит только с годами, – уныло сказал Мудрец. – Вам, молодой человек, мои слова наверняка кажутся пустым разглагольствованием...»

«Отчего же, – язвительно ответил Бэрл. – Ваш юродивый, несомненно, предвидел грядущую зависимость Европы от арабской нефти и старался втолковать это именно детям, как будущим аналитикам свободного мира».

Старик вздохнул. «Вот видите... Вы знаете, Бэрл, в чем ваша проблема? – В излишней эмоциональной вовлеченности. И дело не только в том, что эмоциональная вовлеченность мешает почувствовать Бога маленьких вещей. Она просто мешает жить. Мешает видеть. Куда вы спрятали вашу мейделе?»

Бэрл встал, как вкопанный. Удар был нанесен настолько внезапно, что пробил все заранее заготовленные редуты. Мудрец тоже остановился и смотрел на него в упор, скача сумасшедшими зрачками по растерянному бэрлову лицу.

«Я так полагаю, Хаим, – произнес Бэрл, собравшись, – что вы спрашиваете об этом из чистого любопытства. Теперь, когда картина ясна, нет никакой необходимости следовать прежней программе. Коэн мертв, а остальных можно оставить в покое».

«Вы так полагаете? – резко прервал его старик. Его голос приобрел неприятную скрипучесть. – Откуда такая уверенность, что второй парень из «Стены» не замешан? А старик из Хайфы? Даже если он чист, как бело-голубой талит, где гарантии, что на

него не выйдут новые друзья Ави Козна? Поймите: все, чего касался Козн – трефа, сколько бы вы не пытались навести на это кошер. Все, включая вашу Дафну».

Бэрл молчал, подавленный очевидной и непререкаемой правотой Мудреца. «Послушайте, Хаим, – сказал он наконец. – Видимо, вы правы насчет моей эмоциональной вовлеченности. Проблема в том, что в данном, конкретном, случае вы требуете от меня слишком многого. Война есть война, и вы не можете сказать, что я когда-нибудь позволял себе забыть об этом. Я никогда и не о чем не просил вас. Никогда. А сейчас – прошу. Оставьте девушку в покое. Я ее вам не отдам».

Старик взял его под руку. «Не городи чепуху, мой мальчик. Ты не сможешь прятать ее вечно. Да и кроме того – разве дело в нас? Мы ищем ее только затем, чтобы она не попалась головорезам Абу-Айяда. Вот уж кто действительно начнет охотиться за нею через неделю-другую. Особенно после того, как узнает о смерти владельцев «Стены» и об исчезновении Надира...»

«Владельцев? – остановил его Бэрл. – Второй компаньон, скорее всего, ни в чем не замешан. Жив-здоров, чего и вам желает...»

«Погиб... – скорбно прервал его Мудрец. – Погиб в автокатастрофе сегодня утром. Упал со своим «Харлеем» на спуске от Арада к Мертвому морю...»

Бэрл молчал.

«Предупреждая ваш вопрос относительно вашего нового знакомого из Хайфы, – продолжил старик все так же скорбно, – Господин Исразэль Лейбович умер сегодня ночью в своей постели от тяжелого инсульта. Как видите, смерть не выбирает – косит и старых и молодых, во сне и на мотоцикле...»

Бэрл молчал.

«Я признаю, что обещал вам три дня. Но, во-первых, они истекли сегодня утром; во-вторых, если быть до конца честным, вы просили их только для вашей Дафны, в-третьих – и в-главных – Протоколы обязательны к исполнению...»

Мудрец беспокойно покосился на молчащего Бэрла. «Слушайте, Бэрл, – сказал он с нотками раздражения в голосе. – Вам прекрасно известны правила. Никто из входящих во внутренний круг, включая членов Совета, не вправе позволять себе подобных историй. Ни у кого из нас нет семей, чересчур близких друзей, чересчур любимых женщин. Мы обречены на одиночество. Мы на войне. Мы солдаты. Почему же вы ведете себя подобно обиженному ребенку?»

Бэрл молчал.

Замолчал и старик. Они уже почти дошли до Яффо; слева показались обветшалые постройки турецкого периода; ветер доносил запахи рыбы, дыма и горелого мусора.

«Пожалуй, мне пора», – сказал Бэрл.

«Вам будет пора, когда я сочту это необходимым, молодой человек», – сварливо ответил Мудрец. Еще немного помолчав, он, как будто решившись, махнул рукой и продолжил: «Ладно, черт с

вами. Вот вам единственный вариант разрешения страданий молодого Вертера. Во-первых, вы достаете мне Абу-Айяда. Живым. После этого вы объясняете вашей девушке ситуацию и отдаете ее нам. Мы спрячем ее на два года от всего мира, включая, естественно, вас. Я бы даже сказал – от вас в первую очередь... Прячем, инсценировав смерть, так что родителям придется плакать так или иначе. Вы, со своей стороны, обещаете не искать с ней контакта в течение этих двух лет. Ни под каким видом».

«А потом?» – глупо спросил Бэрл.

Мудрец воздел руки к небу: «Боже милосердный!.. Сначала проживите их, эти два года, вы, влюбленный баран! А потом поговорим. Впрочем, я искренне надеюсь, что вы к тому времени поумнеете. Шарик в штанах обладает короткой памятью, хотя размерами и больше шариков в голове».

Бэрл кивнул. «Спасибо вам, Хаим. Это щедрое предложение. Я согласен».

«Подождите радоваться, – проворчал старик. – Я должен еще получить согласие Совета на изменение Протокола. Но это уже моя головная боль. Давайте пока поговорим об Абу-Айяде».

Они повернули назад, в сторону Тель-Авива.

* * *

Бэрл выехал из Офарима в полной темноте. Поселение уже спало; охранник на выезде, не глядя, открыл ворота. Бэрл свернул налево, в направлении Халамиша. На расстоянии нескольких километров от Офарима помещалась Шукба – большая враждебная деревня, один из знаменитых центров угона и «художественной разделки» на запчасти краденых израильских автомобилей. Вади справа от изрытого колдобинами шоссе было усеяно ржавыми скелетами машин. Бэрл остановил «Опель», не доезжая нескольких сотен метров до первых домов. С заднего сиденья он достал небольшой складной велосипед и быстро привел его в рабочее состояние. Затем он открыл багажник. Замотанный клейкой лентой Надир лежал на своем уже ставшем привычным месте. Впрочем, в ленте особой надобности не было – араб еще парил на радужных героиновых крыльях в райских садах своего мусульманского рая. На всякий случай Бэрл сделал еще один укол и только потом снял веревки и кляп. Легко вынув из багажника обмякшее тело, он переместил его на место водителя. Надир тихонько замычал. На лице его расплылась блаженная улыбка. «Прощай, сучара, – сказал ему Бэрл и открыл канистру. – Из грязи вышел, в грязь и возвращайся. Нефиг по Европам разъезжать...»

Через минуту он уже крутил педали, быстро спускаясь к шоссе. «Опель» полыхал на дне вади. BMW ждал Бэрла на стоянке рядом с армейским блокпостом.

Когда, выруливая между бетонами, Бэрл проезжал пост, пожилой резервист в каске наклонился к его окошку: «Ты что, сюда из Офарима на велосипеде прикатил? И не страшно?»

«Чего не сделаешь ради похудения, бижу, – улыбнулся Бэрл. – Зато смотри, в какой я форме...» Он нажал на газ.

Глядя на быстро удаляющиеся задние огни кабриолета, резервист покачал головой. «Видал? Что ты на это скажешь? Чумовые они, эти поселенцы...» «Ясно, чумовые, – согласился его напарник, дремлющий на стуле около пулемета. – Выселить их всех к ядрене фене и дело с концами. Мы тут, как фраера, на бронированном джипе патрулируем, а этот маньяк, видите ли, на велосипеде разъезжает...» Он сплюнул и закурил: «А тачка тоже не слабая. Упакован, видать, по самые уши...» «Еще бы, – отозвался первый милуимник. – На них-то наше сраное правительство денег не жалеет. Нет чтобы...» И они углубились в животрепещущую тему раздачи общественных слонов.

* * *

Дафна смотрела на него сбоку, приподнявшись на локте. Коллеблющийся свет луны бродил по комнате, присаживаясь на постель, прислоняясь к шкафу, подбирая разбросанную в беспорядке одежду. Бэрл приехал поздно, и тем не менее она проснулась еще до того, как услышала шум машины, почувствовав его приближение издали каким-то особенным звериным чутьем. Она выскочила к нему навстречу под морозящий ночной дождик, босиком, в одной рубашке, просясь на руки, как ребенок, изнывая от клубящегося в низу живота желания. И снова они плыли по тягучей и темной, искрящейся под руками воде; они сами были этой водой, медленно вливающейся в глохнущие раковины ушей; они были тянущим, пьющим, мягкогубым ртом, ортом и миртом, гуртом и топотом; вцепившись друг в друга, как в лодку, они взрывались в дробной, вихрящейся пене водопада...

«Что?» – переспросил он. «Бензин», – повторила она. Это были первые слова, которыми они обменялись.

«От тебя пахнет бензином. Ты работаешь на бензоколонке?»

«Нет. Яправляюсь бензином как трактор. На обычном человеческом топливе с тобою не справиться...»

«Напрасные старания, милый. Сегодня тебе это не поможет. Я высосу тебя без остатка, как паучика. Где ты был? Каждый день я знала, что умру, если ты не приедешь. Я умирала каждый день, и теперь я полна своими смертями. Ты должен выдолбить их из меня, слышишь?»

И снова мерцающий лунный свет бродил по комнате, гладил их сплетающиеся руки, их впечатанные друг в друга бедра, их приклеенные друг к другу животы; скользил по их блестящим от сладкого пота спинам, дрожал в серебряном отливе спутанных каштановых волос.

«Дафна. Я должен тебе что-то сказать...»

«Нет. Потом. Утром. А сейчас мы будем спать. Молчи...»

Они уснули, отказываясь разлучиться и во сне, этом самом одиноком после смерти состоянии человека.

Бэрл проснулся от звука закрываемой трисы. Дафна стояла у окна спиной к нему и осторожно тянула за ремень, изо всех сил стараясь не шуметь. «Зачем нам день? – сказала Дафна, кожей почувствовав его взгляд. – Давай притворимся, что еще ночь. Что нам стоит?» И они снова занялись любовью, утренней, спелой, сытой и медленной, как осень.

«Дафна...»

«Нет, давай не сейчас, потом...»

Он ласково, но твердо убрал ее защищающуюся ладонь со своих губ: «Послушай, девочка, это очень важно. Тебе придется уехать из страны. Года на два. Твои родители, друзья... все-все-все будут думать, что ты умерла. Это необходимо, иначе тебе придется умирать по-настоящему».

«Но почему? Ты же их всех перебил?»

Он горько усмехнулся: «Как видишь, не всех. Осталось более чем достаточно. И учти – они хотят тебя найти. Потому что ты теперь для них – единственное существо, которое еще может что-либо прояснить». Она нахмурилась. «А как же Ави и Арик? Гай? Или их тоже прячут?»

«Конечно, – сказал Бэрл, отворачиваясь. – Они уже спрятаны... да так, что надежней не спрячешься».

Речь вползала между ними, растекалась кривыми извилистыми протоками лжи, колыхалась отстойной, болотной зыбью недоверия. Оба чувствовали это, с тоской возвращаясь в серые декорации обыденности из дикого тропического сада близости, из их частного, немного мира на двоих.

«Я даже не знаю, как тебя зовут, – вдруг вспомнила Дафна. – Я даже не знаю, кто ты... Ты ведь не просто убийца? Я видела, как ты убиваешь. Ты наверняка профессионал... Кто ты – наемный киллер?» Она начала всхлипывать. Бэрл молчал. Он вдруг осознал, что все, что ни скажешь сейчас, прозвучит безнадежно плохо, запутает их еще больше, разведет еще дальше. Дафна тихо плакала, сидя на краю кровати, маленькая, испуганная, беспомощная девочка. Все также молча он обнял ее за плечи, притянул к себе, губами отодвинул каштановый завиток с мокрой щеки. «Шш-ш... – шипел он ей на ухо. – Ш-шш...» Станным образом она начала успокаиваться. И вдруг сами собой пришли слова, такие же ничего не значащие, бессмысленные, как и предшествовавшее им шипение и в то же время наполненные каким-то неведомым, целебным и очень нужным им обоим содержанием.

«Никому ни за что не отдам, – шептал он. – Ты моя девочка, ты моя... никому... ни за что...»

* * *

Вообще-то Зал заседаний Великого Синедриона помещался, как и положено, на горе Сион, за неприметной, ведущей в полуподвал железной дверью в слепом, загаженном ослиами и туристами переулке, между Гробницей Давида и домом Каифы. Но

Большой Совет в полном составе собирался нечасто, даже в это, легкое на подъем время. До эпохи воздухоплавания избрание в Синедрион означало обязательное переселение в Иерусалим, иначе собрать необходимый для важных решений кворум было бы просто невозможно.

Теперь Мудрецы слетались со всех концов планеты, не реже двух раз в год – на Суккот и на Песах. Да и в этом, честно говоря, не было особой необходимости, учитывая современные средства связи. Впрочем, кто думает о таких мелочах, как необходимость, когда речь заходит о традиции. А паломничество в Иерусалим в святые дни этих двух праздников почиталось неперменной обязанностью для каждого из семидесяти членов Синедриона.

Из года в год, три тысячи лет они собирались там, в тесном каменном подвале, при свете смоляных факелов, масляных ламп, неоновых светильников, старые, мучимые подагрой и ревматизмом люди, управляющие этим миром. Отсюда вершились судьбы народов, тут создавались и рушились империи, возводились на престол и низвергались великие владыки, падали и взлетали биржи, развязывались войны, разрешались казавшиеся вечными конфликты.

Мудрецы вели этот мир по загадочной, заранее предопределенной, указанной в Книге Книг дороге. Но даже среди них, семидесяти избранных, только семеро умели прочесть непонятные для непосвященных таинственные дорожные знаки. Умирая, они передавали свое Знание следующим, из уст в уши, из века в век. Невидимые и всесильные, мудрые и жестокие, они всегда простирали над миром свою морщинистую властную длань. Всегда. И в эту минуту – тоже...

* * *

Хаим отпустил такси около мельницы. День был труден, и он устал. Освещенные множеством прожекторов стены Золотого Иерусалима возвышались напротив. Справа светилась гора Сион. Старик обратился к ней и вознес молитву. Он просил дать ему силы; он знал, что в этом будет ему отказано. Спустившись от мельницы по блестящей от дождя лестнице, он повернул налево и позвонил около одной из дверей. «Открыто!» – раздался скрипучий голос. Мудрец толкнул дверь и вошел.

Большая комната была жарко натоплена. Книжные стеллажи до потолка окаймляли ее с трех сторон. Четвертая стена представляла собою огромное окно, обращенное к Сионской горе. Тяжелые портьеры были раздвинуты, и Гора сияла во всем великолепии ночной подсветки под искрящимся ореолом дождя. Посреди комнаты возвышался огромный резной стол темного дерева; несколько жестких стульев с высокими спинками и два тяжелых кресла дополняли меблировку. «Проходите, Хаим, садитесь, – произнес сидящий за столом старик, указывая в сторону кресел. – Я сейчас освобожусь. Минутку...»

Он с видимым раздражением тыкал указательным пальцем в клавиатуру ноутбука: «Ну вот, что опять случилось? Вы знаете, Хаим, эти компьютеры просто выводят меня из равновесия. Стоит нажать на что-нибудь не то – и пожалуйста, будьте добры начать все сначала. Они называют это «перезапускать»... Временами я скучаю по старой доброй пишущей машинке. Она, по крайней мере, не нуждалась в перезапусках семь раз на день...»

Несмотря на жару, старик был одет в теплый клетчатый домашний пиджак и байковые бесформенные брюки на подтяжках. Высокий, худой, костлявый, с тонкими угловатыми руками, огромным крючковатым носом и длинными седыми прядями, зачесанными назад с высокого лысого лба, он походил на старую птицу-секретаря.

В определенном смысле, это сходство было не случайным – Гавриэль Каган, один из семи столпов Большого Совета, исполнял деликатные обязанности «секретаря по нестандартным операциям». Не то чтобы прочие действия Сионских Мудрецов были такими уж стандартными; созданная на протяжении веков мощная структура существовала параллельно, а зачастую – вопреки законным механизмам общества; она прочно выросла во властные слои правительств, парламентов, судов; она проникла в армейские штабы, в профсоюзы, в банковскую систему; она контролировала прессу и телевидение, колледжи и университеты. Но даже на фоне этой сложнейшей, незримой для непосвященного, тайной работы, операции Гавриэля Кагана выглядели не вполне обычными... Его сеть занималась физическим устранением препятствий, проще говоря – ликвидациями и диверсиями.

Каган еще несколько раз раздраженно ткнул пальцем в клавиатуру и наконец, сдавшись, захлопнул крышку компьютера.

«Черт знает что такое...» – пробурчал он и встал из-за стола. Раскачиваясь на длинных ломких ногах, как на ходулях, он переместился в кресло напротив Хаима. Каждое его движение сопровождалось сухими щелчками коленных и локтевых суставов.

«Я вас слушаю, Хаим, – сказал он, ерзая в кресле, чтобы устроиться поудобнее. – Что за срочность такая?»

«Габи, я сожалею, о том, что отнимаю ваше время, – начал Хаим. – Это касается все того же амстердамского дела. У нас появилась возможность поймать Абу-Айяда...»

Старший Мудрец вопросительно поднял кустистые брови.

«Это резидент арафатовской контрразведки в Европе, – поспешно пояснил Хаим. – Держит в руках много нитей. Сотни агентов. Попортил нам немало крови...»

«Ну так что? – нетерпеливо прервал его Каган. – Поймать так поймать... И за этим вы пришли сюда? Хаим, если из-за каждого абу-бубу вы будете отвлекать меня от работы, мы далеко не продвинемся... У вас есть достаточно полномочий, чтобы решить этот вопрос самостоятельно».

«Габи, конечно же, я пришел не за этим. Дело в том, что я вынужден просить об изменении в Протоколе...»

Каган, щелкнув суставами, наклонился вперед. «Я надеюсь, что у вас есть серьезные основания. Протокол не изменяют каждый день...»

«Мне это известно не хуже, чем вам, Габи, – ответил Хаим с достоинством. – Поверьте, я бы не просил, если бы не полагал это необходимым. Речь идет о Протоколе заседания Малого Совета по поводу чистки внешнего круга, связанного с амстердамским провалом. Собственно, решение уже исполнено по всем участникам, за исключением одного, вернее одной. Относительно нее я и прошу изменения».

«Причины?» – сухо выстрелил Каган.

Хаим помедлил, собираясь с мыслями. Наступал решительный момент объяснения. Он заговорил, стараясь держаться максимально бесстрастно.

«Причины – чисто практического порядка. Один из моих ребят оказался вовлечен эмоционально. Исполнение решение по девушке означает для меня потерю этого солдата. А без него нам не взять Абу-Айяда».

«Почему – без него – не взять?»

Хаим чертыхнулся про себя. Это был прокол. Он продолжил так же бесстрастно: «Извините, Габи. Я имел в виду – без него взятие Абу-Айяда обойдется нам дороже и с меньшими шансами на успех...»

Каган кивнул: «Понятно...» Он помолчал. «Что ж, обманите своего солдата. Я не вижу необходимости изменять Протокол».

Хаим опустил глаза. Он знал, что должен ответить согласием, что никакие возражения уже не помогут, что его молчание говорит против него самого – и не мог заставить себя открыть рот.

«Послушайте, Хаим, – сухо сказал Мудрец. – Мне кажется, что эмоциональная вовлеченность в данном случае не ограничивается вашим солдатом. Я вынужден напомнить вам, что для нас подобные соображения должны быть категорически исключены. Давайте посмотрим на дело трезво. Ваш парень влип, что уже ставит под сомнение его личную надежность. Вы обещали ему спасти его девицу, поместив ее в карантин. Тем самым вы сохранили солдата по крайней мере на время этого карантина. До этого момента вы действовали правильно. Но на этом мои похвалы заканчиваются. Не было никакой причины приходить ко мне с просьбой об изменении Протокола. Вы могли просто продолжить его исполнение, не извещая об этом вашего солдата. Мне странно, что я должен объяснять вам столь очевидные вещи».

Хаим молча кивнул. Старший Мудрец встал и подошел к окну. Какое-то время он стоял там, слегка раскачиваясь на своих ходулях, затем сделал Хаиму знак подойти.

«Посмотрите, – сказал он, взяв одной рукой за плечо своего собеседника, а другой указывая на Горю напротив. – Видите, там, над Горой?» Он посмотрел на Хаима, напряженно и беспомощно уставившегося в танцующий над Городом дождь, и горько усмехнулся: «Вы не видите... Вы пока не видите... Но это не значит, что

там ничего нет. Пока вы просто должны поверить мне. Мы с вами солдаты, Хаим. Мы – солдаты нерушимого, стройного и ясного плана, направляющего этот мир, не дающего ему свихнуться в тартарары. Этот план трудно понять, временами он противоречит всему нашему душевному строю, опыту, убеждениям; он ведом немногим, возможно, – всего лишь Семерым Мудрецам, семерым из пяти миллиардов. Но это не значит, что его нету. Он есть, и мы, его солдаты, не можем позволить себе жалость ни к ни в чем не повинной девушке, ни к чудом выжившему в Катастрофе старику, ни к вашему влюбленному солдату. И хотя в самой этой, такой понятной и такой человеческой жалости нет ничего преступного, она не должна, не имеет права, мешать торжеству Плана...»

Каган снял руку с хаимова плеча и снова повернулся к Горе.

«И уж конечно, она не должна мешать исполнению Протокола, – закончил он сухо. – Идите, Хаим. Идите и исполняйте».

Мудрец молча поклонился и пошел к выходу. У двери он обернулся. Гавриэль Каган по-прежнему стоял к нему спиной, неподвижно глядя в окно, как будто забыв о своем госте. Хаим вышел под дождь. Он испытывал странное чувство облегчения, как будто какая-то тяжесть упала с его плеч. «Упала ли? – поправил он сам себя. – Скорее, ее просто взял на плечи кто-то другой...» Так или иначе, он уже не чувствовал себя таким разбитым, как час тому назад. Быстрой семенящей походкой он спустился к Синематеке и взял такси. Каган же еще долго стоял у окна, обратив к Горе свое бледное, высоколобое, залитое слезами лицо.

8

Не слишком ли перемудрил? Шломо перечитал последнюю главу. Черт его знает... Надо сказать, что подобные сомнения посещали его нечасто, а когда все-таки посещали, то он быстро гасил их решительным напоминанием самому себе, что речь-то, в конце концов, идет о пошлой литературной поденщине, о тексте, измеряемом не качеством прозы, но погонными метрами. Зачем выеживаться? – для Урюпинска сойдет... Тем более, что пока ему еще не приходилось видеть свою бэриаду где-либо напечатанной, так что и сантиментов особенных он к ней не испытывал. Деньги идут, и слава Богу...

С другой стороны, не слишком ли круто он завернул с Сионскими Мудрецами? Уж больно скользкая тема, и не хочешь, а заденешь – того за локоток, этого – за задницу... Не обидеть бы Благодетеля – если он еврей, конечно... Хотя, по сути, – отчего тут еврею обижаться? Скорее, гордиться бы надо, раздувать, почем духу хватает, нелепую эту легенду – мол, смотрите все, какие мы, евреи, сильные ребята – весь мир за яйца держим! Не замайте! Берегитесь! Шломо остановился перед зеркалом и погрозил туда кулаком для пущей убедительности. Погрозил, да и засмеялся – уж больно смешон был этот чудака в зеркале – длинный такой, унылый еврей на пятом десятке, в махровом ха-

лате и стоптанных тапочках... еще и грозит кому-то – смех да и только.

«В общем, кончай дурить, Шломо, – сказал он сам себе решительно. – Для Урюпинска сойдет...»

Отправив главу, он выключил компьютер и пошел посмотреть, как там Женька. Женька, понятное дело, дрыхла. Вот уже несколько недель после возвращения из Бразилии она пропадала без дела, болтаясь по бесконечным вечеринкам, дискотекам, кафе, уходя из дому в десять-одиннадцать вечера и возвращаясь под утро. На робкие родительские возражения отвечала решительным указанием на собственную взрослую самостоятельность и свободу, как осознанную необходимость «найти себя».

«Может, и впрямь права девчонка? – говорил жене Шломо после того, как Женька уносилась в ночь, во всеоружии своего латиноамериканского загара, чуть одобренного французским марафетом и эйлатскими фенечками на шее и на запястьях. – Может, и впрямь так и надо? Ну не знает она, чего хочет, ну не знает; что ж ты – убьешь ее за это? Дай ребенку осмотреться, еще успеет ярмо надеть...»

«Ребенку... – фыркала Катя. – Двадцать два года балбеске. Хоть бы на курсы какие записалась...»

Так или иначе, в настоящую минуту Женька, разметав по подушке выбеленные бразильским солнцем волосы, «искала себя» в неглубокой лагуне праведно-младенческого сна. Шломо постоял в дверях, глядя на нее и вследствие странного дефекта зрения видя не взрослую красивую спящую женщину, а двухлетнего ребенка, которого жалко, но надо будить и быстро-быстро одевать, натягивать платье, кофту, штаны и тащить еще сонную, теплую, сладко и недовольно зевающую – в детский садик на соседнем дворе и, скрепя сердце, оставлять там, в пропахшем горелой манной кашей вестибюле, стоящую с отвисшими на коленках пузырями колготок и тоскливо глядящую вслед уходящему папе; кто теперь от кого уходит, девочка?.. Шломо наклонился и тихонько поцеловал Женьку в висок.

«Не пора ли тебе вставать, красивая? Второй час как-никак...»

Женька недовольно заурчала и повернулась на другой бок. Шломо не стал настаивать – пускай ребенок поспит...

Он открыл банку пива и вышел на лестницу. Март катился к раннему в этом году весеннему празднику Песах, и иерусалимская природа, видимо, предпочитая лунный еврейский календарь солнечному европейскому, послушно сворачивала свои зимние порядки. Миндаль уже отцвел, на углу мерказухи вовсю зеленело большое гранатовое дерево, а из жухлых запущенных газонов буйно перла молодая веселая трава. Ну чем не жизнь, а, Шломо? Вот стоишь ты, чистый и радостный, под весенним небом Пупа Земного, с банкой холодного пива в твердой руке, с любимым ребенком, безмятежно дрыхнущим за спиной, с бесценной женой на работе, за которую ей, вроде, наконец-то – тьфу-тьфу, чтоб не сглазить – удалось зацепиться, с очередным,

только что законченным Бэрлом в компе; и все, слава Богу, здоровы, и долгов немного, и жизнь прекрасна, чудесна, лэхаим, жизнь, за тебя! Он глотнул пива и повернулся спиной к Иерусалиму, не в силах больше встречать грудью волны счастья, накаывающиеся на него из Города, как из моря.

Жаль, что расслабленное сознание даже в такой торжественный момент все-таки подкидывало ему всякие неприятные напоминания, мусор, щепки, выгоревший ветхий плавник мелочных бытовых забот. К примеру, вчера Катя твердо сообщила ему, что они званы всей семьей на пасхальный седер к ее начальнику, и отказаться невозможно.

«Катягорически?» – жалобно спросил Шломо. «Категорически», – рассмеялась она. И повернувшись к стоящей у зеркала Женьке добавила: «Кстати, к вам, красавица, это тоже относится».

Женька напряглась, но затем, взвесив материнскую интонацию, почла за благо не перечить. Она все же закинула пробное и вялое «ну маа-ама...», однако Катя подавила ее робкое сопротивление в самом зародыше.

«Без всяких «ма-ама» и без всяких «ка-атя», – сказала она решительно. – Вы, надеюсь, не хотите, чтобы я снова осталась без работы? И потом, это просто неудобно – для них это так много значит; не будем же мы обижать людей...»

Теперь надо было перетянуться в далекую Нетанию, сидеть там в кругу незнакомых людей, слушать, кивать, улыбаться, что-то говорить самому, распевать вместе со всеми непонятные слова. Агады, ждать, когда наконец будет дозволено есть, и в итоге с трудом выбираться из-за стола, сверх всякой меры обожравшись разными вкусностями... тоска... Шломо вздохнул и снова повернулся к Иерусалиму, надеясь вернуть прежнее ощущение ничем не замутненного счастья. Дудки. Город молча смотрел на него исподлобья своих холмов, видимо обиженный шломиным отношением к одному из самых святых его праздников. «Ладно кукситься – улыбнулся Шломо. – Я же в конце концов еду. Причем со всей семьей...» Иерусалим подумал и сменил гнев на милость.

* * *

Перед тем, как отправляться в редакцию, Шломо решил забежать к Сене с Сашкой. Сашка жил там вот уже четвертую неделю, изгнанный, как и следовало ожидать, со всех своих прежних пастбищ. В издательстве ему показали на дверь уже на следующий день после публикации памятной статьи. В семье он продержался несколько дольше. Нельзя сказать, чтобы жена не сомневалась вовсе, но общественное давление все же возобладало. С нею перестали здороваться на улице и в лавке. Дети приходили из школы в слезах – одноклассники вдруг стали дразнить их «дегенератами» – по созвучию с незнакомым и непонятным словом «ренегат». Либерманы – семья дегенератов... В общем, через пару недель такой веселой жизни супруги сели на кухне,

поговорили спокойно, без слез и пришли к очевидному решению. Сашка собрал чемодан, поцеловал насупленных детей и отбыл в гостеприимную Мерказуху, на скудные сенины харчи.

В первый же вечер друзья отметили новоселье рекордным даже по прежним временам количеством выпитой водки. Пили вдвоем – Катя отказалась присоединиться по принципиальным соображениям. Больше всех крушение сашкиной жизни переживал Шломо. Он даже всплакнул по этому поводу, открывая третью по счету бутылку «Голда».

«Не плачь, Славик, – успокоил его Сашка. – Это не последняя. У Сени в морозилке еще два «Кеглевича», а в буфете – «Балантайнс» заныкан. Правда, Симеон? Я все вижу...» И он погрозил пространству совершенно пьяным пальцем. До «Кеглевичей» дело, впрочем, не дошло, потому что почуявшая недоброе Катя разогнала компанию, забрав домой мужа и затолкав в постель Сашку. Сеня лечь отказался, заявив, что он еще будет рр-работать, и действительно, сел за компьютер, где незамедлительно заснул, положив щеку на клавиатуру.

Так ознаменовалось начало нового этапа в Сашкиной жизни, который, при ближайшем рассмотрении, оказался вовсе не таким трагичным, как это виделось Шломо. Газеты печатали его даже с большей охотой, чем прежде, обретя таким образом столь милый сердцу редакторов «баланс мнений» – ведь обличительный антиссионистский пыл «нового» Сашки в известной степени уравнивал общий правый уклон русскоязычной прессы. В дополнение к этому у Саши Либермана появились новые друзья.

Прежде всего, шум специфически «русского» скандала достиг и до погруженного в собственные сытые дразги общеизраильского ивритоязычного истеблишмента. Для них история сашкиного «изгнания» из лагеря ненавистных поселенцев пришлась как нельзя кстати. Крупная израильская газета опубликовала большой материал под броским заглавием «Изгой». Особый упор в статье делался на беспардонную нетерпимость правых, без колебаний разрушивших семью и выкинувших человека на улицу только за то, что он осмелился бросить им в лицо горькую правду. Фотография Сашки с детьми красовалась на развороте субботнего приложения. Подпись гласила: «Увидит ли он теперь своих детей?» Изобразительный ряд статьи венчался комбинацией из двух других фотографий. На первой, с надписью «здесь он жил в разладе с собственной совестью...» была представлена роскошная вилла, долженствующая, видимо, изображать дом среднего поселенца, ибо ничего общего с конкретным сашкиным домиком в Долеве у нее не было. Второй снимок с похвальной реалистичностью отображал запущенную мерказушную сенину берлогу с заросшей окурками пепельницей на переднем плане. Текст под фото перекликался с предыдущим: «...а теперь он живет здесь, но совесть его чиста!»

Сеня, прочитав, рассмеялся: «На свободу – с чистой совестью...» Потом, отсмеявшись, добавил: «Знаешь, Сашка, не будь я

с тобой знаком, я бы подумал – ну и сука... Но поскольку я с тобой знаком, то и думаю я иначе. Ты не сука, ты – просто мудака...»

На Сеню обижаться было не принято, Сашка и не обиделся. В эти недели он жил в каком-то исступленном опьянении своей новой жизнью, новыми знакомствами, новыми возможностями. Его стали приглашать на телевидение, брать интервью, спрашивать его ученое мнение по всевозможным поводам; он определенно становился величиной всеизраильского значения.

«Вот видишь, как просто стать звездой, – язвительно говорила мужу Катя. – Достаточно всего лишь сосучиться. Погоди, его еще и на хлебную должность пристроят, попомни мое слово...»

«Ты несправедлива, Катюня, – возражал Шломо. – Можно утверждать, что Сашка заблуждается. Можно сомневаться в правильности его логики. Одно для меня несомненно – он искренен. Да, он поменял свои убеждения. Ну и что? Разве это преступление? Человеку свойственно ошибаться, верно? Значит, человеку свойственно менять свои убеждения. Разве не так? Во всяком случае, я уверен, что Сашка сделал это в результате мучительного внутреннего развития, а вовсе не для всех этих коврижек».

«Не смейся меня, Славик, – отвечала Катя. – Фу-ты ну-ты – мучительное внутреннее развитие... Я щас прямо заплачу... Кризис переходного возраста у твоего Сашеньки. Помноженный на общую природную мудаковатость. Прибавь к этому бабу его страшную, которую он и не любил-то никогда. Конечно, не любил – что ты за голову хватаешься... Он тогда программу отъезда выполнял, если ты помнишь: покупал пианино, стоял в очереди на мотоцикл, учился вождению и искал жену».

«Ради Бога, Катя, – стонал Шломо. – При чем тут жена и мотоцикл?»

«Конечно, – уверенно продолжала Катя, гремя посудой в раковине. – Конечно. И вообще, знаешь, что я тебе скажу? – Она решительно поворачивалась к мужу, вытирая руки кухонным полотенцем с петухами. – Просто за время своего диссидентства он привык мелькать в центре событий. Эмиссары из-за бугра, топтуны под окнами, видики на продажу, запретлит пачками, шубы с сапогами, адреналин ведрами... Он на эту жизнь подсел, как на иглу. Он с тех пор нормально жить не может, инвалид хренов. Жертва диссидентства».

«Как ты можешь так говорить? – Шломо пускал в ход последний козырь. – Если бы не героические усилия таких, как Сашка, мы бы еще сидели с тобой в тоталитарном Союзе. Это они разрушили Систему, такие вот сашки...»

«Сам-то ты в эту чушь веришь? – презрительно парировала Катя. – Бодались телята с дубом, а теперь говорят, мол, это мы его завалили... Смех, да и только».

«Что ж, по-твоему, он сам упал, этот дуб?»

«Может и сам... А может, ему снизу корни съели. Кто? – а черт его знает. Может, мы с тобой, Славик, и съели. В одном я уверена – телята эти бодливые тут ни при чем. Какой с мудаков прок?»

Шломо смолкал, подавленный катиным напором. За всю их долгую совместную жизнь ему удалось победить в споре с Катей лишь однажды, когда, еще до свадьбы, он убеждал ее не делать аборт. Да и то, если говорить честно, большой его заслуги в том не было – скорее всего, она тогда сама, вполне сознательно, дала себя уговорить...

* * *

Шломо услышал спор еще с лестничной площадки. Кричал, конечно, Сашка; Сеня отвечал ему вполголоса, лениво растягивая предложения и интенсивно расчесывая правой рукой левую щеку.

«Промывка мозгов? – возмущенно вопрошал Сашка. – А у нас мозги не промыты? У него, – он ткнул пальцем в кстати подвернувшегося Шломо. – У него мозги не промыты? Мы, выпускники сталинско-брежневских университетов, как же мы любим похвастаться нашим иммунитетом к промывке мозгов! Мол, мы-то стреляные воробьи, нас-то на мякине не проведешь... Только лажа это все, вранье. Конечно, насчет «партия наш рулевой» или, скажем, – он пощелкал пальцами, подыскивая пример. – Скажем...»

«Слава КПСС! – пришел к нему на помощь Шломо. – Все на уборку урожая! Генетика – продажная девка империализма! Из всех искусств для нас важнейшим...»

«Во-во, – прервал его Сашка. – На все это дерьмо у нас, конечно, иммунитет имеется, кто же спорит. Но, тем не менее, мозги у нас промыты плотно и основательно. Вот ты скажи, – обратился он к улыбающемуся Шломо. – Как насчет защиты Отечества, подвига во имя Родины... Это все как – хорошо? Плохо? Нет, ты скажи, не стесняйся...»

«Да не стесняюсь я, что ты, право, как петух какой-то наскакиваешь, – отодвинул его Шломо, все еще улыбаясь. – Конечно, защита Отечества – это хорошо. Только при чем тут промывка...»

«Ага! – торжествующе вскричал Сашка, как будто поймав его на чем-то. – Ага! Ты видишь, Сенечка? Промыты мозги, промыты... Десятилетия советской пропаганды не прошли даром! Не зря все эти падлы, все эти ждановы-сусловы работали; вот тебе результат! Отечество-хренечество... родина-уродина... Хрень это все, поймите. Одна есть в этом мире ценность – человек. Все остальное – чушь, шелуха, газетный блеф; всем остальным можно потереться, если, конечно, не боитесь жопу запачкать...»

«Возможно, – лениво ответил Сеня и потянулся за сигаретой. – Возможно и так... Только пропаганда этой твоей позиции – тоже промывка мозгов. Хотя и в противоположном направлении. Мол, гуманизм, свобода личности, самореализация, геи с лесбиянками, все люди братья... Впрочем, «все люди – братья» звучит как-то по-шовинистски, правда? Ладно, не тушуйся, брат, давай заменим это на «все негры – сестры»... Что, тоже плохо? Ну не знаю...»

«Хорошо, – согласился Сашка. – Насчет промывки согласен. Только промывка промывке рознь. Мы противопоставляем фа-

шистскому ура-патриотическому засиранию мозгов свою - гуманистическую промывку. Мы ж вас спасаем, дураков...»

«Мы – это ты со Слизняком?» – насмешливо осведомился Сеня и пустил в потолок струю дыма.

«А хоть бы и так, – с вызовом ответил Сашка. – И, кстати, у этого вполне достойного человека есть фамилия, так что ни к чему называть его этим мерзким прозвищем, в особенности, когда он не может тебе ответить...»

Шломо насторожился: «При чем тут Слизняк, Сеня?»

Так на их внутреннем жаргоне именовался некий депутат, создавший несколько лет тому назад организацию под скромным названием Институт Демократического Плюрализма. Прозвище «Слизняк» ему дала Катя, когда политические пристрастия новоспеченного депутата еще не вполне просматривались.

«За что ты его так невзлюбила, Катя? – удивлялся тогда Шломо. – Он выглядит не хуже других «русских». Зато как на иврите чешет!»

«Скользкий он какой-то, – уверенно отвечала Катя, – ты только на рыло его масляное глянь. Иуда-иудой...»

Шломо ухмылялся: «Катюня, Иуда – весьма распространенное еврейское имя...»

Зато потом, когда выяснились источники финансирования «Института», катиному торжеству не было предела. «Нет, ну ты видишь, как я его раскусил? – торжествовала Катя. – Сволочь гадкая... Он только что террористам патроны не покупает...»

«При чем тут террористы, Катя? – урезонивал ее Шломо. – Если Европа хочет пропагандировать в Стране определенную точку зрения, в этом нет ничего противозаконного...»

«Как же! Ничего противозаконного! А то они не знают, что на их деньги закупается оружие и пластиковая взрывчатка! Ты видел арабские учебники, где Израиля нет на карте? – Они печатаются в Европе и за европейские бабки! И твой Слизняк подъезжает из того же корыта. Что за пакость... тьфу! Иуда, Иуда и есть...»

В те дни Женька еще служила в армии – катину горячность можно было понять.

«В самом деле, при чем тут Слизняк, Саша? – невинно осведомился Сеня. – Расскажи другу дорогому...»

Сашка молча развел руками, хрюкнул, начал что-то говорить, передумал и нервно прошелся по комнате. «Расскажи, расскажи, что ты стесняешься, – издевательски подначивал его Сеня. – Спой, светик, не стыдись...»

«А мне стесняться нечего, – вызывающе сказал Сашка. – Нашлись моралисты на мою голову...» Он еще раз прошелся по комнате и наконец остановился перед Шломо. «Видишь ли, Славик, – неловко начал он, глядя в угол. – Мне предложили читать курс лекций в Институте Плюрализма. По теме «Нравственный выбор журналиста»...» Он замолчал. «И?... – подтолкнул его с дивана Сеня. – И?... Заканчивай, чего уж там...»

«И... я согласился...»

Кто-то вдруг хлопнул ладонями в шломиной голове, притопнул и, высоко вскидывая колени, запел: «подружка моя, ты не сомневайся...»

«Эй, Славик, что ты молчишь, скажи что-нибудь, – позвал его Сеня. – Ты смотри, Саш, как его тряхануло... Впечатлительный ты наш...»

Шломо и в самом деле молчал, не к месту улыбаясь и тщетно пытаясь справиться с внутренним своим топотуном, на высокой ноте выводящим: «...я пойду его встречать, а ты одевайся!» Сашка по-прежнему стоял истуканом; потом, так и не дождавшись шломиной реакции, развел руками и начал кружить по комнате.

«Смотри, Александр, – солидно сказал Сеня, закуривая. – Отставляя в стороне твое присоединение к Слизняку, которое и в самом деле выглядит несколько... э-э-э... чрезмерным даже на фоне твоих нынешних духовных исканий, я должен заметить, что твои рассуждения по поводу промывки мозгов все же не вполне корректны. Ты говоришь: «или-или». Либо промывка националистическая, либо промывка гуманистическая. Надо только выбрать – которая из них лучше. Так?» Сашка кивнул.

«А если я, к примеру, не хочу никакой промывки? – продолжил Сеня. – Ни-ка-кой. Если мне в равной степени наплевать и на идеалы сионистского Отечества и на прекрасные идеалы гуманизма? Для меня – высшая ценность – Я Сам. Разве плохо? Шкурно, зато честно. Чем не вариант?»

«Подружка моя, ты не сомневайся...» – задумчиво пропел Шломо.

«О! – радостно подхватил Сеня. – Вот и царь Шломо прорезался. Скажи уже что-нибудь, порадуй нас откровениями верного мужа и друга...»

«Где уж мне с моими промытыми мозгами, – все так же задумчиво отозвался Шломо. – Хотя, знаете... Вот вам несколько наблюдений моего филистерского сознания. Во-первых, твой, Сеня, вариант – совсем не третий, потому что Сашкин гуманизм в итоге сваливается именно к провозглашенному тобой шкурничеству. А как же иначе? Все человечество любить – это уж больно неконкретно, сплошной туман. А собственная шкура – вот она, родная, всегда под рукой. Так что себялюбие – это гуманизм на практике.

Во-вторых, если уж выбирать между двумя промывками... Я не вижу ничего плохого в защите своего дома, семьи, друзей, Отечества, коли на то пошло. Да и при чем тут промывка мозгов? Разве не естественно защищать группу, к которой принадлежишь? Волки дерутся за свою стаю, муравьи – защищают свой муравейник. До смерти, заметьте, защищают. У них что – тоже мозги промыты?»

Сашка в отчаянии хлопнул себя руками по бедрам: «Но ты-то не муравей, не волк! Ты человек, тебе затем разум и даден, чтобы изжить в себе психологию стаи!»

«С чего ты взял? А может, – как раз таки затем, чтобы эту стаю получше организовать, защитить? Ты пел что-то о саморе-

ализации. Но настоящая самореализация бывает только в рамках группы. Или во имя группы. Если, конечно, не брать нашего Сенечку в качестве обратного примера... Он-то реализовался в полной мере, не так ли, Сеня?»

В комнате наступило молчание. Потом Сеня погасил сигарету и, прищурившись, посмотрел на Шломо: «Спасибо тебе, Славик, на добром слове. Чаю хочешь?»

«Не за что, – смущенно ответил Шломо. – Сам напросился. А чаю не надо, я уже на работу опаздываю. Так что мы с подружкой пойдем...»

«С какой подружкой?»

«Да есть тут одна приставучая...» – и он вышел, напевая накрепко привязавшуюся «подружку».

«Подружка моя, ты не сомневайся – я пойду его встречать, а ты одевайся. Или – раздевайся? Черт его знает... Подружка моя...» В голове его было пусто и звонко, и не хотелось ни о чем думать.

9

В Барселоне Бэрл остановился в неприметном отеле «Сити Парк», в десяти минутах ходьбы от вокзала «Сантс». На этот раз сюрпризов не было. Чемодан ждал его в платяном шкафу. Вытряхнув на кровать незатейливое содержимое верхнего отделения, Бэрл щелкнул потайным замочком второго дна и приступил к осмотру своего арсенала. Помимо обычной «беретты» с глушителем и спецпатронами, чемодан содержал недурной набор штурмового оружия – гранаты, укороченный десантный «узи» и девятимиллиметровый «ерихо» с обычным снаряжением. Бэрл остался доволен. «Беретта», незаменимая в быстрых контактных ликвидациих, мало чего стоила в открытом бою. Тут Бэрл предпочитал оружие израильского производства.

С членами своей группы он встречался в маленьком открытом кафе, там, где кривая Авенида де Мадрид, побыв какое-то время короткой и куцей Авенидой де Берлин, окончательно превращалась в Авениду де Париж – прямую, длинную и ухоженную. Бэрл пришел на встречу заранее, но оба парня уже были на месте, поджидая его за крайним столиком. «Привет, ребята, – улыбнулся он, присаживаясь. – Меня зовут Бен. Кто на этот раз вы?»

Они уже встречались несколько раз по разным поводам, в разном составе и под разными именами. Все трое принадлежали к внутреннему кругу и нередко дублировали друг друга, иногда даже не подозревая об этом.

«Стив». «Джеки».

«Сойдет, – согласно кивнул Бэрл. – Надо бы выпить за знакомство. Что вы такое глушите? Пиво? В такое-то время дня и года? Кто вас только обучал...» Он махнул рукой официанту: «Эй, бижу! Принеси-ка мне Мартель и эспрессо».

«Не у всех есть русские корни, Бен, – саркастически заметил Джеки, ладно сложенный, жилистый парень восточной наружнос-

ти. – Есть и такие, что этот французский клопомор на дух не переносят...»

«...предпочитая зашариваться травкой», – жизнерадостно закончил за него Бэрл. Все трое расхохотались.

«Ладно, ребята, – сказал Бэрл, пригубив коньяку. – Давайте переходить к делу. Прежде всего – у всех все в порядке? Все штатно?» Его собеседники кивнули.

«Отлично. Персонаж – Абу-Айяд, живой, по мере возможности. Думаю, я не должен объяснять вам, кто он... Вот и славно. Сюжет – завтра вечером он ждет своего приятеля на ферме около Гироны. Помимо него, там может быть до шести грязных. Установка на них – обычная. Я подбираю вас на железнодорожной станции Гироны в шестнадцать сорок. И не забудьте захватить с собой свои игрушки. Вопросы?»

«Источник сюжета?» – спросил Стив. Бэрл помолчал. Вообще говоря, он не обязан был отвечать на этот вопрос. Но и тихарить особой причины не было.

«Источник – тот самый приятель, которого Абу-Айяд ждет на ферме. В настоящее время горит себе – не сгорает в адовом серном пламени. Чего и другу своему желает...» Бэрл помрачнел, вспомнив свои ночные бдения с нагероиненным Надиром в подвале на улице Шамир.

«Итак, до завтра, – он допил коньяк и встал. – Постарайтесь не слишком надуваться пивом. Замедляет реакцию».

* * *

Назавтра, около девяти утра Бэрл вышел из здания гиронского вокзала. Машина ждала его на близлежащей стоянке. Это был обычный для здешних мест пикап «Пежо», с маленьким кузовом и двойной кабиной. Почти не сверяясь с картой, Бэрл выехал из города в северном направлении и свернул налево, к невысоким зубцам Пирренийских предгорий. Узкое шоссе петляло между разрозненными хуторами и маленькими деревеньками, ощутимо забираясь наверх, в горы Сьерра-де-лас-Медас. Проехав с полчаса, Бэрл увидел нужный ему указатель. Еще несколько километров узких горных долин, и вот, наконец, справа, в сотне метров от грязной грунтовой дороги, перед ним возникла небольшая, ничем не примечательная усадьба, отгороженная от чужих глаз прямоугольником пыльных кипарисов.

Бэрл проехал мимо, не замедляя хода. Пока он не мог пожаловаться на точность описаний, данных ему покойным Надиром. Дай-то Бог, чтоб и дальше так... Лощина вильнула вправо и начала сужаться. Лучше не придумашь, – порадовался за себя Бэрл. Он свернул с дороги на еле заметный проселок, забиравший вверх по крутому склону невысокого лесистого отрога, окаймлявшего лощину с севера. Проселок закончился небольшой лужайкой; дальше ехать было невозможно. Бэрл приткнул пикап под деревом, вышел и осмотрелся. Как он и предполагал, по

гребню хребта, меж густыми зарослями дикого кустарника, вилась вполне утоптанная тропинка. Пройдя по ней несколько сот метров, Бэрл увидел сквозь путаницу веток знакомые очертания кипарисного каре. Усадьба лежала перед ним, как на ладони. Бэрл устроился поудобнее и вынул бинокль из рюкзака.

Двор был пуст, не считая двух машин – раздолбанного пикапа и пыльной белой «тойоты-королла». Вся усадьба состояла из каменного двухэтажного дома с плоской крышей и бревенчатого гумна на высоком кирпичном цоколе. Никакой живности Бэрл не заметил; в особенности его порадовало отсутствие собаки. Отчасти это уже характеризовало нынешних хозяев усадьбы – все знакомые Бэрлу арабы испытывали стойкую неприязнь к собачьему племени; впрочем, собаки платили им тем же.

Ближе к полудню из дома, потягиваясь, вышел высокий парень в куртке, сел в «тойоту» и завел двигатель. Потом показался второй, повозился у двери с замком и присоединился к первому. «Тойота», переваливаясь на колдобинах, выбралась на грунтовку и укатила в сторону Гирыны. Это выглядело настоящим приглашением. Бэрл поразмыслил и решил не отказываться. Он осторожно спустился со склона, расчищая путь от сухого валежника и шатких камней, помечая удобные места и обозначая обход естественных препятствий. Спустившись до самого низа, он недовольно покачал головой, вернулся наверх по своим следам и снова отрепетировал спуск. Он проделал эту операцию четырежды, прежде чем остался доволен результатом. Теперь можно было заняться домом.

Бэрл посмотрел на часы. По его расчетам, до возвращения хозяев оставалось не более двадцати минут. Надо было поторопиться. В несколько прыжков он преодолел травянистый выгон, отделявший край зарослей от заднего ряда кипарисов. Дом высился перед ним, неожиданно большой, защищенный мощными решетками на окнах подвала и первого этажа. Задняя дверь, прежде незамеченная Бэрлом, была заперта изнутри. Он поднял голову. Окно наверху было приоткрыто, и сквознячок выдувал наружу белую занавеску, словно сам дом сигнализировал о добровольной сдаче невероятному бэрлову везению. Думать было некогда. Бэрл решительно вскарабкался к окну, влез внутрь, и, не медля ни секунды, понесся по дому, фотографируя сознанием расположение комнат, мебели, размеры простреливаемых пространств и расстояния между углами.

Наконец он очутился в кухне, с внутренней стороны заднего входа. Опять удача! Дверь не закрывалась на засов – только на большой врезной внутренний замок. Теперь оставалось найти ключ. Твердо веря в свою звезду, Бэрл выдвинул ближайший к двери ящик кухонного буфета. Бинго! Он торжествующе вставил ключ в замочную скважину, дважды повернул и распахнул дверь настежь. И замер.

Прямо перед ним стоял молодой араб в бейсбольной шапочке и с глуповатой улыбкой, застывшей на безбородом, окаменев-

шем от неожиданности лице. «Ты кто?» – спросил он Бэрла и полез рукой за спину. «Моше Даян», – ответил Бэрл шепотом, на втором слоге ударяя парня по ушам обеими руками, отчего, вероятно, тому не привелось расслышать фамилию героического израильского полководца. Бэрл подхватил обмякшее тело араба и втащил его в дом. Откуда он тут взялся, черт его заберет? Спал на гумне? Больше неоткуда – к дому точно никто не подъезжал, Бэрл бы услышал... Он выругал себя за идиотскую непредусмотрительность – надо же, полезть в дом, забыв проверить гумно! Так и надо дураку – раскатал губу от невиданной прухи, так лезущей на него с самого утра...

Кляня себя за детскую ошибку, Бэрл волочил араба в гостиную. Не давая ему придти в себя, он взгромоздил его на стул и, близко глядя в глаза, зашептал горячим шепотом: «Я – твоя смерть, бижу, понял? Смерть, понял? Понял?»

Араб кивнул в ужасе, не в силах отвести расширенных зрачков от душного бэрловского взгляда.

«Меня слушать надо, понял? На, пиши, пиши же, ну...» – Бэрл придвинул лежащий на столе блокнот и сунул ручку в дрожащие пальцы парня. «Пиши: «уехали жрать, а меня бросили?» Вопросительный знак поставь, быстро. Теперь дальше: «скоро вернусь». Молодец. Теперь напиши свое имя. Как тебя зовут? Халед... Приятно познакомиться, Халед». И на этой оптимистической ноте Бэрл свернул ему шею.

Подняв тело, он отнес его на заднее сиденье стоявшего во дворе пикапа. Времени уже совсем не оставалось. Бегом Бэрл вернулся на кухню. Схватив со стола бутылку масла, он аккуратно смазал петли, замочную скважину и ключ. Вытер масло рукавом куртки. Закрыл дверь на ключ снаружи. Сунул ключ в карман. Поднял с земли пистолет и кепи Халеда. Бегом – к пикапу. Выезжая на грунтовую дорогу, Бэрл с беспокойством посмотрел в зеркало заднего обзора. Дорога на Гирону была пуста. Он дал газу в противоположном направлении.

На свой наблюдательный пункт Бэрл вернулся через полчаса. Белая «королла» уже стояла во дворе. Один из арабов, раскорячившись посреди двора, громко звал Халеда, сложив руки рупором и обратясь к лесистому хребту. Казалось, он смотрел прямо на Бэрла. «Хале-ед! – кричал араб. – Йа Хале-е-ед!»

«Что ты вопишь, кретин, – чертыхнулся Бэрл. – Спит он, твой Халед. Скоро и ты уснешь, недолго уже осталось...»

Второй араб вышел из дома, держа в руках блокнот. Они еще постояли там какое-то время, оживленно жестикулируя и очевидно осуждая недисциплинированного соратника. Бэрлу стало скучно. Он вдруг обнаружил, что зверски проголодался. Вернувшись к своему пикапу, он выбрался на шоссе и поехал в сторону, противоположную усадьбе, рассчитывая вернуться в Гирону кружным путем через Амер. Не стоило лишний раз искушать судьбу, мелькая туда-сюда перед окнами дома. Там ведь, небось, скучая по Халеду, все глаза проглядели, на дорожку-то глядячи.

* * *

«Каталонский экспресс» из Барселоны прибыл в Гирону точно по расписанию. Бэрл подъехал к выходу из вокзала, как раз когда первые пассажиры начали выходить в город. Он остановился около Стива, прикуривающего сигарету и, перегнувшись через сиденье, распахнул дверцу: «Поехали, Стивви. И брось ты эту соску. Ты ведь уже большой мальчик. А где твой приятель?»

«Сейчас выйдет, – хладнокровно ответил Стив, затягиваясь. – Попросился в туалет, по-маленькому. Я пустил».

«Молодец, – одобрил Бэрл. – Забота о личном составе украшает командира. А вот и Джеки. Говорил я тебе вчера, сынок, – не надувайся пивом...»

«Что за люди, – сокрушенно заметил Джеки, забираясь в кабину. – Пописать не дадут последний раз в жизни...»

Бэрл и Стив суеверно переглянулись. Эта шутка была, на их вкус, совершенно лишней.

Выехав из города, Бэрл остановился. На листе бумаги он нарисовал план дома и подробно описал его. Стив и Джеки внимательно слушали. Остальное он договаривал по ходу движения – Бэрл надеялся успеть вернуться на место до приезда главного действующего лица. Возвращался он тем же кружным путем, в объезд усадьбы. Халедов пикап стоял там, где Бэрл оставил его – на лужайке, в конце тупикового проселка. Свою машину Бэрл снова припарковал под деревом, капотом в направлении выезда.

«Стив, Джеки, – сказал он, глуша мотор, – очистите от падали вторую тачку. Только снимите с него куртку. Она нам сегодня еще пригодится».

Был уже седьмой час, когда они оказались на наблюдательном пункте. В сгуставшихся сумерках Бэрл сразу различил джип «террано», уткнувшийся своим тупым носом в кипарисы рядом с «короллой». В гостиной на первом этаже горел свет. В доме явно были новые гости. Вопрос – сколько?

«О'кей, – сказал Бэрл. – Действуем, как договорились. Скорее всего, их в доме шестеро, включая Айяда. Стив, после того, как войдем, бери левую часть гостиной. Джеки, въезжай вальяжно, не торопясь. Перед поворотом с шоссе просигналь дважды – пусть знают, что хозяин едет. По комплекции ты почти неотличим от Халеда, плюс куртка и кепи, плюс темнота. Проблем быть не должно. К тебе выйдут, скорее всего, двое. Оба твои. Кончай с ними, проверь гумно, только быстро, и – к нам через главный вход. Дальше – по обстановке. Напоминаю еще раз – Айяд нам нужен живым. Так что постарайтесь не попортить продукт. В крайнем случае – по ногам и в плечи. Остальные – мусор. Ферштейн?»

Быстро темнело. Они подождали еще с час. Наконец Бэрл кивнул: «Джеки, братишка, давай вперед, с Богом. Куртка и кепи в пикапе. И ты это... не очень-то прыгай. Побереги связки, чтобы не было как тогда, в Дортмунде...» Джеки улыбнулся: «Не нервничай, Бен, все будет в порядке. Увидимся...» Он бесшумно исчез в тем-

ноте. Бэрл сделал знак Стиву, и они начали осторожный спуск по размеченному маршруту. Через пять минут они стояли, прижавшись к стене у задней двери. С шоссе донесся шум неторопливо приближающейся машины. Бэрл переложил «узи» в левую руку и достал ключ. Он отчетливо слышал, как кто-то протопал по лестнице вверх. Пикап свернул на подъездную дорожку и просигналил дважды. Бэрл повернул ключ в замке почти синхронно со вторым сигналом. Щелчок замка хлестнул их по натянутым нервам. Они прислушались. В доме были, видимо, поглощены приближающимся пикапом. «Ну? – громко спросил кто-то из гостиной. – Что там?» «Халед, собака, – ответили сверху. – Ну я ему шею намылю, маньяку...»

Бэрл услышал, как отворилась входная дверь, и кто-то вышел навстречу паркующейся машине. Двое. Укороченная М-16 у каждого; они несли винтовки как чемоданы, в опущенной правой руке. Бэрл видел их со спины, приближающихся к пикапу, к Джеки, который, не торопясь, вылез с противоположной стороны кабины и теперь, опустив голову, делал вид, что возится с чем-то на заднем сиденье.

«Халед, йа маньяк! – сердито позвал его один из арабов, подойдя к машине метров на пять. – Кто ж так делает, собака ты этакая?»

Джеки выпрямился и вышел из-за машины. В каждой руке он держал по «узи». «Зачем же так ругаться? – удивленно и мягко спросил Джеки на чистом иврите. – За это вас папа сейчас отшлепает...» И открыл частый огонь одиночными с двух рук.

В следующую секунду Стив с Бэрлом уже стояли на пороге гостиной. С этой стороны их там явно не ждали. «Стоять! – крикнул Бэрл. – Бросай оружие!» Трое арабов, уже собиравшихся выскочить из комнаты в сторону входного холла, ошарашенно обернулись. Моментально идентифицировав Абу-Айада, Бэрл прыгнул на него, полностью полагаясь на Стива, который в этот момент шпиговал рваными кусочками свинца двух других обитателей гостиной. Они даже не успели поднять автоматы. Абу-Айяд быстро пришел в себя и бешено сопротивлялся, но Бэрл был сильнее. Он уже оседлал противника и заламывал ему назад руки, когда сверху раздалась пулеметная очередь. «Черт! – вспомнил Бэрл. – Наверху...» Он оглянулся на Стива. Тот бежал вверх по лестнице, выдергивая зубами гранатную чеку. Бэрл прижал айядову голову к полу и, высвободив руку, надавил на сонную артерию. Араб отключился. Наверху с короткими промежутками прогремели три взрыва. С потолка посыпалась штукатурка. Бэрл вытащил из кармана моток клейкой ленты и начал вязать Абу-Айяда. Локти. Кисти рук. Сверху с бешеной скоростью скатился Стив и бегом бросился во двор. Ноги в коленях. Щиколотки. Рот. Бэрл поднялся с пола и, подобрав «узи», осмотрел первый этаж. Никого. На двери, ведущей в подвал, висел амбарный замок. Черт с вами... Он вернулся в гостиную. Со второго этажа по лестнице валил дым – там явно начинался пожар. Бэрл поднял за ремень спеленатого Абу-Айяда:

«Пойдем, бижу... Не дай Бог угоришь. Ты у нас теперь на вес золота...» Он вдруг понял, почему всеми своими подсознательными силами оттягивал момент выхода во двор. Джеки...

Джеки лежал у входа в гумно, там, где его настигла пулеметная очередь. Хватало одного взгляда на его развороченный крупным калибром живот, чтобы понять, что жизни в нем осталось немного. Стив подложил ему что-то под голову и теперь сидел рядом, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Бэрл подошел, волоча за собой Абу-Айяда. Он поднял его повыше, так чтобы Джеки видел и с силой швырнул на землю, искренне надеясь сломать ему при этом позвоночник. Затем он наклонился над умирающим. «Видел, Джеки-бой? – спросил он. – Вот он, этот кусок дерьма. Стоит ли он грязного ногтя с твоего мизинца?»

«Бен, – прошептал парень, выдувая кровавые пузыри углами ссохшегося рта. – Бен, я не Джеки. Меня зовут...»

«Шш-ш... – прервал его Бэрл. – Не говори. Меньше трепешься – здоровее будешь...»

Джеки улыбнулся. «Не ко мне, бижу. Я – уже не буду». Он вдруг начал смеяться, мучительно морщась и булькая растерзанными внутренностями: «Я ж вам говорил... последний раз... я тогда и в самом деле последний раз пописал... говорил... а вы... мать вашу...»

«Еврейский юмор», – сказал Бэрл без улыбки. Джеки еще раз булькнул, дернулся и умер.

Бэрл обернулся на дом. Верхний этаж уже полыхал вовсю. «Стив, – сказал он, дергая напарника за руку. – Эй, Стив! Быстро, «тойоту» к гумну...» Подняв мычащего и дергающегося Абу-Айяда, он перетащил его на заднее сиденье пикапа и вернулся к Стиву:

«Давай, парень, шустрее... Джеки уже не вернешь. Ну-ка помоги...» Вдвоем они осторожно положили Джеки на капот «тойоты» и загнали ее в сарай. Отвинчивая крышку бензобака, Бэрл окинул взглядом помещение и присвистнул:

«Э, да тут целый арсенал!» И в самом деле, стеллажи вдоль стен были уставлены ящиками оружейного содержания. Но времени разбираться с этим подробно не было. Хотя усадьба и стояла на отшибе, на шумели они изрядно: Звуки боя наверняка были слышны в близлежащих деревнях. Требовалось сматываться, и побыстрее. Стив чиркнул зажигалкой, и они выскочили из гумна. Через минуту их пикап выехал на дорогу, оставляя за собой пылающую усадьбу.

Местная полиция поворачивалась не быстро. Бэрл со Стивом успели сменить халедов пикап на бэрлов, успокоив при этом Абу-Айяда хорошим уколом снотворного и плотно запаковав его под задним сиденьем, а дорога оставалась такой же пустынной, какой и была полчаса тому назад, когда все, за исключением Халеда, были еще живы. Они уже проехали Амер, когда до них донеслось эхо далекого взрыва. «Ого, – сказал Бэрл. – Взрывчаткой они запаслись на пять фатхов и десять хамасов... То-то шуму будет в

завтрашних газетах; бьюсь об заклад, что все спишут на басков. Стив, да не молчи ты, скажи хоть слово, я так с ума сойду».

«Я с ним в одном взводе служил, – сказал Стив глухо. – В «Голани». Вместе Ливан прошли. Три года в одной палатке... И вот – даже не похоронил. Сжег, как собаку...»

«Знаешь что, – сказал Бэрл. – Лучше уж молчи».

* * *

Проехав Англес, они еще раз поменяли машину, переложив свой груз в багажник «пассата». Груз мычал, но в целом вел себя смирно. Через час за окнами замелькали огни отелей и кемпингов Коста Брава. Севернее Бланеса Бэрл свернул к берегу и припарковался возле одинокого красного «мондео». Море перед ними сияло огоньками далеких и близких яхт. Бэрл трижды мигнул фарами. Одна из яхт, стоявшая не более чем в миле от берега, мигнула в ответ. Бэрл вздохнул: «Ну вот и все, Стив. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся».

Стив молча кивнул.

«Жаль, что Джеки так не повезло, – продолжил Бэрл. – Я понимаю, что это плохое утешение, но все мы когда-нибудь так кончим... Возьми отпуск, мой тебе совет. Отдохни...» Стив снова кивнул.

От яхты отвалил катер и стал приближаться к берегу. «Нам пора», – сказал Бэрл. Они пересели в «мондео». Ключ торчал в замке зажигания. Бэрл развернул машину и погнал в сторону барселонского аэропорта. В кармане у него был билет на ночной рейс в Цюрих. Стив летел во Франкфурт.

10

«Сколько можно собираться? – недовольно сказал Шломо. – Теперь мы точно опоздаем. Неудобно...»

Он сидел в кресле, вытянув ноги перед включенным на русский канал телевизором и беспомощно наблюдал за Катей и Женькой, которые вот уже битый час метались между единственным семейным платяным шкафом, стоящим в спальне и единственным большим зеркалом, висящим в салоне. Они успели уже дважды перемерить все туалеты и теперь пошли по третьему кругу, оживленно обсуждая при этом каждую перемену одежды.

«Ах, папа, – досадливо бросила ему Женька, проносясь мимо в направлении спальни. – Когда ты наконец привыкнешь? В Израиле не опаздывают только фраера». «А я и есть фраер, – упрямо отвечал Шломо. – Поздно мне на урку переучиваться». «Славик, подбери ноги... – это уже Катя, бегущая противоположным курсом. – Я все время о тебя спотыкаюсь, неужели непонятно?»

Шломо обиженно подобрал под себя ноги. Телевизор талдычил про Чечню. Потом перешли на погоду. В Питере шел дождь.

Подскочила Женька: «Папа, застегни мне браслет... Да не так... Вот эту штучку – сюда...» Шломо, старательно сопя, склонился над ее рукой.

«А сам-то ты когда одеваться думаешь? – спросила Катя из ванной. – Нас подгоняешь, а у самого еще конь не валялся...»

«Ну вот, начинается, – подумал Шломо. – Похоже, теперь они и по мою душу освободились...»

Он вцепился в подлокотники кресла и сказал с фальшивым металлом в голосе: «Я уже давно одет».

«Папа, ты что, с ума сошел? – фыркнула Женька и, встав перед зеркалом, изогнулась невообразимой дугой, отыскивая на себе еще не вполне исследованные места. – Нельзя же идти в этом на пасхальный седед!» Она развела руками, следя за траекторией браслета. «Мама, ты слышала? Скажи ему...»

Катя высунулась из ванной. «Слава, прекрати эти глупости. Идти в этом совершенно невозможно...» Они произносили это свое «в этом» таким тоном, как будто Шломо был одет не в обычные свои брюки со свитером, а в ирокезский наряд с перьями и боевой раскраской. Сопротивляться было бессмысленно.

«Что же я, по-вашему, должен надеть?»

«Как будто тебе надеть нечего! -- возмутилась Катя, ловя щеточкой норовившие ускользнуть ресницы. – Пожалуйста, не строй из себя несчастного!»

Шломо ненавидел собираться в гости.

«Надень голубую рубашку с ромбиками – ту, что я купила тебе в «Полгате», помнишь?.. и жакет», -- смиростивилась Катя. Шломо, кряхтя, встал с кресла и пошел переодеваться.

Когда он вернулся в салон, его встретили две ослепительные улыбки. Покончив с обычным зеркалом, Катя и Женька нуждались в живом отражении их безусловной и победительной красоты. Шломина реакция на этом этапе играла роль живого зеркала. Эту роль он знал назубок, исполняя ее мастерски и с удовольствием. Главное условие тут заключалось в том, чтобы не жалеть красок. Чем грубее и чудовищней выглядела лесть, тем довольнее оставались его самодержавные властительницы. В конечном счете это положительно сказывалось на самом Шломо. А потому, увидев знакомые вопрошающие улыбки, он немедленно включил программу выполнения социального заказа, то есть, пошатнулся и заслонил глаза ладонью с растопыренными пальцами, щурясь, как от нестерпимо яркого света.

«Вау! – воскликнул он сдавленным голосом. – Вау! И еще раз вау! На этот раз это просто невыносимо. Нельзя быть столь подавляюще красивыми! Вас обеих нужно бросить в тюрьму! Хотя и это не поможет – вы расплавите камни и решетки вашей громокипящей прелестью!» Гм... неплохо, неплохо... Ему самому понравился лихо закрученный комплимент. Тем не менее, проверив сквозь растопыренные пальцы реакцию своих женщин, он обнаружил, что чего-то все-таки не хватает. Что ж, приходилось вновь прибегать к ненавистному штампу.

«Все мужики там будут ваши!» – воскликнул Шломо, недоумевая, отчего столь затертый и, если говорить честно, идиотский текст пользуется у публики столь неизменным успехом. Наградой ему стали сияющие глаза его ненаглядных повелительниц.

«Ну, – спросил он робко. – Теперь уже поехали? Раньше сядем – раньше выйдем...»

«Даже не надейся, – сурово ответила Катя. – Пока «Хад Гадья» не споешь – не выйдешь».

* * *

Они отъехали от Мерказухи в начале шестого. Движение было почти как в час пик – накрашенный и разодетый Народ Израиля торопился на Пасхальный Седер. На проспекте Бегина Катя, вместо того, чтобы свернуть направо, к выезду на первое шоссе, продолжила прямо, в сторону Рамота.

«Смотри, Катюня, перестреляют нас на этой дороге, – сказал Шломо. – Хотя, если уж погибать, то лучше всем вместе...»

Бейт-хоронское шоссе, спускающееся от Иерусалима параллельно главной дороге на Тель-Авив, было в последние месяцы беспокойно. Арабы обстреливали автомашины, несколько человек погибло. ЦАХАЛ усилил патрулирование в районе близлежащих деревень, и пару недель тому назад ликвидировал банду, как крыс. Но в точности, как крысы, они могли вдруг проклянуться на другом, а то и на том же участке. По этой самой причине в последнее время шоссе пустовало, даже днем.

«Да, мама, – недовольно заметила Женька. – Зачем лезть на рожон? Мне лично умирать не хочется, даже когда все вместе».

«Перестаньте скулить, бобики, – весело ответила Катя. – Охота вам в пробку лезть? Сами ведь говорили, что опаздываем. А тут мы с ветерком доедем, вот увидите...»

Еще бы – полицейские радары на бейт-хоронском шоссе не водились...

Начался дождь, несильный, но уверенный в своей основательности, из тех, что приходят на несколько часов, а если повезет, то и на всю ночь. «Хорошо бы так», – подумал Шломо. От сильных ливней проку было мало – в течение получаса они обрушивали на измученную засухой страну океаны бестолковой воды, которая тут же выплескивалась в сытое Средиземное море, прихватив с собой полдюжину автомобилей и затопив по дороге пару-тройку тель-авивских или ашдодских кварталов. Этот же долгоиграющий неторопливый дождяра поил, а не топил, насыщая водой трудный, ссохшийся глинозем Земли Обетованной, просачиваясь в подземные резервуары, а главное – наполняя совсем обмелевший за последние годы Кинерет.

Хотя, если честно, трудно представить себе что-либо более мощное и значительное, чем гроза с ливнем в Иерусалиме. Шломо прикрыл глаза, вспомнив одно из самых ярких сво-

их впечатлений, когда буря застигла его поздним вечером, почти ночью, в квартале Нахлаот. Он вспомнил потоки воды, несущиеся по узким горбатым улочкам в желтом свете испуганных фонарей; водопады, низвергающиеся из боковых переулков; вихрящиеся водовороты площадей; черно-золотые стены притихших домов; тускло мерцающую под слоем воды мостовую. И яростный скорпион молнии, серебряный на черном, растопыривший на полнеба свои острые члены, грозящий миру смертоносным жалящим хвостом. И гром, оглушительный до треска в ушах, гром-грохот, гром-молот, заслоняющий своей черной великанской тушей даже эту ужасную молнию, вызвавшую его к жизни из невозможных вулканических подземелий... И восторг, ни с чем не сравнимый восторг, размером с этот ливень, с эту молнию, с этот гром; пьянящее чувство равновеликости буре и никакого, ну просто никакого страха – потому что тут, в Его Доме, тут, в Месте, где живет Хозяин, не может случиться ничего плохого...

Он открыл глаза оттого, что машина остановилась. Последний светофор на выезде из Гиват-Зеева.

«Проснулся, дорогой? – приветствовала его Катя. Она миновала поворот на Рамаллу и резко увеличила скорость. – Ты лучше спи дальше, а то ведь начнешь сейчас нудеть под руку...»

«Как же, уснешь тут, когда ты фигачишь под сто сорок, – сказал Шломо. – Пожалей хоть машинку, она ведь вот-вот развалится...»

Их старенький «уно» и впрямь уже не подходил для таких нагрузок. Он стонал всеми своими сочленениями, звенел клапанами, скрипел рессорами и вообще протестовал, как мог.

«Катя. Ну Катя...» Бесполезно. Ничто не могло ослабить безжалостного давления катиной правой ноги, утопившей педаль газа в полу несчастного «фиатика».

«Мама, – поддержала отца Женька. – Может и впрямь не надо? Дождь все-таки...»

«Какие вы все-таки зануды», – вздохнула Катя и слегка отпустила педаль. «Уно» радостно хрюкнул, поняв, что есть шанс выжить и попытался сползти на сто десять. Но не тут-то было.

Катя пустила в ход последний аргумент. «На высокой скорости в машину труднее попасть, – заметила она тоном штабного стратега. – А если будем еле-еле тащиться, то нас только ленивый не подстрелит...» И она снова пришпорила свою несчастную клячу. Через десять минут они уже подъезжали к бетонадам блокпоста «Маккабим». Ровно месяц тому назад на этом самом месте взорвался очередной террорист-самоубийца. На счастье, тогда обошлось всего тремя ранеными.

Блокпост знаменовал собой пересечение «зеленой черты». Опасный участок шоссе закончился, и Шломо вздохнул свободнее. «Слава Богу, – сказал он с облегчением. – Теперь хоть поедем нормально». «Перестань, Славик, – отозвалась Катя. – Не так уж это и страшно. Там уже пару месяцев как не стреляют. Взрыв на блокпосте не в счет». «Да при чем тут

стрельба! – ответил Шломо. – Арабская стрельба меня волнует меньше, чем наш водила. И когда у тебя, наконец, права отнимут...» Катя рассмеялась. Она любила машину, скорость, легкое и затягивающее чувство дороги. Шломо тоже водил, но, когда они ехали куда-нибудь вдвоем, вопроса о том, кому рулить, не стояло.

«Кстати, по поводу прав, – вспомнила Катя. – Сегодня утром слышала по радио, как Слизняк распространялся насчет прав арабского народа Палестины. Так он там вскользь так упомянул друга твоего сердечного, Сашеньку. Мол, работает у него в кормушке... ну, институт этот опереточный, помнишь?»

Шломо неохотно кивнул. «Помню...»

Катя выдержала паузу. «И это все? – спросила она, не дождавись продолжения. – Вся твоя реакция? «Госдепартамент отказался опровергнуть или подтвердить...»? Скажи уже что-нибудь. Наверняка ты об этом знаешь».

«Знаю».

«И до сих пор ему руку подаешь? Водку вместе выпиваешь? О судьбах человечества с ним треплешься? Смотрите, господин Шломо Бельский, как бы не замараться. Так ведь к нам приличные люди ходить перестанут».

«Как ты не можешь понять, – сказал Шломо. – Саша – мой ближайший друг. Я не могу засунуть собаке под хвост все, что связывало нас в прошлом, только из-за того, что его политические убеждения отличаются от твоих».

«Ну вот, опять я во всем виновата! Даже в том, что твой друг скурвился...»

«Перестаньте ссориться», – жалобно попросила Женька с заднего сиденья.

«При чем тут мои убеждения? – возмущенно сказала Катя. – Разве непонятно, что эти подонки открыто помогают врагу? Как можно задавить террор, когда они морально подпитывают террористов? Ты помнишь этого гада, неделю назад, на Кинг Джордж? Того, что взорвал женщину на пятом месяце беременности? Чтобы сделать такую вещь, одной бомбы мало, нужно еще и сознание моральной правоты. Твой Саша, конечно, бомбы не подкладывает... Он по части морали работает, дружок твой хренов».

«Катя, – устало сказал Шломо. – Ну что ты меня мучаешь? Ну не могу я ним расплеваться, не могу. В особенности сейчас, когда он у Сени из милости подъедается, безо всяких средств к существованию. Сама подумай...»

«А вот не жалко мне его, – зло процедила она, вцепившись в руль. – Не жалко. Женщину ту молодую – жалко. И ребенка ее не родившегося. И мужа ее, вместе с ней погибшего. И двоих малолеток, что дома с бэбиситтером остались, пока папа свезет маму на ультрасаунд... Их вот мне жалко. А Сашу твоего – нет. Ничего с ним не случится – дерьмо не тонет. Вот и джоб себе отхватил – все, как я тебе говорила...»

В глазах у нее стояли слезы. Шломо погладил ее по руке: «Ну не надо, Катюня, ну что ты? Все ведь хорошо... Вот, на праздник едем...»

Женька предостерегающе подключилась сзади: «Мама, прекрати немедленно, у тебя сейчас глаза потекут».

Катя вдруг как-то беспомощно всхлипнула: «Я боюсь... Я так боюсь, что с нами что-нибудь случится... Все эти взрывы и выстрелы, и все это каждый день, каждый божий день...»

«Ну вот, – нравоучительно отметила Женька. – Потекли. Я же предупреждала...»

Они проехали Глилот и свернули на Приморское шоссе. Дождь продолжал идти, размеренно и мощно, как чемпион по спортивной ходьбе. «Ладно, хватит о грустном, – решительно объявил Шломо. – Давайте лучше о чем-нибудь другом. К примеру, что это за дом, куда мы едем?»

Катя поперхнулась, перестала хлюпать носом и, наконец, улыбнулась мужу самой очаровательной из своих улыбок.

«Славик, ты только не сердись, – сказала она преувеличенно бодро. – Я все хотела тебе сказать, да как-то к слову не приходилось. Это вовсе не дом. Мы едем в ресторан. Рафи заказал там места на всю нашу контору...»

«Ну, знаешь, – возмутился Шломо. – Это просто... это просто...» Он не находил слов.

«Но почему? Какая тебе разница, где сидеть – в чьем-то доме или в ресторане?»

«Да при чем тут это? Знай я, что речь идет о ресторане, где, кроме нас, будет еще пара сотен людей, я бы ни за что не пошел. Но ты ведь мне пела о смертельной обиде семейному седеру твоего босса! Знаешь, что это, дорогая моя? – Гнусный обман и больше ничего!»

«Славочка, во-первых, контора у нас маленькая, так что седер действительно как бы семейный. Во-вторых, я и впрямь немного схитрила, но ведь иначе тебя было не вытащить. Я вот тебе не говорю, а там чуть не каждую неделю то брит, то свадьба, то бармица, то похороны. Сил нету. И на все надо ходить. И все бабы с мужьями ходят, только я все время одна, как безмужняя. Неудобно. Тем более, у меня муж во-он какой хороший... Ведь хороший? Хороший?»

Шломо упрямо мотнул головой, уклоняясь от ее руки. Но улыбка уже дергалась в складке его губ. Он был органически неспособен сердиться на свою жену более нескольких минут.

«Правильно Женька говорит – фраер я ушастый, – сказал Шломо. – Вертишь ты мною, как хочешь. И всегда вертела...»

«Папа, а чего ты так переживаешь? – вмешалась Женька. – Тебе же лучше. В большой компании сачкануть легче. Скажешь пару раз «амен» и дело с концами».

Бельские въехали в Нетанию и теперь медленно продвигались по направлению к морю. Ресторан, по словам Кати, был расположен возле самой площади Независимости. Этот район

города кишел гостиницами, ресторанами и кафе; каждое заведение предлагало свои услуги по празднованию Песаха, и поэтому все прилегающие к площади улицы представляли собой одну сплошную автомобильную пробку. Надо было подумать и о стоянке. Катя и Женя с негодованием отвергли шломину идею поставить машину где-нибудь в отдалении и пройти пешком. И в самом деле, дождь угрожал свести на нет все их труды по наведению марафета. Веря в свою шоферскую звезду, Катя искусно лавировала между машинами, гудками и веселыми водительскими перебранками, метр за метром продвигаясь к цели. Наконец, они достигли площади.

«Забудь слово «стоянка» всяк сюда въезжающий... – мрачно сказал Шломо. – Говорил я вам...»

«Слава, перестань нудеть под руку, – жестко оборвала его Катя, огибая кафе «Йотвата» и зорким взглядом обзоревая окрестности. – Вот! Вот! Что я вам говорила!» И она коршуном рванулась на свободное место справа от дороги.

«Катя, – простонал Шломо. – Но это же въезд во двор. Мы не можем тут парковаться...»

«Еще как можем, – уверенно ответила Катя. – Все уже сидят по домам, так что мы тут никого не блокируем. Максимум – оставим им записку с телефоном под ветровым стеклом. Позвонят – выйдешь и дашь проехать. Вон наша дверь – почти напротив...» Она указала на ярко освещенный вход под длинным, далеко выдающимся на улицу козырьком.

«Как же они позвонят, когда праздник? – Это был последний, но сильный аргумент. – Религиозные по праздникам не звонят».

«Ха! – с легкостью парировала Катя. – Религиозные по праздникам и не ездят!»

Шломо понял, что карта его бита. Угроза полицейского рапорта легко отметалась очевидным «кто же пишет рапорты по праздникам?» Он вздохнул и покорился неизбежному.

* * *

Странно, но в итоге они почти не опоздали. Ресторан был при небольшой гостинице; маленькое уютное лобби с синими мягкими креслами, стойка справа, неназойливый охранник при входе, улыбочивый метрдотель... Зал, человек на двести, был почти полон к их приходу. Катя махнула кому-то рукой, в ответ из-за стола в самой середине зала выскочил шустрый человек в кипе и тараканьими глазами навывате. «Катя, – закричал он, распахивая объятия. – Как я рад! Ты просто не представляешь... Наконец-то... Шломо, я безумно счастлив с тобой познакомиться; я – Рафи... так много слышан... мы еще поговорим... О! А это – молодая леди? Прямо из джунглей Амазонии? Где же твой попугай?..»

При всей очевидной преувеличенности его реакции, она не выглядела фальшивой; возможно, оттого, что преувеличенность эта была бескорыстной, простой данью торжественности празд-

ника, искренним желанием сказать гостям что-то доброе, красивое, приличествующее масштабу грандиозного события, именуемого «Песах». Помимо всего прочего, это были его, рафины, персональные гости; это он, заплатив немалые деньги, пригласил их сюда, за эти пять столов в роскошном пятизвездочном отеле; это был его, крохотный, но личный вклад в звенящую святость столь значимого для него события. И теперь он просто хотел, чтобы всем было хорошо, чтобы все радовались, потому что эта радость свидетельствовала в пользу того, что его личный вклад был не напрасен, что его малая жертва была милостиво принята тем большим и страшным Хозяином, что праздновал сегодня один из главных Своих праздников.

Шломо кивал и улыбался ему в ответ, говорил ничего сами по себе не значащие ритуальные слова и думал про себя, какой славный, в конце концов, этот Рафи, при всей его прижимистости; как искренен и, видимо, угоден Богу его простой и безыскусный порыв, как это, в сущности, правильно и справедливо – радоваться всем вместе тому давнему символическому событию, нашему общему освобождению из рабства, именно сейчас, когда эти сволочи бомбят нас на каждом углу, безотносительно к тому, что бомбят, безотносительно к чему бы то ни было, радоваться, потому что в этом наша связь с нашим Богом, с нашими основами и с воздухом в наших легких. Ему даже стало стыдно за свою давешнюю капризность, и он извиняюще сжал катин локоть, и она ответила ему веселым и свободным, в такт Песаху, взглядом.

Не переставая говорить, Рафи усадил их за один из своих столов. Катя представила мужу соседей. Давид и Анат, бывшие кибуцники, застигнутые в середине земного пути таинственным звоном дальнего колокольчика и теперь живущие в поселении Нахлиэль к северу от Рамаллы, он – с кипой на голове, она – в платке и с длинной юбкой. Меир – бывший марокканец, житель Тель-Авива, маленький, шебутной, круглоглазый, с такой же шустрой, как и он, крашеной в блондинку женой. Арик, бывший мошавник, высокий усатый вдовец лет шестидесяти из Хадеры. Собрание бывших... В этом смысле семья Бельских дополняла картину с пугающим совершенством.

«Конечно, – сказал Меир, продолжая разговор после того, как все отвесили друг другу положенное количество кивков, улыбок и реверансов. – Конечно. Всех их, сук, выбросить отсюда, раз и навсегда. Ты, Арик, не знаешь, что такое араб. Я – знаю. И Малка вот знает, ...правда, Малуш? – жена его кивнула крашеной головой. – Араб, он, падла, врун. Он врет как дышит. Ты его можешь тридцать лет с руки кормить, и каждый день все эти тридцать лет он на тебя молиться будет, вслух и при свидетелях... а на первый день тридцать первого года всадит в тебя нож и еще попрыгает, радостный, на теле твоём фраерном. Мол, опаньки, смотрите, как перехитрил я глупого еврея... Я-то знаю, я с ними, с этими Фатьмами и Ахмадами, все детство мячик во дворе гонял. У них это называется «военная хитрость», за доблесть почитается...»

«Ты, Меир, расист, – отвечал ему Арик. – И насчет того, кто такие арабы, ты меня не учи. Моя семья тут испокон веков живет, бок о бок с этими самыми арабами, мы в местных турецких книгах с шестнадцатого века записаны. Я, можно сказать, палестинец в двадцать третьем поколении, а может и больше. И вот что я тебе скажу. Они тоже люди, и жить с ними можно. С некоторыми мерами предосторожности, но можно. И жить, и дела делать. Лишь бы мир был...»

«Как же, – сказала Малка. – Мир... В жопу они тебе вставят мир твой... Астронавт ты хренов...»

«Малуш... – примирительно шепнул Меир. – Зря ты так... Дети...» Он указал глазами на Женьку.

«Ага, – стояла на своем Малка. – Именно дети. Мы-то ладно, мы-то пожили... А вот детей – жалко».

На поясе у Шломо завибрировал сотовый телефон. Шломо нажал на кнопку и сказал «алло».

«Наглец! – ответила трубка женским голосом. – Я сейчас вызову полицию! Совсем обалдели! Закрыть въезд во двор!»

«Я уже выхожу, – сказал Шломо. – Извините».

Он улыбнулся Кате, упорно глядящей в другую сторону, подмигнул Женьке и пошел к выходу.

«Не задерживайся, Шломо, – сказал ему вслед Давид. – Седер вот-вот начнется». Шломо кивнул.

В лобби он почти столкнулся с длинноволосым смуглым парнем в длинном черном плаще и затененных очках в золотой оправе. Парень слепо ткнулся в его плечо, отпрянул и прижался к стене, пропуская Шломо к закрытой из-за дождя входной двери. На мгновение Шломо увидел дикое, странное выражение его остановившихся, невидящих глаз. «Надо же, как обкурился, бедняга», – подумал он и вышел на улицу, под навес. Шломо успел сделать всего один шаг под дождь, в направлении белого задка их маленького «уно», столь ясно видимого слева, как кто-то грубо и сильно толкнул его в спину.

* * *

Толчок был настолько сильным, что он упал ничком, едва успев подставить руки, чтобы не разбить лицо об асфальт мостовой. Уже лежа на земле, Шломо вдруг понял, что слышал страшной силы хлопок, не хлопок даже, а взрыв... конечно, это был взрыв... что же до толчка, то... И связав наконец два этих события упорно отказывающимся связывать их мозгом, он осознал, что произошло нечто ужасное, ужасное настолько, что, может быть, даже не следует вставать с этого мокрого асфальта и уж во всяком случае не следует оборачиваться назад, смотреть туда, откуда он только что вышел, оставив там самое дорогое, что у него было, есть и когда-либо будет. Он встал, обернулся и посмотрел.

Там, где еще минуту тому назад сверкал огнями и хрусталем роскошный праздничный зал, теперь зияла безобразная черная

дыра, чреватая страшно шевелящейся, ворочающейся, стонущей темнотой. Шломо сделал шаг, другой и затем побежал внутрь, скрежеща подошвами туфель по битому стеклу. Он бежал поразительно долго, как во сне, мучительно преодолевая эти кажущиеся бесконечными пятнадцать метров. Навстречу ему из темноты начали выходить, выпадать люди.

В темноте Шломо пробирался к середине зала, где когда-то стоял их столик. Он шел большими шагами, высоко поднимая ноги, чтобы не наступать на тела. Его хватали снизу, умоляя о помощи, но он высвобождался – ему нужно было туда, к Женьке и Кате. Все вокруг было залито водой, вода лилась и сверху – очевидно, где-то прорвало трубу.

«Вот теперь точно потечет их косметика», – подумал Шломо автоматически. Он уже дошел до места, но не видел ничего из-за темноты. «Катя! – крикнул он. – Женя!» Крик его утонул в сотнях таких же, в шуме льющейся воды, в скрежете стекла под ногами, в завывании сирен подъехавших машин. Шломо нагнулся и начал ощупывать место вслепую, в кровь режа руки острыми стеклянными осколками.

Снаружи включили прожектора; в зал вносили лампы на треногах; стало видно. Зал был разрушен полностью. Обшивочные плиты с потолка рухнули вниз, обнажив электропроводку, трубы и жестяные рукава воздуховодов. Всюду валялись обломки гипсовых панелей, вперемежку с ошметками человеческих тел, битым стеклом и разбросанной взрывом мебелью. Белыми пятнистыми комями топорщились накрахмаленные скатерти. На полу стояли лужи чудовищного коктейля из красного пасхального вина, крови и воды. И под всем этим, вместе со всем этим шевелилась стонущая человеческая масса, живые с мертвыми пополам.

Руку с браслетом он увидел сразу же, как дали свет. Руку его девочки, с тем самым браслетом, над которым он сопел еще сегодня вечером. Шломо отбросил в сторону стул... панель обшивки... Она была там, внизу, зажата между мертвым телом Меира и колонной, живая, с ослепшим, изуродованным до неузнаваемости лицом. Живая...

«Женечка, – простонал Шломо, беря ее за плечи. – Женечка...»

«Папа... – пробормотала она. – Папа... Я ничего не вижу... Папа...»

Она вцепилась в него обеими руками, как в детстве, твердо зная, что теперь-то все будет хорошо, теперь-то ее не дадут в обиду этой требовательной, мягкой, но страшной темноте, неотвратимо затягивающей ее в свою дальнюю безвозвратную берлогу.

Шломо попытался взять ее на руки – бесполезно; она крепко-накрепко держала его, как будто знала, что это – ее единственная связь с жизнью, единственная защита от темного ласкового существа, медленно протягивающего свои щупальца вверх по плечам, по запястьям, к пальцам, крепко вцепившимся в отцовские руки, к слабеющим, слабеющим пальцам. И уже поняв, что

удержаться не получится, просто не выйдет, она подумала об отце, о том, как он будет переживать, что вот – не удержал, и она улыбнулась ему улыбкой, которую он не увидел, и сказала слова утешения, которых он не услышал. А потом она просто разжала пальцы и соскользнула в смерть.

«Сюда! – закричал Шломо. – Эй! Сюда! Помогите!» Воспользовавшись тем, что Женька отпустила его, он попробовал взять ее на руки. Кто-то схватил его сзади за плечи:

«Что ты делаешь?! Так нельзя – только на носилках». Подбежали двое с импровизированными носилками, наспех сооруженными из столешниц.

«Давай, осторожно». Они положили Женьку на носилки и понесли к выходу. Шломо шел рядом, держа свою девочку за руку. В лобби остановились. «Почему встали? – не понял Шломо. – Скорее, в амбуланс!»

«Подожди, парень, – сказал один из людей. – Сначала парамедик. Первая помощь».

Подошел парамедик, в желтом светящемся жилете с магентавидом. Посмотрел. «Вы ей кто?» – «Отец».

«Имя?.. Ее имя... Возраст?» Записал.

Потом сказал, обращаясь к носильщикам: «На газон».

Они понесли. Шломо шел за носилками, не выпуская Женькину руку. Вышли под дождь и свернули направо. Там, на травяном газоне, под выбитыми окнами раскуроченного зала, были уложены в ряд несколько тел в белых, наглухо застегнутых пластиковых мешках. Носильщики остановились рядом с крайним мешком. «Опускай».

Только тут Шломо понял. «Вы что, сдурели? – закричал он. – Она ж живая! Я с ней минуту назад разговаривал! Несите ее в амбуланс, немедленно. Где врач?!»

Кто-то взял его сзади за плечи, развернул, потряс, прижал к мокрому пластиковому жилету. «Все, человек. Перестань. Она мертва, слышишь? Мертва. Все кончено».

«Все кончено, – повторил Шломо. – Все кончено...» И потерял сознание.

А дождь все шел, так же размеренно и мощно, как и час тому назад, когда еще ничего этого не было, или было, но не здесь, не с этими конкретными людьми, а где-то там, в телевизионном абстрактном далеке, где есть лишь цифры, имена и многоязыкая репортерская скороговорка.

Репортеры, впрочем, были уже на месте, расставляли свет, тянули кабели телекамер, заботливо оборачивали полиэтиленом аппаратуру, скандалили с выставленным полицией оцеплением, совали микрофоны в лицо потрясенным, оглушенным людям. Здесь выпекался сейчас горячий хлеб новостей, замешанный на крови и слезах, и каждая телесеть жаждала отхватить для себя краюху побольше. И это было частью процедуры, стандартного исполнительского процесса, заранее утвержденного соответствующей комиссией, расписанного по пунктам, по

должностям, с указанием ответственных и заместителей. И в этом не было ничего плохого; скорее, именно наличие этой абстрактной безличной процедуры позволяло людям отодвинуть, вытеснить из сознания невыносимую, нестерпимейшую реальность, переселить себя в разграфленный мир протокола и просто делать. Делать необходимую работу.

Первоначальная неразбериха уступила место деловитой, целенаправленной, рабочей суете. Подъезжали и отваливали амбулансы, увозя раненых в соответствующие больницы – сообразно виду и тяжести ранения. Специалисты по тыловой защите брали всевозможные пробы – от воинов джихада всегда можно ожидать самого худшего, в том числе и применения биологического оружия. Саперы обшаривали окрестности в поисках дополнительных «подарков» -- заминированного автомобиля, бомбы в мусорном ящике, «забытой» на автобусной остановке сумки, начиненной взрывчаткой с гвоздями... Бригада людей в черных кипах начала свою печальную работу по сбору фрагментов человеческих тел с полу, со стен, с окрестных деревьев – ибо все должно быть предано земле из уважения к Тому, по чьему подобию сотворен человек...

Прямо на мостовой, недалеко от входа в «Парк», стояла детская коляска, их тех, что делаются специально на близнецов. Они и сидели в коляске, эти близнецы, мальчик и девочка, не более года, в праздничной кружевной одежде, одни – среди занятых своим жутким делом взрослых. Видимо, их вынесли из зала в самом начале, да так и забыли здесь, под дождем. Бог весть, что случилось с родителями – факт, что малышей никто не искал.

Они сидели молча, и это было страшнее всего. Маленькие дети – одни, без мамы, под дождем, холодно – должны бы плакать... Эти же были тихи и неподвижны, как две куклы. Вокруг крутились синие и красные мигалки; с воем подъезжали и отъезжали амбулансы, несли раненых; плакали и кричали люди, ища и оплакивая своих. А эти сидели себе, в своих мокрых кружевах, среди всего этого воющего, рыдающего, кричащего балагана – молча, отдельные в своей нездешней, какой-то даже безмятежной отрешенности. Пока наконец кто-то, оттолкнув нацелившегося в них камерой оператора, не увез коляску в гостиницу «Максим» напротив, где разместился импровизированный полицейский штаб.

В гостинице «Максим» составляли списки пострадавших, собирали свидетельские показания, пытались опознать безымянных. Трудно было ожидать, что у людей, севших за стол пасхального седера в нетанийской гостинице, будут документы в карманах. У большинства их и не было. Поэтому погибшие оставались неопознанными дольше обычного.

Шломо пришел в себя, когда его, лежащего на насилках, загружали в амбуланс, где уже сидели двое пострадавших от контузии стариков. Секунду-другую он фокусировал сознание и вдруг разом все вспомнил.

Надо найти Катю. Надо найти Катю... Он вырвался от удерживавших его санитаров, выскочил из машины и огляделся. Вокруг повсюду, под непрекращающимся дождем, вели и несли на носилках раненых. Поперек входа в «Парк» была натянута желтая пластиковая лента. Шломо подошел к полицейскому у дверей.

«Мне нужно туда, – сказал он, указывая внутрь. – У меня там жена». Полицейский осторожно протянул руку и взял его за плечо. «Тебе туда не нужно, брат, – сказал он сочувственно. – Там пусто. Одни саперы. Всех уже вынесли».

«Где же моя жена? – спросил Шломо беспомощно. – Я обязан ее найти...»

«Поищи там, – полицейский указал на гостиницу «Максим». – Там наверняка знают. И... знаешь что, брат?... Возьми себя в руки. Все будет в порядке, вот увидишь...» Шломо кивнул, повернулся и шаткой походкой направился к «Максиму». Полицейский смотрел ему вслед, качая головой.

«Фамилия, имя? – человек за столом проверил списки. Дойдя до конца, он проверил еще раз с самого начала и отрицательно покачал головой. – Нет, среди эвакуированных в больницы она не значится... Подождите секунду... Давид!»

Подошел бородатый парень в дубоне.

«Давид, возьми его к вещам. Авось там что прояснится...»

Прошли «к вещам» – маленькой кучке дамских сумочек, бумажников и кошельков, сваленных на соседнем столе.

«Вот она, – сказал Шломо, указывая на катину сумочку и не зная, радоваться этому или наоборот. – Это сумочка моей жены. Что это значит?»

«Вы можете взять ее, – остановил его бородач. – И, пожалуйста, идите за мной».

Они снова вышли под дождь, направляясь через дорогу к газону слева от гостиницы «Парк», туда, где Шломо незадолго до этого оставил Женьку. Где незадолго до этого Женька оставила Шломо. Теперь там был длинный ряд белых пластиковых мешков. На газон выходила боковая часть зала, бывшая когда-то сплошной стеклянной стеной. Взрыв вдребезги разнес стекла, искорежил рамы переплетов, выдавил наружу декоративные карнизы, и белые полотнища занавесей, уцелевшие по причине своей легкости, колыхались теперь над газоном, над страшными пластиковыми мешками, над Женькой в одном из этих мешков – как ресницы на ее ослепшем лице, как крылья огромных птиц, как прощальные взмахи платков вослед навсегда ушедшим.

Бородач остановился напротив одного из мешков.

«Как вас зовут? – спросил он. – Шломо Бельский... Послушайте, господин Бельский. Скорее всего, у меня нет для вас хороших новостей. Я прошу вас приготовиться к самому худшему. По нашим данным, ваша жена погибла, и я прошу вас опознать ее тело».

Он наклонился и расстегнул мешок. Шломо увидел слипшиеся от крови волосы, катино платье, знакомое тонкое запястье, памятное только им двоим серебряное колечко грузинской чеканки... Он закрыл глаза. Бородач спросил жестко: «Она?» «Она... – ответил Шломо, не открывая глаз. – Закройте... дождь все-таки...»

* * *

Он шел, не разбирая дороги, сопровождаемый равнодушным, равномерным, как маятник, дождем. На площади ветер с моря ударил его по щеке, грубо толкнул в плечо и уже больше не отставал, приплясывая вокруг, воя и задираясь. И это было хорошо, потому что хоть чуть-чуть отвлекало от дикого визга циркульной пилы, перемалывающей его мозг, царапающей изнутри воспаленную подкорку. Если бы это было возможно, он снял бы голову с плеч и нес бы ее в руках, лишь бы отделить от себя этот пульсирующий, визжащий сгусток боли. Он давно уже вымок до нитки, но не чувствовал этого. Он видел перед собой только чередующиеся плиты набережной, равномерные, как дождь, как боль, как обороты пилы.

Набережная вела его на юг, уводя прочь от страшного места, где одним махом разбилась вся его жизнь, лопнули основы его бытия, распались скрепы смысла его существования, разогнулись скобы его души. Кусты шушукались ему вслед; деревья отшатывались от аллеи при его приближении; стойки забора над обрывом судорожно вцеплялись в железные перекладины. Набережная была безлюдна в это время и в эту погоду; один во всем мире, он шел, переступая от плиты к плите, и фонари, истекающие дождем, провожали его рассеянным светом.

Аллея уперлась в забор, он повернул налево, затем снова направо, бессознательно следуя древнему правилу ищущих выход из лабиринта. Пила в голове продолжала визжать, и он сжал виски руками, стараясь уменьшить мучительную вибрацию. Дорога тем временем пошла вниз, поворачивая на север, спускаясь к берегу моря, к песчаным пляжам Нетании. Не видя всего этого, он просто шел, обходя препятствие справа, и если прежде этим препятствием было ограждение над обрывом, затем забор и дома, то теперь – высокая песчаная стена или каменная круча, а море шумно дышало слева... теперь-то он заметил... да, вот оно, море, слева.

Длинный пологий спуск вывел его к нелепому бетонному замку на песке – беспорядочное нагромождение ни с чем не связанных стенок, странных, замкнутых на себя лестниц, разомкнутых арок, ворот, распахнутых в никуда. Внутри этого бедлама гнездились несколько кафе, душевые, раздевалки, офисы береговых властей. Сейчас все это было пусто, закрыто; он был один на огромном пляже, не считая дождя и ветра, один на один с темной машиной моря, встающей перед ним во весь свой гигантский рост.

Он увидел море и пошел к нему, интуитивно зная, что наконец-то нашел что-то соразмерное его боли, похожее на нее по размаху и силе, а потому – способное победить ее, эту боль, или хотя бы немного уменьшить. Море ворочалось перед ним, старое, ворчливое море, много повидавшее на своем долгом веку. Оно смотрело на вошедшего в него человека, поворачивая его так и эдак, как будто прикидывая, что же с ним делать. Оно умело забирать людей, это море, выхватывать у них дно из-под ног, закручивать их до беспамьтства водоворотами в десяти метрах от берега, втягивать их в себя мощной струей, швырять с размаху на камни волнорезов... И теперь оно лениво качало этого человека на ладони, взвешивая, как с ним поступить – взять себе или выбросить вон, на мокрый береговой песок.

А он просто лежал на этой ладони, лежал и смотрел вверх, на равномерно падающий дождь, на беспроглядную вечную темноту, чувствуя, как стихает, смолкает, гаснет пылающая в голове боль, радуясь этому, готовый ко всему, кроме возврата на землю, забравшую у него двух его девочек.

11

«Я тебе что скажу, Шломо. В любой армии самое главное – справедливость, – назидательно говорит Яшка. – Это я тебе свидетельствую, как человек, служивший и тут и там. Давай, закурим, что ли...»

Они закуривают шломиного «Марлборо». Майское солнце припекает, и хотя здесь, в тени от заброшенного каравана на самом краю обрыва, относительно прохладно, двигаться категорически не хочется. «*Катягорически*»... Шломо, не глядя, нащупывает камешек справа от себя и запускает его в безупречно голубое небо между ними и Рамаллой. Камень неохотно взмывает вверх и тут же торопливо ныряет назад, в свою привычную пыльную жизнь в кустарнике на склоне вади.

«Закон есть закон, – продолжает Яшка. – Но и борзеть тоже не надо. Ты ведь меня понимаешь?» Кивать лень, поэтому Шломо просто мигает ближним к Яшке глазом.

«Нас – пятеро, вас – трое, так? – говорит Яшка, загибая пальцы. – Получается восемь, так?» На это Шломо не реагирует по причине очевидности.

«Делить на два – это четыре смены, так? – Яшка сжимает пальцы в кулаки. – Какого же беса твой Менахем требует с нас пять? Это ли не борзость? Нет, ну ты скажи, скажи...»

Шломо пожимает плечами. «Да мне-то – пофиг дым, Яша, – говорит он врасстяжку. – Чихать я хотел на все эти несуразности. У меня с математикой никогда не ладилось. И потом – вы тут милуимники, а я – за бабки... так чего же ты от меня хочешь, мил человек?..»

Яшка кивает понимающе – мол, ясное дело, что с тебя взять... и затягивается, шурясь на нестерпимое самарийское лето.

«Так-то оно так, – отвечает он, снимая свою армейскую панаму и вытирая ею пот с лица и шеи. – Так-то оно так, только борзеть-то тоже не надо».

«Это верно, – соглашается Шломо. – Борзеть не надо...»

Они охраняют маленькое поселение к северу от Рамаллы – пятеро пожилых резервистов, призванных приказом Генштаба ввиду особой ситуации. Пятерых мало, но больше армия не дает. Поэтому сами поселенцы вынуждены дежурить в очередь, закрывая три дополнительных «человеко-ружья». Кто и впрямь дежурит собственной персоной, а кто и покупает услуги «платных сторожей», таких, как Шломо. Второй вариант встречается чаще, ибо всех устраивает самым замечательным образом. Для работающего поселенца отгул на работе стоит, как ни крути, дороже тех двухсот шекелей, что приходится платить «наемнику». Для самого Шломо, хотя деньги и невеликие, но на хлеб-водку хватает; харчи, опять же, наполовину казенные, армейские, да и жилье, считай, бесплатное – чего еще одинокому человеку надо?

Да и для равшаца Менахема, каждый день заново ломающего голову – как прикрыть ветхой заплаткой из пяти изношенных солдатиков и троих разношерстных оголценцев круглосуточную оборону драного во многих местах забора, отгораживающего поселение от нависшей над ним Рамаллы, да от четырех враждебных деревень, да от заезжих воров-гастролеров... и для него, Менахема, постоянный «наемник» Шломо куда предпочтительней чем ни день меняющихся поселенцев. Тем более, что человек он, вроде, надежный, во всяком случае, пока не подводил...

* * *

«Шиву» Шломо отсидел нечувствительно. Он вообще мало что помнил из прошедшей пасхальной недели. К примеру, как оказался дома, в Мерказухе, на попечении у Сени с Сашкой. Правда же заключалась в том, что его, полубессознательного, вытащили из воды и сдали на руки полиции случайные люди, уверенные, что имеют дело с незадачливой самоубийцей. Да и можно ли было подумать иначе о человеке, настойчиво и слепо бредущем прямо в пасть бурлящему морю-людоеду? Тем более, что само море, по странной людоедской прихоти, отчего-то раз за разом отвергало идущую ему в руки добычу, упрямо выплевывая человека на берег, как пророка Иону много сотен лет назад.

Спасению Шломо не сопротивлялся, хотя на вопросы не отвечал и вообще в контакт не входил. В кармане вязаного жакета полиция обнаружила мокрые, но все еще читабельные документы, на поясе – ключи от машины и, проявив редкую сообразительность, связала явление «пророка Ионы» со взрывом в гостинице «Парк». Шломо перевезли в местную больницу и госпитализировали с диагнозом «тяжелая форма шока». К концу второго дня он начал разговаривать, односложно и безразлично. В связи

с этим лечение было признано успешно завершенным, и пациента отпустили домой. Забирали его Сашка с Сеней; они же протащили Шломо через необходимую процедуру опознания в Абу-Кабире. Ловкий в бюрократических делах Сеня выправил нужные бумаги. Сашка читал кадиш на похоронах. В течение всего этого времени Шломо вел себя спокойно и отрешенно, с готовностью марионетки исполняя требуемые от него несложные действия. Потом его, наконец, оставили в покое, в мерказушной квартирке, уложив в постель, где он и провел, почти не вставая, следующие трое суток, лежа попеременно то с закрытыми, то с открытыми, но равно невидящими глазами. Сашка не отходил от него, ночуя там же и время от времени пытаясь впихнуть в него еду, которую Шломо брал или отвергал одинаково безразлично.

Утром четвертого дня Сашка проснулся от звяканья тарелок на кухне. Шломо, гладко выбритый и одетый, мыл накопившуюся за неделю грязную посуду.

«Ну и слава Богу, – сказал Сашка. – Наконец-то встать соизволили. Ты уже завтракал?»

«Нет еще, – ответил Шломо, не оборачиваясь. Он поставил в сушилку последнюю тарелку и, вытирая руки кухонным полотенцем, подошел к сашкиному дивану. – Саша, ты меня извини, но я хочу тебя кое о чем попросить...»

«Конечно, конечно, – с готовностью откликнулся верный Сашка, спуская ноги на пол. – Какие извинения, Славик, ты что, с ума сошел?»

«Я очень ценю то, что вы с Сеней для меня сделали, – все так же спокойно продолжил Шломо. – Но ты не можешь тут больше оставаться. Возвращайся, пожалуйста, к Сене. Я теперь и один управлюсь. Большое тебе спасибо за все».

«Э-э... – озадаченно протянул Сашка. – Ты уверен? Если ты за меня беспокоишься, то – зря. У меня уйма времени, я на работе отпуск взял, неделю. Так что мы тут с тобой еще погудим. Как когда-то...» Он заговорщицки подмигнул.

Шломо на подмигивание не ответил. Напротив, его интонация стала еще более официальной. «Ты меня не понял, Саша, – сказал он. – Твой отгул тут совсем ни при чем. Просто Катя не хочет, чтобы ты у нас бывал. Уж извини. Придется нам видаться на нейтральной территории. Я зайду к Сене. Позднее. А пока что, будь добр...» Он сделал рукой движение в направлении двери.

Сашка ошалело смотрел на старого друга. Перед ним стоял какой-то новый Бельский, сухой, безразличный, даже неприязненный. «Хорошо, Славик, – сказал он вслух преувеличенно бодро. – Как скажешь. Но хотя бы в сортир сбегать ты мне разрешишь, на прощанье?»

«Конечно, – без улыбки ответил Шломо. – Только постарайся не задерживаться». Он вернулся к раковине – domыывать вилки.

С тех пор они особо не разговаривали. Иногда Шломо заходил к Сене, но общался при этом только с ним, практически игнорируя Сашку.

«Что ты на это скажешь? – жаловался Сене Сашка. – Я все понимаю, трагедия и все такое прочее... но я-то тут при чем? Как будто я виноват в том, что произошло...»

«Не хочется тебя расстраивать, Сашуня, – отвечал ему Сеня, стряхивая пепел с сигареты. – Но, скорее всего, именно тебя он и винит – не прямо, так косвенно».

Сашка пожимал плечами. «Что я тут делаю, в этом гадюшной Мерказухе? – спрашивал он сам себя, бегая по комнате под насмешливым сениным взглядом. – Давно пора переселяться в Тель-Авив. И к работе ближе...»

Сашкина политическая деятельность к тому времени вступила в упорядоченную фазу. К чтению лекций в Институте Плюрализма прибавилась должность пресс-секретаря. Теперь он был на зарплате; организовывал митинги против оккупации арабских земель; пел на площадях песни мира вместе с тысячами кибуцников; участвовал в шествиях в защиту прав сексуальных меньшинств... Короче, завелись деньги у Саши Либермана, впервые в жизни, можно сказать, завелись. Разъезжал он теперь на казенной «мазде» и как-то естественно перешел с «голда» на «абсолют». Сеня, впервые увидев «мазду», насмешливо прищурился: «Смотри, Сашок, какая интересная закономерность. Пока ты был поганым националистом, то чуть не с голоду помирал. А как гуманистом-плюралистом заделался, так прямо как сыр в масле катаешься. О чем это говорит? – О том, что база у тебя теперь – все прогрессивное человечество, а не мелкая горстка еврейских скупердяев. А ведь давно замечено: чем база ширше, тем морда толще... Так что – правильной дорогой идете, товарищи!»

Насмешки насмешками, но от «абсолюта» Сеня не отказывался. Хотя и сашкины попытки обратить его в новую веру отвергал – мол, стар я, Сашуня, для этой суеты... разве что в лесбияны гожусь – по причине необъяснимой тяги к женскому полу... да и это, честно говоря, уже в прошлом. И все же Сашку не покидало ощущение, что сенино отношение к нему изменилось... какой-то оттенок странный появился... презрительный, что ли? Да нет, навряд ли; откуда?.. почему?.. быть такого не может, чтобы на аполитичного пофигиста Сеню как-то влияли его, сашкины, идейные метания. Уж кому-кому, а Сене все эти дела всегда были до самой далекой лампочки. И тем не менее, какая-то едва различимая брезгливость мерещилась Сашке в насмешливом сенином взгляде за качающейся стружкой сигаретного дыма. В общем, надо переезжать. И побыстрее.

* * *

Шломо же тем временем пытался собрать воедино разлетевшиеся обломки собственного бытия. Прежняя, реальная и надежная картина жизни вдруг распалась, как разом обветшавшая панорама; казавшийся таким глубоким и многозначительно туманным рисунок заднего плана прорвался, обнаружив грубую

искусственность грунтованного холста и неструганные доски каркаса; ближние фигуры выглядели топорно сработанными, неумело раскрашенными муляжами, и тусклое ничто сквозило сквозь дыры в размалеванных небесах. Он чувствовал себя единственным живым существом на смотровой площадке этого кишящего манекенами полуразвалившегося балагана. Его знобило от сквозняков, мучило от чужих запахов, и он тщетно искал выход, не видя и боясь обнаружить его.

На работу в редакции «Вестника» Шломо так и не вернулся; в то же время и дома он оставаться не мог. Незримое, но почти физически осязаемое присутствие Кати и Женьки не давало ему дышать. Каждая вещь, каждая выбоина на полу, каждое пятно на стене глядели на него женькиными глазами, обращались к нему катиным голосом. Сначала это даже радовало его, хотя и сбивало с толку в исполнении повинности повседневного существования. Потом — стало мешать; он понял, что еще немного и — рехнется окончательно, что так нельзя, что, если уж черт знает по чьей воле он остался жив, если уж был он выплюнут на берег по странной прихоти людоеда, то надо как-то соответствовать... хотя, собственно говоря, почему?... — да потому что иначе лишалось смысла все, включая и гибель его девочек. А так... авось и выпадет ему понять, откуда ноги растут, в чем он, дальний этот смысл; ведь зачем-то же он тут оставлен?

Он стал уходить из дому, изнуряя себя дальними прогулками, спускаясь с гиловской горы к Пату и следуя дальше, в направлении тихой Рехавии и городского центра. Он шел, захватив бутылку воды и пару ломтей хлеба, равно безразличный к огнедышащему зною первых весенних хамсинов и к пронизывающей свежести последних весенних ночей.

Он шел, чуть подавшись вперед, глядя в землю, в асфальт, в мощеный тротуар, просто переходя от плитки к плитке, от трещины к трещине, от ямки к ямке, напряженно ища в этой монотонно меняющейся неизменности столь необходимую ему сейчас подсказку, знак, указатель. И Город с беспомощной жалостью смотрел на ползущего по нему муравья, точно зная, что он, Город, не сможет ему помочь, не сможет дать ему ничего, кроме смерти или сумасшествия.

Иерусалим, Ерушалаим, Ир Шалем — особенный город. Нет в нем романтических набережных, да, собственно, и реки-то нету. А город без реки — это уже, почитай, рангом ниже, на первый сорт не потянет. Старая часть, обнесенная опереточной стеною, скучна и грязновата. Ветхие турецкие постройки, колониальные бараки времен британского мандата — воистину, жалкий, презренный сор. На всем, что создано здесь человеческими руками, лежит неистребимый отпечаток временности. В этом-то все и дело, во временности. Люди чувствуют себя здесь, как жильцы на съемной квартире. Кто же будет вкладывать собственные средства в застройку арендованного дома? Вот и кладется заплатка на заплату — тут башенка, там чердак, здесь занавеска... — а ну как за-

втра придет Хозяин и прикажет все немедленно снять и выметаться к чертовой матери?

Все это так, только временность жильцов к самому Городу не относится. Если и впрямь мы, люди, уберемся с этих холмов вместе с нашими стенами, крестами и полумесяцами, Иерусалим останется, не сгинет, как сгнули прочие вавилоны. Ибо он населен и без нас. Присутствие Хозяина в этом месте ощущается сильно и явственно. Невозможно спутать ни с чем другим происхождение необычного праздника, который рождается в сердце, когда, перевалив через Бет-Хоронский перевал и поднимаясь от Гивоны в сторону могилы пророка Самуила, вдруг замечаешь далеко внизу, с правой стороны шоссе, мелькающие между придорожными кустами белые кварталы Города, где Живет Бог.

Это Город неба, прозрачного настолько, что сквозь дрожащую голубизну его можно увидеть самые дальние смыслы и сути. Это Город земли, горькой на вкус и заскорузлой на ощупь, сухой и строгой, как вдова в черном платке. Он зовется Ир Шалем – Город Цельного, и из сотен имен, данных ему людьми, это – самое верное. Оттого нет лучше места на Земле для цельного сердца, для цельной души. Оттого нет страшнее, опаснее места для людей с расщепленной душой и смятенным сознанием. В мощное поле его тяготения нельзя попадать в разобранном виде...

* * *

В один из апрельских вечеров Шломо обнаружил себя на пешеходной улице Бен-Иегуда, в праздном, прогулочном сердце города. Был тот переходной, тревожащий душу час, когда ранние сумерки шелковыми складками спускаются с медленно чернеющего свода, и свет уличных фонарей выглядит особенно беспомощным и неуместным в странном колеблющемся полумраке. Но делать нечего – когда-то ведь надо их зажигать. Подождите еще с полчаса... и вот уже лживые сумерки уступают место честной уверенной ночи, и приунывшие было фонари обретают наконец то, чего им так не хватало – темноту.

Устав от дневных скитаний по городу, Шломо присел на каменную скамью и огляделся. Мерцающая мостовая из белорозового иерусалимского камня была уставлена столиками кафе; двери ярко освещенных лавок широко распахнуты, нарядная веселая толпа лениво слонялась взад-вперед, клубясь и завихряясь вокруг лотков, артистов и музыкантов. На свободном пятакке крутили сальто уличные акробаты; блестящие ромбики на их трико мелькали, как разноцветные стекляшки в детском калейдоскопе. Жонглеры перебрасывались пылающими булавами; мрачный шпагоглотатель сосредоточенно едвигал длинное сверкающее лезвие в страдальчески раззявленный рот; застывшие на импровизированных постаментах статуи оживали, склоняясь в галантном поклоне в ответ на серебряную монетку, брошенную к их мраморным туфлям. Отовсюду звучала музыка; квакающий свинг

приткнувшегося неподалеку саксофониста нервно напрыгивал на безразличную «умца-умцу» транс, тумкающую из жонглерских магнитофонов; даа-а-ро-гой длинную, да ночью лунною летел аккордеон толстого массовика-затейника на углу, а в десяти метрах от него тонко плакала скрипка, прижавшись к плечу очкастой девицы, плакала, умоляя купить, наконец, эту папиросу, вот уже век как безуспешно продаваемую на всех перекрестках мира...

Но похоже, что и здесь, в разноголосой праздничной суете, никому дела не было до залежалой папиросы... переходи на травку, скрипачка! А еще лучше – на жратву какую или питье; только глянь – вся толпа вокруг жует... или пьет... или курит. Как будто только попробовав на язык, откусив, проглотив, затянувшись, можно ощутить вкус этой странной, ускользающей, мимо бегущей жизни, захватить ее внутрь, сохранить, запастись впрок.

Солидняки ковыряли лобстеров в дорогих ресторанах; народ попроще жевал стейки, запивая их красненьким; за столиками уличных кафе дули пиво и уминали салаты; девушки сосредоточенно сгребали ложкой сливочную шапку с огромных, похожих на бригантины, капучинных вазонов; их суровые пятнадцатилетние капитаны многозначительно курили, посасывая горлышко «хей-никена» и глядя вдаль нахмуренным взором. Любители фалафеля нагружали килограммы съестного в разинутые зевы пит, чтобы затем вцепиться в это сочащееся всеми земными соками сооружение и насыщаться, урча и разбрызгивая вокруг себя струи соусов, стручки перца, огрызки соленых огурцов и ошметки красной капусты. Брезгливые интеллектуалы, отодвинувшись подальше от фалафельщиков, вели умную беседу за чашечкой «эспresso», зажав фарфоровыми зубами эбонитовые мундштуки своих вересковых трубок.

Даже армейские патрули, стоящие ближе к площади Сиона во всеоружии своих пыльных джипов, хрипящих переговорных устройств и готовых к немедленному бою автоматов, даже они, угрожающее прищуриваясь в окружающее гульбище, лузгали при этом семечки, мастерски сплевывая шелуху так, чтобы она ложилась ровным красивым слоем, без куч и проплешин. Даже карманники, шнырявшие тут и там и по роду работы обязанные держать руки свободными, даже карманники – и те перемалывали челюстями терпеливую жевательную резинку.

Кто же польстится на твою дряхлую папиросу в этом жующем и глотающем мире, дорогая скрипачка?

Шломо достал из сумки свой хлеб и присоединился к жующим. Он ел, поглядывая по сторонам, остро желая быть как все, жевать в такт – как маршировать – левой, левой, левой... Увы, старания были напрасны – кусок не лез в него, раскорячившись в сухом горле, как запикиваемый в «воронок» пьяница. Хуже того – он вдруг почувствовал, как мягкий душный комок отчаяния подкапывает с противоположной стороны, снизу, с юго-востока, откуда-то из подсердечной области. Стало трудно дышать, и он всхлипнул, хватая воздух ртом и руками. Парочка голопузых лолит, жу-

ющих на ходу чипсы из пакетика, со смехом шарахнулась в сторону. Шломо попробовал взять себя в руки... и не смог. Это Город наконец-таки принялся за него всерьез.

Город давно следил за ним, сначала с жалостью, затем со все возрастающим раздражением, а в последнее время так и просто с откровенной неприязнью. Как лес отвергает больное животное, как степь посылает волчью стаю по следу хромой лошади, отбившейся от табуна, так и Город пытался избавиться от бесцельно кружащего по нему муравья, нарушающего своим беспорядочным перемещением стройную осмысленность прочих движений. Тротуарные плиты топорщились под его спотыкающимися ногами; канавы преграждали ему путь; тяжелые двери подстерегали его, чтобы поразить неожиданным распахом; куски арматуры, выползая из стен, цепляли его своими ржавыми щупальцами; автобусы, хищно припадая на передние лапы, подкрадывались к нему на переходах. Но упрямец не понимал намеков. И вот теперь он забрался сюда, расселся в самом сердце светлого городского праздника, отравляя воздух зловонным дыханием своей беды, пугая веселую толпу гноем своих незаживающих ран. Это было уже чересчур. Город протянул руку к скорчившемуся на каменной скамье человеку, взял рукой его сердце и сдавил.

Шломо понял, что умирает. Он оглянулся, ища подмоги, продираясь сквозь давящую боль в груди и застилающие глаза слезы. Он не хотел умирать; это было бы неправильно, потому что тогда лишалось смысла все, включая и... Он поднял себя со скамьи и качнулся к телефонной стойке.

На счастье, Сеня сразу взял трубку. «Где ты? – спросил он, не дослушав шломиного полузадушенного хрипа. – Стой там, никуда не уходи, я сейчас приеду. Никуда не уходи!»

Он выскочил их дома в чем был, заклиная Бога и судьбу – как можно скорее послать ему редкое в этих местах такси. Машина стояла прямо у спуска из Мерказухи, как будто ожидая его. Они рванули в центр по необычно пустым улицам, и светофоры встречали их немигающими зелеными глазами на протяжении всего пути от Гило до Бен-Иегуды. Шофер без звука согласился ждать, пока Сеня найдет и приведет товарища.

На обратном пути Шломо молчал, обессиленно откинувшись на сиденье, вслушиваясь в уходящую, отпускающую его боль.

«Всегда бы так, – заметил таксист, сворачивая налево на Пате. – Ни одного красного светофора за всю поездку! Что они, все разом поломались, что ли?»

«Мне надо уехать, Сеня, – сказал Шломо, глядя на вырастающие перед ними отвесные стены Гило. – Хотя бы ненадолго. Недалеко и ненадолго. Иначе я совсем с катушек слечу».

Сеня хмыкнул, разминая сигарету и неодобрительно косясь на развешанные по салону запреты курить. «Не бойсь, Славочка. Сейчас чего-нибудь придумаем. Сегодня ты у меня ночуешь, хорошо? Мудачок-то наш съехал вчера – нашел себе квартиру в Тель-Авиве. А я уже привык, что у меня перед глазами кто-

нибудь маячит... скучно как-то одному. Ты уж уважь старика, хоть на одну ночь, идет?»

«Идет...» – Шломо улыбнулся: слишком многие сенины подружки пали жертвами коронной просьбы «уважить старика на одну ночь»... Улыбка была первой с той мартовской ночи в Нетании.

Дома Сеня открыл холодильник и достал початую бутылку «абсолюта». «Ну вот, – сказал он, разливая. – Кончаются богатые денечки. Придется возвращаться на «голдовку». Вот только добьем это порождение плюрализма...»

Затем он уселся, поджав ногу, на диван, закурил и придвинул к себе телефон.

«Кстати о нашем яром плюралисте – есть у меня одна идея. Авось поможет по старой дружбе...» Он набрал сашкин номер.

Сенина идея была проста и красива – пристроить Шломо на временное жительство в одно из поселений к северу от Рамаллы, в часе – полутора езды от Иерусалима. Обычно в таких местах всегда можно было снять пустующий караван – за ничтожные деньги, а то и совсем бесплатно. Кроме того, по нынешним временам, когда профессия сторожа снова стала супер-дефицитной, Шломо мог с легкостью добывать себе пропитание, наемничая на охране поселения. Это даже превращало его в желанного гостя с точки зрения «равшаца» – ответственного за безопасность. Для реализации плана требовалось задействовать старые сашкины связи доплюралистического периода. И снова все прошло на удивление гладко, как будто и тут действовало давешнее явление «зеленых светофоров». Назавтра, ближе к вечеру, Шломо уже въезжал на своем «фиате» в ворота поселения Тальмон, расположенного в древней еврейской области Беньямин, на территории, которую теперь Сашка именовал «оккупированной».

12

После ночных дежурств Шломо просыпается в полдень. В принципе, можно бы поспать и подольше, но к двенадцати асбестовый караван раскаляется до невозможности. Формально Шломо делит жилище с пятью милуимниками, но фактически они тут почти не бывают, предпочитая ночевать дома и наезжая в Тальмон только на время дежурств. Тем не менее, с точки зрения армии, все пятеро стоят на полном довольствии, так что голодать Шломо не приходится. Койка, матрац со спальником, кофе, чайник, да полный холодильник – что еще надо человеку?

Проснувшись, Шломо заваривает кофе и выходит наружу, в ярко-голубой простор самарийского полдня. Он садится на землю, привалившись спиной к стене, так, чтобы максимально захватить скупой клочок тени, ставит рядом с собой чашку, закуривает и погружается в покой и ясную целесообразность раскинувшегося перед ним мира. Плавные линии холмов, прихотливые извивы шоссе, заросшие курчавым кустарником вади, не-

прихотливые прямоугольники оливковых рощ и виноградников, красная черепица домов на соседней вершине... И над всем этим – сияющее полотнище неба, расшитое слепящими солнцами по бело-голубому полю.

Шломин караван на вершине Хореши – самой высокой горы Биньямина; на западе ясно видна прибрежная равнина, взлетно-посадочная полоса аэропорта Бен-Гурион, небоскребы Большого Тель-Авива, и далее, на север – кварталы Петах-Тиквы, пляжи Нетании, высокие трубы Хадерской электростанции. А с другой стороны, на юго-востоке – Рамалла, запертый в шакальем своем логове Арафат, враждебные пригороды и деревни – Эль-Бире, Бетуния, Мазра-эль-Кабаля, Эйн-Киния... Два мира. И Шломо – прямо между ними, со своим раскаленным караваном, чашкой остывшего кофе и третьей за это утро сигаретой. Прозрачный ветерок гуляет по Хореше, на небе ни облачка, и дивным светом залита наша благословенная Земля, с запада на восток, и с севера на юг, и так, и эдак, и с поворотом наискосок – как ни посмотри. И цепь наших поселений, от Долева до Халамиша, плывет в этом световом океане, на вершинах холмов, как на воздушных подушках, дразня ярко-красными крышами невыносимую синеву неба.

Тальмон стоит, как Рим, на семи холмах. Домов в нем, правда, поменьше, но ведь и Рим не сразу строился... Шломо смотрит на соседнюю гору. Где-то там ходит сейчас его новый приятель Вилли, топчет чахлый газончик вокруг детского сада. Днем детские сады – главная забота сторожей, лакомый кусочек для гиен из Хамаса, для шакалов из Фатха, для крыс из Исламского Джихада. Четыре часа Вилли уже отбомбил, осталось еще два, потом Шломо меняет его на боевом посту. Жарко. Вилли останавливается, пьет воду из фляжки, вытирает пот со лба и продолжает свое добросовестное кружение.

Другой бы сел себе в тенечек, вытянул ноги, отдохнул... другой, но только не Вилли. Потому что Вилли – немец. То есть натуральный немец, белобрысый и курносый. Его полное имя – Рейнхардт Мюллер, и происходит он из немецкой земли Северный Рейн–Вестфалия. Там он себе и жил, шнапс-пиво пил, белыми сосисками закусывал и знать не ведал о дальнем клочке земли, полыхающем хамсинами, зноем и ненавистью. И все было бы в его жизни хорошо, когда б не выпала невозможная комбинация у верховного тевтонского бога Вотана. Кости ли он бросал, пасьянс ли раскладывал или за рычаг «однорукого бандита» дергал... только познакомился юный Рейнхардт с курчавым существом женского пола в драных джинсах и мятой футболке. Познакомился и пропал.

Была она художницей, звали ее Рива, и приехала она в город Дюссельдорф по своим малярным делам – изучать немецкую живопись в собрании Вестфальского музея. Немцев Рива не любила априори, объясняя это исторической памятью, хотя какая, к черту, историческая память на немцев может быть у из-

раильтянки йеменского происхождения? В общем – чистый снобизм, типичная заносчивость молодых, сильных и красивых израильских сабр, свято уверенных, что весь мир именно им и принадлежит. Впрочем, Германия Риве нравилась, хотя и не так, как родная Рош-а-Айн. Один Рейн чего стоил... и тихие летние вечера над рекой, и виртуозные роллеры на набережной, и столики кафе со светлым «кельшем» в красивом бокале, и дивные кафедральные соборы Кельна и Аахена, и веселая космополитическая толпа на Маркетплац... погоди-ка... где-то я этого парня уже видела... А потом она вдруг поняла, что «этот парень» ходит за нею уже неделю, неотвязно, как голодный пес за хозяйкой.

Следуя проверенной армейской методике решать проблемы немедленно в момент их возникновения, Рива подозвала Рейнхардта к себе и спросила, какого, собственно, беса?.. Парень, запинаясь, но на вполне гладком английском объяснил ей, что он не может без нее жить, а потому просит выйти за него замуж. «Ага, прямо сейчас, – ответила ему Рива. – Вот прямо сейчас все брошу и выйду...» Парень просиял от счастья, и она поняла, что так просто этот фильм не закончится.

Рейнхардт осаждал ее с наследственным германским упорством, закаленным в горниле многих войн, включая Тридцатилетнюю. И хотя что-то подсказывало ему, что на этот раз тридцати лет не понадобится, морально он был готов и на большее. Медленный Рейн пел им свои песни, нежная Лорелея мыла длинные волосы в его ласковых водах, призрак великого Гейне обнимал за плечи влюбленные парочки на Кенигсаллее. Победительная любовь молодого Мюллера простерла соловьиные крылья над Дюссельдорфом... И Рива сдалась. Впрочем, вручая ключи от крепости счастливому победителю, она выговорила почетные условия капитуляции. Во-первых, о проживании в Германии не могло быть и речи. Закончив практику в музее, она возвращалась в Израиль. Точка. Если уж Рейнхардту так припичило, что он готов следовать за нею на край света, – пожалуйста. Пусть сворачивает тут свои дела и приезжает.

Во-вторых, Рейнхардт должен был стать своим в Стране. И кратчайший путь к этому лежал через Армию обороны Израиля. Проще говоря, от немецкого гражданина Рейнхардта Мюллера, не знавшего ни слова на иврите, требовалось пойти добровольцем в ЦАХАЛ... Излагая все это своему неистовому поклоннику, Рива рассчитывала привести его в понятное замешательство. Как бы не так!

Улыбка Рейнхардта стала только еще шире. Он много слышан о легендарной эффективности израильской армии и будет счастлив отдать ей какие-то жалкие несколько месяцев – в знак бесконечной благодарности стране, взрастившей такое неимоверное чудо, как Рива. Что же касается дел, то сворачивать ничего не придется – он готов уехать хоть завтра... Рива пожалала плечами, поняв, что, как ни бейся, а от судьбы не уйдешь.

Что может быть дальше от зеленых лугов, дубовых рощ и прохладных перелесков родной Германии, чем раскаленный плац в сердце пыльной пустыни Негев, в разгар августовского хамсина? А ведь именно там, на плацу, ровно через год новоиспеченный доброволец ЦАХАЛа рядовой Рейнхардт Мюллер ел глазами грозного старшину из породы садистов. Старшина сразу выделил его невинную физиономию в строю тертых калачей израильского производства, возвращавших старшине его грозный взор с привычной сабровской наглостью, хотя и несколько смягченной страхом потери субботнего отпуска. «Имя?» – спросил он, остановившись перед странным новичком. Рейнхардт сказал. «Как, как?» Рейнхардт повторил. «Знаешь что... как тебя там... – сказал старшина задумчиво. – Так не пойдет. Своим именем ты ставишь в тупик командира. А в тупике командиру находиться нельзя...»

«А если он зашел туда сделать пи-пи?» – спросил кто-то из дальнего конца третьего ряда. «Шараби, – сказал старшина, не оборачиваясь. – На эту субботу ты не выходишь... А тебе, солдат, придется придумать какую-нибудь кликуху полегче...» Лицо его исказилось непривычным выражением мыслительного усилия. Из строя посыпались подсказки и предложения: «Капут... Чайник... Гитлер... Ганс... Лось...»

Старшина вдруг просветлел. «Молчать!» – прикрикнул он на взвод. Все дружно заткнулись. Рейнхардт покорно ждал своей участи. «Вилли! – сказал старшина. – Ты будешь теперь Вилли». Все посмотрели на бывшего Рейнхардта и удивились – а ведь и впрямь – Вилли! Как это они раньше не распознали?.. Вот ведь старшина... вот ведь мастер...

Армейские клички прилипчивы. С тех пор Вилли слышал имя «Рейнхардт» только от собственной жены, да и то лишь в случае особо торжественных ссор. Недлинную свою трехмесячную службу он прошел с легкостью, хотя так и не смог до конца привыкнуть к царящим в ЦАХАЛе порядкам, не переставая поражаться той странной смеси бесшабашного бардака, чудовищной бюрократии и совершенно неожиданной, причудливой, уверенной инициативы, которую представляла собой израильская армия, да, собственно говоря, и вся израильская жизнь. Но деваться было некуда, и, покряхтев да поворочавшись, Вилли как-то приспособился.

Сначала он учительствовал, преподавая немецкий в средней школе, затем закончил курсы экскурсоводов и стал открывать своим бывшим соотечественникам красоты Земли Израиля. Это ему нравилось и приносило неплохой заработок; но вот началась война, и туристы кончились. Пришлось возвращаться в школу. Школу Вилли не любил, так что призыв в милуим воспринял с радостью и уже дважды добровольно продлевал свой срок. Шломо, выслушав виллину историю во время одного из длинных совместных ночных дежурств, сразу почувствовал в нем родственную душу. Они оба принадлежали к одному и тому же клубу потерявших свое прежнее имя.

* * *

Менахем подъехал к каравану без трех минут два. Шломо забрался в джип и пристроил между коленями длинную М-16 с магазином внутри. Армейские правила запрещают ходить по населенному, мирному месту со вставленным внутрь автомата магазином. Таким образом, магазин в положении «внутри» был как бы признанием военного, опасного статуса места. И это признание парадоксальным образом сочеталось со спокойным и приветливым бытием поселения, с хозяйками, развешивающими белье в ухоженных палисадниках, со стуком мяча на баскетбольной площадке, с двумя мамашами, сцепившими языки на углу Цветочной и Масличной улиц, автоматически катая при этом взад-вперед выдавшие виды коляски с дрыгающимися и агукающими малышами.

«Как жизнь, мужчина? – спросил Менахем и улыбнулся. – Еще не наскучило тебе у нас?»

«Да мне-то не наскучило, – в тон ему ответил Шломо. – Вопрос – не слишком ли я вам надоел...» Оба рассмеялись.

«Послушай, Шломо, приходи к нам в эту субботу. Ярдена обещала приготовить сногшибательную, неземную рыбу».

«Спасибо Менахем. Но я уже обещал Эльдаду – этот шабат я у него. И передай Ярдене, что хотя и любая рыба – неземная, ее – неземная в особенности».

Они подъехали к Вилли, угрюмо переминающемуся с ноги на ногу у входа в детский сад.

«Хей, мальчуган, – приветливо сказал Менахем, останавливая джип. – За что тебя выгнали из садика? Написал в штанишки? Ай-я-яй... Такой большой мальчик...»

Вилли виртуозно выругался, грамотно комбинируя арабский мат с ивритскими замечаниями относительно моральных качеств воображаемой хромой сестры обобщенной матери собеседников. «Вы опоздали на две с половиной минуты!»

«Брось, Вилли, – Шломо похлопал его по плечу. – У тебя часы спешат...»

«Ага... – мрачно заметил Вилли. – Они у меня уже четырнадцать лет спешат. С тех пор, как я в Израиле. А мне еще мясо замачивать...»

Он покрутил своей круглой головой и сменил, наконец, гнев на милость: «Ладно, я поехал. Шломо, только, ради Бога, не опаздывайте. Как закончите с Яковом – сразу ко мне. О'кей? Менахем, ты тоже присоединяйся...»

Художественное жарение мяса на мангале было одной из главных виллиных страстей. Он влюбился в это чисто израильское времяпрепровождение, как в Риву, – без остатка и с первого взгляда. Как и в случае с Ривой, загадочные истоки этой страсти терялись где-то в дебрях его германской души, подобно истокам лесного ручья, поблескивающего в буреломе шварцвальдской чащи. И подобно воде из этого ручья, чиста была виллина страсть. Сказать, что он был гурманом, так нет. По правде гово-

ря, ему всегда было решительно все равно, чем, как и где питаться. В мангальном деле его интересовал процесс, возведенный в ранг высокого мастерства. Это было искусство ради искусства, в чистейшем и бескорыстнейшем его варианте.

За углями Вилли ездил в дальнюю арабскую деревню Умм-Цафа, ибо, по его глубокому убеждению, хороший результат достигался исключительно на базе угля из местных древесных пород с труднопроизносимыми арабскими названиями. Породы эти произрастали, как уверял Вилли, только в старом лесу рядом с Умм-Цафой, так что, следуя этой логике, настоящий мангальный стейк или шашлык был принципиально невозможен где-либо за пределами Израиля, разве что жители деревни наладят экспорт своего уникального угля за границу, поняв, наконец, на каком сокровище они, дураки, сидят. Лес и в самом деле был стар, красив и, вероятно, помнил еще царя Давида. Одна беда — с началом войны ездить в Умм-Цафу стало небезопасно, даже учитывая то что персональный виллин араб-угольщик считался у Мюллеров чуть ли не другом семьи. Поэтому Рива взяла с Вилли слово, что поездки за углем прекратятся — до лучших времен. Слово-то Вилли дал, но ездить к угольщику продолжал, тайком, хотя и не так часто, как раньше. Конечно... не жарить же на магазинном... его и углем-то назвать язык не поворачивается... профанация какая-то... Нет, позволить себе такой мерзости Вилли не мог.

Виллин мангал представлял собою чудо мангального ремесла. В нем не было новомодных электронных наворотов с искусственными турбоподдувами и прочей дребеденью, о которой Вилли говорил с презрительной усмешкой старого гитарного мастера, глядящего на выставленный в витрине провинциального магазина грубый электрический ширпотреб. Линии мангала были просты и благородны, как скрипка Страдивари; тяга сильна и естественна, как дыхание атлета. Ни один, даже самый безответственный ветерок, не пролетал мимо виллиного мангала, не заскочив в него хотя бы на минутку. Излишне говорить, что мангал был сделан на заказ, по точным виллиным чертежам, плоду многомесячных библиотечных исследований; кованое железо деталей Вилли привез из глухой турецкой глубинки, из-под молота усатого деревенского кузнеца, так что получившийся продукт был не просто уникальным; это был продукт, сработанный на сто процентов вручную, ни в коей своей части не оскверненный прикосновением промышленных домен, прокатных станов, электрических резачков и прочих многотиражных производителей дешевки. Эта была сугубо штучная вещь, штучная, как любое высокое искусство, как Кельнский собор, как рисунок Дюрера, как fuga Баха. Как Мангал Вилли.

Понятно, что о Вилли и его Мангале ходили легенды. Другой бы делал на этом деньги... другой, но не Вилли. Не такой он был дурак, этот немец, чтобы повесить на святыню ценник, тем самым обесценив ее. На этот праздник души он приглашал только друзей, полагая их присутствие необходимой частью общего действия, подпитывая собственное сознание значительности про-

исходящего их поначалу любопытным, затем – почтительным, а под конец – благоговейным вниманием к священнодействию Верховного Жреца. Конечно, находились злопыхатели, уверявшие, что получают не худшие шашлыки на обычном жестяном мангале, раздувая электровентилятором магазинные угли по десять шекелей пакет... Что ж... Не каждому дано понять разницу между «Мадонной с цветком» и Мадонной с микрофоном. Вилли жалел таких завистников-ненавистников. Он, например, точно знал, что чувство вкуса находится не на языке, а в голове. А коли так, то можно ли распробовать нежнейший стейк, когда голова гудит от черной и горькой зависти?

Сегодня вечером Вилли планировал ввести в свой храм нового друга – Шломо. Совместными усилиями они подгадали дежурства таким образом, чтобы Яков и Шломо, закончив смену, могли прибыть прямо к алтарю. После трапезы все трое должны были вернуться в Тальмон для ночной вахты. Как это происходило всегда в дни Мангала, Вилли начал морально готовиться с самого утра, исподволь подготавливая душу к встрече с прекрасным. Поэтому даже малейшие неувязки, типа двухминутного опоздания, раздражали его, ибо указывали на некоторое несовершенство мира, абсолютно неуместное ввиду существования в нем Мангала.

Менахем досадливо прищелкнул языком. «Спасибо, Вилли. Ты не представляешь, как бы мне хотелось посидеть с вами. Да разве ж тут выберешься...»

«Ты в кровать-то хоть иногда заворачиваешь? – сочувственно спросил Вилли. – Смотри, жена скоро из дому выгонит... Ей ведь муж нужен, а не кентавр...»

Менахем мрачно кивнул. Он и впрямь почти ссорся со своим джипом. Он забыл, когда в последний раз спал более четырех часов кряду – даже если удавалось добраться до постели, подмигивающая в изголовье рация могла в любой момент выдернуть его из-под одеяла. Да и насчет жены Вилли попал в самую точку – Ярдена уже давно требовала от него уйти с этой сумасшедшей, опасной, семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки, работы. Или хотя бы вытребовать себе отпуск... Он посмотрел в сторону Рамаллы и вздохнул.

«Ладно, не вздыхай, – рассмеялся Вилли. – Вот как повесим Арафата, я тебе каждую неделю шашлыки буду жарить. Обещаю...» Он хлопнул Менахема по плечу и пошел к своему старому «кадету».

«Эй, Вилли... – остановил его равшац. – Погоди-ка... Ты как домой едешь? Через «почту» или через Нахлиэль? Если через «почту», езжай осторожней. Там вроде опять банда завелась. Вчера ночью машину из Долева обстреляли. Слава Богу, все целы...»

Вилли и Яков жили в поселении, расположенном ближе к Тель-Авиву. Из Тальмона туда можно было попасть двумя дорогами. Первая, более короткая, через Нахлиэль, проходила только по «территориям» и занимала не более получаса. Вторая, в объезд, через перекресток, именуемый на местном жаргоне «почта»,

была на четверть часа дольше. Перед каждой поездкой из дома в Тальмон и обратно Вилли и Яков прикидывали, каким путем ехать на этот раз. Объездная дорога имела несколько меньшую протяженность неприятных участков. Тем не менее, она не во всех случаях считалась безопаснее короткого пути. Все тут зависело от конкретной утренней или вечерней сводки.

Как правило, шоссе на «территориях» относительно безопасны: ну, бросят камушек, разбросают гвоздиков на повороте или выставят на асфальт полуметровые глыбы... короче – мелочи, традиционные арабские народные забавы. Но время от времени на том или ином участке заводится банда. Заводится, как вши, как парша. Начинают обычно скромно – бутылка с зажигательной смесью, дальняя одиночная очередь по автобусу. В этот момент важно не запустить, в точности, как со вшами. Иначе насекомые размножаются, наглеют, и тут уже хлопот не оберешься. Армия устраивает засады, подключается разведка и служба безопасности... глядишь – и вывели заразу. Гниды, конечно, остаются, но все же наступает некоторое спокойствие – до появления новой банды.

Вот и сейчас, ночной обстрел долеговой машины знаменовал наступление беспокойного периода на «почтовом» направлении. Интересно, – подумал Шломо, – Менахем не говорит определенно: мол, езжай, Вилли, через Нахлиэль. И это тоже характерно для поселенческой жизни. Потому что, если подстрелят Вилли на нахлиэльской дороге, будет у Менахема причина казнить себя за роковой совет. Оттого и рекомендация дается в условном наклонении – если, мол, решишь ехать так, то «езжай осторожнее»... Хотя, откровенно говоря, как может тут помочь осторожность, если вдарят по тебе с двадцатиметрового обрыва, да с трех «калачей», да по пристрелянной точке? Один расчет на везение...

Менахем и Вилли уехали. Шломо закинул за спину автомат и неторопливо двинул по привычной патрульной тропинке. Рация хрипела на разные голоса из кармашка на поясе; дети щебетали в песочнице детского сада; солнце палило вовсю, джип Менахема мелькал между холмов... в общем, все было в точности, как всегда, с самого основания мира.

* * *

Стейки были, как и положено, великолепны. Мангал высылся на умеренно продуваемом месте, в глубине небольшого палисадника. Вилли произвел последнюю, овощную загрузку, разложив над уже затухающими углями ломтики баклажанов и помидоров. Пускай подвялятся. Он озабоченно покосился на опустевший угольный пакет. На следующую жарку уже не хватит. Надо звонить Нидалю.

«Вилли! – позвала его Рива. – Хватит уже кочегарить. Иди к столу».

«Вот-вот, – присоединился к ней Яшка. – Иди сюда, давай выпьем...» Он плеснул водку в стаканы.

Тишайший вечер стоял над ними, держа в руке пригоршню придорожных фонарей. Душная дневная жара ушла, и пряный горьковатый запах самарийской земли беспрепятственно поднимался к луне, смешиваясь с ароматами виллиных воскурений. Летучие мыши неслышно носились вокруг, резко сворачивая и виртуозно выхватывая из рассеянного лунного света ночных мотыльков и прочую глупую мошкарку. Далеко внизу на дорогу вышла лиса, принялась к вечеру и потрусилась по своим делам, по-дворянжьи посовываясь вперед левым плечом.

Наконец Вилли подсел к столу. «Лехаим!» Все дружно выпили.

«Шломо, – напомнил Яшка. – Скажи уже что-нибудь. А то хозяин подумает, что тебе не понравилось...»

Шломо набрал в грудь воздуха. «Дорогой Вилли! – торжественно начал он. – Дорогой Вилли! Я думал, что меня ожидает тут мясо, стейки и шашлыки. Я был неправ, Вилли. К мясу все это не имеет никакого отношения. Высокое искусство – вот это что. И ты, Вилли, большой художник. И слов у меня нету. Не потому, заметь, что мой ивритский словарный запас ограничен, нет. На русском, коим я владею вполне профессионально, мне было бы так же трудно выразить свои чувства. Потому что об искусстве не говорят. Искусством живут. Дай я пожму твою руку». Они расцеловались, шумно и с чувством.

Яшка снова разлил. «За такую речь надо выпить».

«Не слишком ли много будет, господа сторожа? – насмешливо спросила Рива. – Вам же еще служить сегодня, помните?»

«А водка службе не мешает, – уверенно сказал Яшка. – Вот помню, в Ливане был у нас случай. Стоим мы, значит, недалеко от Триполи, – наш танковый батальон и рота автоматчиков из «Голани». Стоим прямо так; в чистом поле палатки поставили, да колючкой обнесли, да пару вышек соорудили. Зима, дождь, грязюка непролазная, холодрыга, особенно по ночам. А сторожить надо, потому как вокруг всякого дерьма понамешано – видимо-невидимо. И «амаль», и «шмамаль», и «хизбалла», и арабоны всех оттенков. И все так и норовят нам карачун устроить. Шломо, давай закурим твоих...»

Яшка закурил и продолжил: «Легко сказать – сторожить... А посиди-ка ночку на вышке, да в дождь, да в штормовой ветер, да в холод собачий... бр-р-р... Как вспомню, так мороз по коже. Добавь к этому, что днем мы тоже не бездельничали. Бывало, привезут снаряды – давайте, хлопцы, разгружайте... А каждая такая дура весит... мало никому не покажется. И вот побегаешь так до вечера – руки отваливаются, ноги не носят, весь в грязи, как чушка поганая, дождь льет, холод... Тут бы побыстрее душ горячий принять, да в койку, в спальничек родимый на рыбьем меху, под все одеяла, куртки и дубоны, что ты в состоянии найти и на себя нагрузить. Авось согреться удастся... Ан нет, солдатик, не видать тебе всего этого коечного рая. Бери теперь, как есть, ружжо и дуй, сердечный, во-он на ту вышку, сторожить.

– Как так?! Очередь-то, вроде, не моя? Мне ж только утром заступать... – А командир тебе: Очередь-то, может, и не твоя, да вот Мики заболел. Аппендицит. Увезли час назад на вертолете. Так что кончай эти разговорчики в строю и – вперед. Тебя сменят. – Когда сменят? – А когда сменят – тогда и сменят... – Вот так. И ползешь, делать нечего, на сраную эту вышку, и сидишь там, полумертвый от усталости и от холода, не зная даже примерно, когда же этот ад кончится. До сторожения ли тут, скажите на милость? Тут бы дожить до пересменки...

В общем, впадаешь в такое безразличие, что все тебе – до балды, включая самого себя. Глаза сами закрываются. Накажут – пусть; в тюрьме, на нарах такого мучения не предвидится. Убьют – черт с ним, нехай убивают, чем так жить. Страха нет никакого. Если б только о моей жизни речь шла, дрых бы я на каждом дежурстве, как миленький. Одна лишь мысль о ребятах как-то удерживает. Спят они там, в палатках, под горой одеял, и ты вроде как их бережешь, охраняешь от сучьих этих выползков. Как представишь себе, что заходят арабы в палатку и режут ребят тепленькими, в спальниках – так и сон вроде улетучивается.

Но все равно есть предел силам человеческим. Неизбежно наступает момент, когда даже ребята не помогают. И тут-то хорошо, коли есть у тебя последний, самый надежный, самый верный друг и помощник. Водка. Достаете из кармана заветную фляжечку... понюхаете... экий дерibas! аж передергивает. И чего это она такая теплая на таком-то холоду?... Короче, поначалу недружелюбное у него лицо, у последнего твоего помощника. Но как залынешь его внутрь, да выдохнешь дикий его выхлоп, да прислушаешься... О-о... Тут-то и начинается. Вот он, побежал, побежал по душе босыми ножками. Вот потекли по жилам огненные ручейки... Глядишь, и вроде веселее стало, а что теплее, так это точно. И мокрая темень вокруг уже не так темна, и ветер уже не так сильно лупит тебя по мордам, и смена вот-вот придет, и, главное, есть у тебя еще полфляжки... А ну-ка... – точно, булькает. Короче, жить еще можно. Великая это вещь, водка, доложу я вам. Давайте-ка выпьем водки за водку...

Вилли охотно разлил водку по стаканам. Выпили. Яшка задумчиво хрустел соленым огурцом. «Все, что ли?» – спросил Шломо. «Какое там «все», – отозвался Вилли. – Я эту историю про Фимку-пулеметчика уже в пятый раз слушаю».

«А ты не слушай, коли неинтересно – сказал Яшка. – Вон, Шломо ни разу не слышал. Я ему и рассказываю. Ты тут так, сбоку припека...

В общем, Шломо, – продолжил Яшка, подчеркнуто игнорируя бестактного Вилли. – В общем, был там среди «голанчиков» некто Фима Гольдин, земляк наш из Риги. Случай, надо сказать, редкий – нашего брата тогда все больше в танковые части посылали или в артиллеристы. Как этот Фима в боевую пехоту попал – одному Богу известно. Может, оттого, что здоров был, как конь. Так или иначе, его там все любили, даже прощали ему ма-

ленькие его странности. Например, Фима травку не курил, даже гашиш не уважал, а уж этого в Ливане было прямо-таки навалом. Зато вот выпить он был не прочь при любых обстоятельствах. Все нормальные люди косяк потолще забили и сидят, дымят, а Фимка – знай себе водку из фляжки хлещет. Ребята поудивлялись, поудивлялись, да и привыкли. Пойми их, «русских»...

Удивлялись-то они летом, а как зима пришла, так и удивляться перестали. Ведь косяк, он хоть и пускает душу по облакам, но греть ее, как водка, не может. Не та калорийность... Вот тут-то и пришлось ко двору фимина фляжка. И чем хуже была погода, тем популярнее становился среди «голанчиков» наш, советский образ жизни. Короче, где-то к Пуриму споил Фимка всю свою родную роту, включая офицерский состав. На травку уже никто не смотрел; как в патруль идти или на вышку лезть – так все дружно по сто грамм ищут... только и слышишь «буль-буль» да «дзынь-дзынь» по всему лагерю.

А тут и Пурим подоспел, светлый праздник освобожденного еврейства. А в Пурим, как известно, обычай требует напиваться. Причем в стельку. Ну ладно, не в стельку, но, по крайней мере, так, чтобы не отличить злодея Амана от праведника Мордехая. То есть, все-таки, – в стельку. Надо сказать, что к этому моменту рота была уже на сто процентов готова к выполнению боевой задачи. Интенсивные фимины тренировки не прошли даром. Конечно, многие навыки пока отсутствовали – далеко не все еще научились разливать «по булькам», вслепую; «провести» стакан на неподвижном кадыке умели лишь особо способные; обилие еды мешало отточить сложную технику «занюхивания». Тем не менее, было ясно, что рота способна встретить праздник на вполне достойном уровне.

Так оно и случилось. Конечно, праздник – праздником, а дело – делом. Кому-то выпал несчастный жребий патрулировать или сторожить. Эти выпили свои сто грамм и ушли в дождливую ночь. Зато остальные оттянулись по полной программе. Фима старался больше всех. Как главный спец и вдохновитель, он просто обязан был подавать личный пример. В общем, к моменту, когда пришло время вставать из-за стола, а точнее – выпадать из-за стола в койку, сержант Гольдин был ближе всех к горизонтальному положению. И тут произошло нечто непредвиденное. Сверху пришел приказ удвоить патрули – именно в честь праздника. Начальство решило обезопаситься на случай, если враги вдруг попробуют проверить нашу пуримскую бдительность. Надо сказать, что в чем-то начальники оказались правы – бдительность в дупель пьяной роты оставляла желать много лучшего...

Что прикажете делать в такой ситуации? Фима ощущал себя главным вдохновителем пьянки, как ни крути, на нем и повышенная ответственность. В общем, вызвался он добровольцем. Доставшийся ему дополнительный пост был особенно труден. Почему? Да потому, что – дополнительный, а значит – необорудованный. На черта его оборудовать, если он дополнительный?

Если, как правило, нет там никого? Если поставили его только на случай прямой вражеской атаки? В общем, не было там ничего, за исключением неглубокой ямки, да невысокого бруствера из мешков с песком, да пулемета по имени МАГ. А значит, нельзя там ни стоять, ни сидеть, а можно только лечь в ямку, за бруствер, да смотреть себе в амбразуру, в непроглядную, однообразную темь.

Вот тут-то и загрустил наш Фимук... Лег он в эту неглубокую ямку, ставшую по случаю дождя вполне глубокой лужей, глянул в черную дырку за хоботом пулемета и понял, то есть однозначно понял, что шансов нет. Что заснет он неминуемо, вопрос только – когда. Потому что, если хотя бы стоя или сидя... – это еще куда ни шло, и пусть пулеметный ствол двои́тся перед пьяными его глазами – по крайней мере, со сном можно бороться. Но лежа, да с килограммом водки в непутевой голове... И все же, отдадим должное железному фиминому организму. Все-таки он был настоящий конь, ломовик породистых еврейских кровей. Заснул он только под утро.

Но, даже засыпая, Фима повел себя в высшей степени ответственно. Дело в том, что он заранее решил для себя – если пойму, что – все, кранты, засыпаю – дам я пулеметную очередь в белый свет, как в копеечку, чтоб как бы сигнал подать. Чтоб знали, что на меня больше рассчитывать не стоит. В буквальном смысле – жертвовал собою пацан. Потому что за такое дело суд и, как минимум, месяц военной тюрьги были ему обеспечены. В общем, как стало чуть-чуть светать, понял Фима, что кончился боересурс его терпения. Стали ему мерещиться какие-то неясные контуры, не то фигуры, не то призраки... веки неудержимо смыкались... Последним усилием передернул он закоченевшими пальцами затвор МАГа, надавил на спуск и отключился.

Помните, был такой рассказ о связисте, в предсмертном усилии зажавшем зубами порванный телефонный кабель? Так, что потом не смогли разомкнуть челюсти – так и хоронили парня с куском провода во рту? Мне именно этот случай вспомнился, когда сбежались мы по тревоге к фиминому окопчику. Мужик был в полной отключке, вообще ни на что не реагировал. Спал, что называется, мертвецким сном. Но палец его на спусковом крючке было просто не разогнуть. Оттого-то и очередь была такая длинная – стрелял, пока патроны не вышли. В общем, кое-как отсоединили мы Фиму от пулемета. Отсоединили и на командира смотрим. А командир стоит – зверь зверем. Что вы, говорит, на меня уставились? Несите этого пьяного ишака в палатку. Завтра, как проснетесь – немедленно ко мне, вместе с командиром роты. Плонул так яростно и ушел, досыпать. Ну, думаем, – все, погорел наш Фима по-крупному... Месяцем тюрьмы тут не обойдется».

Яшка взял вилку и подцепил ею ломтик баклажана. Затем, тщательно примериваясь, он аккуратно разрезал ломтик на примерно равные части и, не торопясь, съел их одна за другой. Потом прицелился на другой ломтик, но передумал. Вместо этого

он вынул еще одну сигарету из шломиной пачки, медленно размял и очень вдумчиво раскурил. Шломо терпеливо ждал продолжения рассказа. Вилли улыбнулся: «Верить ли, Шломо, каждый раз он в этом месте паузу делает. Артист ты, Яков. Тебе бы по телевизору выступать...»

Яшка не удостоил его ответом. Он задумчиво следил глазами за фигурами высшего пилотажа, которые вычерчивала в ночном воздухе эскадрилья летучих мышей. Он явно чего-то ждал. Шломо наконец догадался.

«Ну а дальше-то что, Яков?» – спросил он как можно подобострастнее.

Яшка удовлетворенно кивнул. «Дальше-шмальше... – протянул он. – А дальше было просто. Сразу как рассвело, увидели мы на проволоке, в пятидесяти метрах от фиминой позиции, троих арабов. Точнее сказать, решето из троих арабов. Сколько их всего там ночью было, сказать трудно. Были, видимо, и раненные, потому что потом нашли кровь по следам их отхода. А может, трупы особо дорогие уносили... Вот так, Шломо. А вы говорите – водка...» Он опять замолчал.

«Ну а что Фима?»

«А что Фима... Фима наутро не помнил ничего. То есть совсем ничего – ни как в койку попал, ни как из пулемета стрелял... даже сам факт своего боевого дежурства не помнил, даже как из-за стола вставали. Последнее его воспоминание – это как пили за то, чтобы Арафат своим языком поганым подавился. И все – после этого – полный провал. Черная дыра...»

«А суд? Тюрьма? Сколько он в итоге получил за все это?»

Яшка усмехнулся. «Много получил. Знак отличия за храбрость, внеочередное звание и недельный отпуск в эйлатской гостинице. Командир-то не дурак оказался. Тут ведь все зависело от угла зрения – как на этот случай посмотреть. Сам посуди: одно дело – пьянство во вверенной тебе части, да еще на посту; и совсем другое – доблестное отражение вражеской атаки с тремя убитыми у них и без малейших потерь у нас. Ты бы что выбрал?..»

«Послушай, Яков, – сказал Вилли. – Я вот чего не понимаю: как это никто не стукнул? Всегда ведь находится какой-нибудь пакостник, что жаловаться бежит. Тот – чтобы командиру насолить, этот из идеологических соображений, а третий – просто из гадской своей натуры. Что ж это за база у вас была такая из ряда вон выходящая, что ни одного доброхота не нашлось?»

«Почему ты думаешь, что не нашлось? Нашлось, и еще как. Во-первых, была анонимная жалоба в дивизию, во-вторых – телефонный звонок корреспонденту. Мне потом Фима рассказывал, как его в военную полицию вызывали. Только у него на это был очень простой ответ заготовлен. Вы, он им сказал, сами-то в эту невероятную выдумку верите? Чтобы я с пьяных глаз, в полном отрубе, отбил вражескую атаку? Это что, по-вашему, кино? Рембо по-израильски? Они и отстали. Действительно ведь, невероятно. Вон, даже ты мне не веришь...»

«Яшка, – сказал Шломо. – А где он сейчас, твой Фима? Вот ты бы привел его к Вилли на шашлыки, чтоб без вопросов...»

«Если бы это было возможно... – печально ответил Яшка. – Нету Фимы Гольдина. Мы вот тут сидим, водку пьем, а он...» Яшка печально махнул рукой.

«Погиб?»

«Умер. Два года тому назад. От цирроза печени...»

* * *

В Тальмон возвращались к полуночи, втроем, на виллином «кадете». Яшка дремал на заднем сиденье. Ехали через Нахлиэль. После того, как миновали Офарим, Вилли достал из бардачка старый пистолет с деревянными накладками на рукоятке, передернул затвор и сунул оружие под колено.

«Вальтер, – сказал он в ответ на удивленный шломин взгляд. – Времен второй мировой. В комиссионке купил...»

Шломо усмехнулся про себя парадоксальности момента. Они ехали в немецкой машине с памятным именем «опель-кадет» по территории округа Биньямин, среди враждебных арабских деревень. И за рулем сидел не кто-либо, а чистокровный вестфальский немец, держа наготове старый «вальтер», из каких шестьдесят лет тому назад другие немцы стреляли в наши беззащитные затылки. Там, под Бобруйском, в лесных ямах, осталась почти вся отцовская семья.

«Через две недели приезжает мой отец, – сообщил Вилли, как будто откликаясь на шломины мысли. – Он у нас почти каждый год по месяцу гостит. Его послушать, так дом не разваливается только оттого, что он тут ежегодно порядок наводит. Говорит, такого балаганиста, как я, свет не видывал. Представляешь? Это я – балаганист. Видел бы он Якова...»

Шломо рассмеялся. Вилли и в самом деле славился педантичностью. Каков же тогда батя?

«А при чем тут Яков? – подал голос Яшка. – Видел он Якова, еще как. И в гостях у меня сидел. Так что не надо, своим-то... Не слушай его, Шломо. Батя у Вилли – мировой старикан. Земляк наш, кстати...»

«Как так?!»

«А так. Он из украинских немцев-колонистов. Родители в сталинских лагерях сгинули, а его, мальчика, вишь – не добавили. Но русский еще помнит, хотя и с трудом. Пытался он мне свою эпопею рассказывать, так я и половины не понял. Просил Вилли перевести, а он отказывается».

Вилли хмыкнул. «Ничего, ничего... Мне так спокойнее – от греха подальше. Пусть лучше тихо-мирно сарайчик подправляет, да навес над крылечком строит. А то ведь с Яковым свяжется – беды не оберешься».

«Какой беды? – недоуменно спросил Шломо. – Ему сколько лет, твоему старику?»

«Семьдесят четыре. А дурости – на все сто двадцать. В прошлый его приезд как раз Риву камнями обкидали. Ничего страшного – пара булыганов по капоту и один по крыше. Отделались небольшими вмятинами да малым испугом. Вмятины – ерунда, моему «кадету» не привыкать, он и так весь обдолбанный. А вот ривин испуг, хотя и малый, все равно неприятно. Даже заплакала немножко. В общем, увидел мой дед эти слезы и начал из угла в угол ходить. Я ему – дед, успокойся, а он все ходит и ходит... Наконец, смотрю, начал в моем армейском шкафу копаться. Ты, говорю, чего ищешь? Ты, говорю, скажи, может я чем помогу. А он и отвечает: дай, мол, сынок, гранату. Всего-то одну и надо...

«Ты что, говорю, совсем сдурел, старый? На черта тебе граната? А теперь слушай, что он мне в ответ лепит. Я, говорит, возьму гранату, пойду в деревню и взорвусь там около мечети ихней. Я, говорит, и в самом деле старый, тут ты прав, сынок, все равно мне вот-вот помирать, так хотя бы чтоб не пустым предстать перед Господом... Представляешь?»

Яшка сзади залился смехом. «Атомный старик! Я ж говорил...»

«Во-во, – мрачно кивнул Вилли. – Только послушай его, Шломо... Я, честно говоря, этой атомной смеси – отец мой с Яковом – больше всего боюсь. С другими-то у него общего языка нету. Поначалу был он у меня тише травы; постучит молоточком, повозится в огороде и сидит, довольный, на солнышко смотрит. А как узнал, что есть в поселении «русские», что даже сосед мой дорогой Яков родом из Кишинева, словно подменили старика. Мы, говорит, с Яковом организуем тут команду из десятка-другого земляков и отлупим арабов так, что век будут помнить. Смех и грех...»

«А чего ты удивляешься? – подначил Яшка. – Вера в силу русского оружия у твоего бати воспитана личным опытом».

Вилли не то хмыкнул, не то поперхнулся. «Да, господин Зильберман, – сказал он наконец, обращаясь к Яшке по фамилии. – Сегодня вы особенно тактичны...»

«Ладно, – Яшка примиряюще положил ему рук на плечо. – Ну извини, брат, сморозил. Ты на меня, кстати, тоже сегодня бочку катил. Так что мы квиты».

Дорога повернула, и перед ними засветились огоньки семи тальмонских холмов.

* * *

На въезде в поселение они разделились. Шломо охранял этой ночью свою Хорешу; Вилли и Яков патрулировали на соседних вершинах. На горе было ветрено и прохладно. Шломо забежал в караван за курткой, навьючил на себя хитрое сооружение из ремней и карманов, содержащее фонарь, магазины, флягу и прочий положенный по штату инвентарь, повесил на шею свою потертую М-16. Выходя из дому, он посмотрелся в зеркало и остался доволен. Вид был самый что ни есть бравый. Шломо притопнул ногой в крепком армейском ботинке и вышел.

Ночь лежала на земле, растянувшись от края до края, черная и неслышная, как кошка. Арабские деревни внизу были темны, лишь зеленые огоньки минаретов мерцали, как гнилушки на болоте. Тут и там на вершинах холмов светились еврейские поселения; цепочки фонарей вились вокруг них желтыми ожерельями. Шломо неторопливо хрустел гравием по патрульной тропинке. Он чувствовал себя прекрасно; спать совсем не хотелось. Чудесно проведенный вечер трепыхался в груди смешливым щекочущим существом. Это существо подбрасывало ему картинки, как дровишки в печку – вот торжественное лицо Вилли, склонившегося над Мангалом; вот Яшка, как всегда, расстрелявший у него все сигареты под завораживающий аккомпанемент своей мягкой молдавской скороговорки; вот тонкий ривин профиль, черная бура ее волос, острый локоть, веселые огоньки в непроглядном море опасных тайманских глаз...

Шломо остановился над обрывом, вглядываясь в темноту вадди. Внизу, за бесформенной массой кустарника угадывалась старая грунтовая дорога, смутно белели дома Эйн-Кинии. Вдруг что-то привлекло его внимание. Станный блик, неясное движение рядом с каменистым распадком метрах в ста пятидесяти от забора. Шломо всмотрелся попристальней. Нет, вроде ничего, просто показалось. Он уже собрался продолжить движение, уже повернулся, на всякий случай, краем глаза, не выпуская из виду подозрительное место, и тут сердце его упало. Блик снова промелькнул... вон там, слева от большой глыбы песчаника.

Усилием воли заставляя себя двигаться неторопливо, Шломо перешел к ближайшему сгустку тени, присел и достал рацию. Во рту его было сухо, не хватало воздуха, кровь барабанила мамбо в висках. Он еще никогда не был в бою и теперь элементарно боялся. «Спокойно, Шломо, спокойно, – увещевал он сам себя. – Немедленно прекрати панику, ты, сукин сын!» Он прибавил еще несколько матерных ругательств пообиднее. Как ни странно, это помогло. По крайней мере, хотя бы дыхание несколько наладилось. Теперь уже не стыдно было говорить по рации.

«Неве-Тальмон от Хореша, – позвал он, стараясь звучать как можно обычнее. – Как слышно?»

«Я – Неве-Тальмон, – ответил насмешливый виллин голос с соседней горки. – Слышу тебя отлично. А если ты будешь говорить чуть погромче, то я даже смогу разобрать некоторые слова... В чем дело, Шломо? Почему ты еле шепчешь?»

«Я – Хореша, – сказал Шломо чуть погромче. – Вижу подозрительное движение к юго-западу от меня, в распадке, как раз между нами. Вилли, взгляни-ка со своей стороны, будь другом».

«Нет проблем. Только я сейчас на другой стороне холма. Подожди, минуты через три я буду на месте».

Рация замолчала. Шломо наставил на распадок автомат и устроился поудобнее. После короткой беседы с Вилли страх непонятным образом улетучился. Он даже ощутил какой-то охотничий азарт. Вот только глаза начали совсем некстати изменять. Они

слезились от напряжения; какие-то искры и звездочки вспыхивали и гасли по всему полю; между ними неторопливо проплывали длинные прозрачные червяки... Теперь Шломо навряд ли различил бы давешние блики. Он усиленно поморгал, затем протер глаза правой рукой, с сожалением оторвав ее от автомата, даже закрыл веки на несколько секунд... Ничего не помогало.

«Хореша, Хореша – от Неве-Тальмона! – это был Вилли. – Шломо, определи точнее, где и что ты там видишь?»

Шломо начал объяснять. У него появилось странное чувство, что он зря беспокоит людей, попусту отвлекает их от дела, от сна, от отдыха. Не дай Бог, еще Менахем услышит их переговоры; небось, ведь только прилег, бедняга.

«Нет, – решительно сказал Вилли. – Ты уж меня извини, но ничего я не вижу. То есть распадок вижу, но ничего в нем нет».

«Ладно, – виновато ответил Шломо. – Извини, брат. Наверное, это яшкины рассказы на меня так подействовали...»

«Опять я виноват! – это уже был Яшка. – Ничего, Шломо, года через три научишься отличать дикого кабана от дикого араба. Хотя, честно говоря, разница не так уж и велика. Так что не расстраивайся...»

«Я – Яд-Яир, – вмешался армейский радист, работающий на той же частоте. – Кончайте засорять эфир! Погуляли и хватит, самое время помолчать».

«Затыкай своей подруге, салага!» – возмущенно парировал Яшка.

Ответа не последовало. Рация еще пару раз хрюкнула и замолчала. Шломо встал, отряхнулся и подошел к обрыву. Все было тихо, распадок невинно лежал перед ним, пустой и безмолвный. Вот стыдоба-то! Весь мир переполошил... Шломо плюнул и пошел прочь с дурного места.

13

Вилли проснулся в одиннадцатом часу. Дом был тих и пуст; в пятницу дети обычно возвращались к часу дня, вместе с Ривой, учительствующей в той же школе. А пока... пока Вилли был предоставлен самому себе. Он с удовольствием шлепал босыми ногами по прохладному каменному полу, с хрустом потягиваясь, зевая, радуясь всем своим существом тому редкому моменту Богом санкционированной праздности, когда некуда спешить, когда все тип-топ, когда дети здоровы, жена любима, и жизнь легка, как тюлевая занавеска на распахнутом в светлое утро окне.

Впрочем, долго прохлаждаться без дела Вилли не привык. Сооружая себе яичницу с луком, из трех яиц, на телячьей колбасе, он прикидывал, как бы ему поумнее распорядиться негаданной свободой. Конечно, можно было удивить Риву, занявшись самому предсубботней уборкой. Можно было... да только как-то не хотелось... да и зачем? В семье Мюллеров подготовка к субботе была не повинностью, а, скорее, игрой – с шутками, розыг-

рышами и прочей веселой суетой, в которой принимали участие все, включая собаку. Так что уборка не годилась. Что же тогда?

О! Ну конечно! Как же он мог забыть?! Уголь. Стареешь, Вилли, стареешь, вот уже и вещи из дырявой головы выпадать начали... Ведь еще вчера, готовя стейки для Шломо и Якова, решил он про себя непременно и как можно скорее затариться большой партией угля. Лучшего момента не придумаешь – если он успеет обернуться туда-сюда, а потом спрятать пакеты в подвале, пока Ривы нету, то все останется шито-крыто. Вилли закончил с завтраком и позвонил Нидалю. Судя по голосу, Нидаль был рад его слышать. «Привет, Вилли! – он говорил на иврите с тяжелым арабским акцентом. – Как жизнь? Как здоровье?»

«Здравствуй, Нидаль, дружище. Спасибо, у меня все в порядке. Как у тебя? Все ли здоровы? Семья? Дети?»

«Слава Аллаху, все здоровы. С работой сейчас туговато, но как-то выживаем. Тебе, случаем, не надо ли чего починить-построить?»

«Нет, Нидаль, спасибо. Ты же знаешь, всеми этими делами у меня отец заведует. Приезжает через две недели. Мне бы уголька. Как у тебя с этим?»

«Ну вот... – рассмеялся Нидаль. – Твой старик у меня весь хлеб отбивает. А уголь есть. Мне сейчас делать нечего, так я его полный сарай нажег. Приезжай, забирай. Я бы тебе сам подвез, да моя «субара» совсем развалилась...»

Вилли медлил с ответом...

«Эй, Вилли, – сказал Нидаль, читая его мысли. – Если уж ты меня боишься, то это совсем край. Ты ж мне как брат, клянусь глазами Аллаха, как ты можешь?»

«Конечно, Нидаль, о чем речь, – смущенно ответил Вилли. – Но ты ведь сам знаешь, какая ситуация. В тебе-то я уверен...»

«Ладно, давай тогда сделаем так, – сказал Нидаль после минутного раздумья. – Я вывезу пакеты за деревню, метрах в ста от шоссе. На самом шоссе не могу – там армия ездит; увидят меня с пакетами – пристрелят, глазом не моргнут. А без пакетов можно. Там я тебя и подожду, у поворота. Лады?»

«Лады». Предложенный Нидалем вариант выглядел вполне приемлемым. Дружба дружбой, но заезжать в деревню Вилли не хотелось – а вдруг там сейчас какое-нибудь сволочье с «калачами» бродит. И его пристрелят, и Нидаля... «Подготовь мне тогда килограммов пятьдесят. Если я подъеду через часик, успеешь?»

«Нет проблем, Вилли. Жду тебя у поворота через час. Пока».

Их знакомство началось десять лет тому назад, когда Вилли надумал выкопать и оборудовать подвал под домом. Посоветовавшись с Яшкой, он пригласил арабскую бригаду из тех, что работали в поселении с момента его основания. Многолетняя репутация должна была служить гарантией качества, но Вилли не особенно обольщался на этот счет. Годы жизни на Ближнем Востоке, если и не изменили строение его немецких глаз, то, по

крайней мере, приучили к необходимости смотреть на мир ослабленным взглядом аборигена.

Сейчас Вилли с усмешкой вспоминал потрясение, которое он испытал в свое время, войдя в новый дом и впервые увидев кривые до безобразия углы и неровно положенную плитку. Прибывший на его крики араб-подрядчик никак не мог взять в толк, чем же Вилли, собственно говоря, недоволен. И в самом деле, метраж был в полном порядке, с крыши не капало (поскольку дом предусмотрительно сдавался летом), окна-двери открывались и закрывались, хотя и делали это весьма неохотно, с визгом и возражениями. Но в общем и целом, качество строительства полностью соответствовало просторным левантийским стандартам.

Поэтому арабский подрядчик, выслушав виллины претензии с подобающим принципу «клиент всегда прав» пиететом, покивав и пообещав немедленно принять меры, счел эти претензии глупым барским капризом и, естественно, палец о палец не ударил, чтобы хоть что-нибудь исправить. Проблема тут заключалась не в злой воле или в неумении строителей. Арабский каменщик, конечно же, обладал достаточной квалификацией для того, чтобы вывести угол прямо, а не криво. Он просто не полагал это достаточно важным; кривизна не резала ему глаз; он искренне не понимал, чего от него хотят.

Принимая работу, Вилли заранее настраивал себя на особенно беззаботный, пофигистский лад: главное – здоровье, так что нечего нервничать по пустякам. Старательно отводя глаза от волнистых «плоскостей» и загогулистых «прямых линий», он неловко совал «мастерам» их деньги и быстрее звал Риву – для врачевания души. Истинная дочь Востока, Рива не разделяла виллиных страданий по поводу качества исполнения. Ее глаза тоже отказывались замечать все эти несущественные глупости. Окинув удовлетворенным взглядом то, что, по глубокому виллиному убеждению, являлось преступлением против самого понятия «строительство», Рива восторженно хлопала в ладоши и говорила:

«Замечательно! Вот видишь, я ты боялся... смотри, как здорово получилось! Так... значит, сюда мы поставим софу, сюда – шкаф... Погоди, а чего ты такой пристукнутый? Случилось чего?»

«Да нет, – отвечал Вилли и в самом деле успокаивался. – Все в порядке, дорогая». Даже самая кривая кривда выпрямлялась в его глазах, будучи освящена одобрением Ривы.

Легко понять виллино изумление, когда на этот раз он обнаружил неожиданно ровную штукатурку и выстроившийся по струнке кафель. Он минут пять водил ладонью по идеальной поверхности стены, гладил шахматный рисунок керамики, ласкал взглядом отвесную линию угла. Он просто не верил глазам.

«Что-нибудь не в порядке, хозяин?» – встревожился бригадир.

«Кто штукатурил?» – спросил Вилли. «Эти стены – Нидааль, а ту, дальнюю – я...» Вилли перешел к дальней стене и вздохнул с облегчением. Мир снова вернулся на круги своя. Бригадирова стена была, как и положено, кривой и горбатой. «Нидааль у нас

новенький, – виновато сказал бригадир. – Если тебе не нравится его работа, я переделаю...» «Нет-нет, – поспешил успокоить его Вилли. – Все отлично, спасибо большое...»

Расплатившись, он подошел к Нидалю и взял у него номер телефона. С тех пор они виделись регулярно, в особенности после того, как выяснилось, что Нидаль живет в Умм-Цафе, близко к драгоценным угольным запасам. Любую работу он выполнял с какой-то нездешней аккуратностью и странным для этих мест стремлением к совершенству. В остальном неотличимый от своих товарищей, по этому показателю Нидаль выглядел настоящим инопланетянином. Вилли долго ломал голову о причинах столь необъяснимой флуктуации, пока не выяснилось, что происходит Нидаль совсем не из этих мест, что родился и вырос он в Аргентине, куда эмигрировал в конце пятидесятых его отец-иорданец, там же получил школьное образование и, наконец, вернулся вместе с семьей на Ближний Восток во времена израильского экономического бума за год до войны Судного дня. Неисповедимы пути волочения человеческого...

Они подружились; Вилли не раз гостил у Нидаля в деревне, Нидаль частенько заворачивал к нему на чашку кофе; иногда устраивали пикник на две семьи в знаменитом угольном лесу. С началом катаклизмов «мирного процесса», когда вдохновенные борцы за арабскую свободу стали взрывать автобусы с израильтянами на улицах Иерусалима, Тель-Авива и Афулы, общения поубавилось. Вилли уже не рисковал появляться в Умм-Цафе, боясь наткнуться на нож или пулю местного «миролюбца». А для Нидаля так и вовсе настали нелегкие времена. Возможности передвижения арабов даже в пределах «территорий» оказались сильно ограниченными. Пытаясь подавить банды Фатха и Хамаса, армия перекрывала дороги, блокировала сообщение между арабскими городами и деревнями. Работы не стало; нормальная жизнь безнадежно нарушилась.

Но даже и тогда они регулярно перезванивались; Вилли, чем мог, старался помочь старому приятелю. Несколько месяцев тому назад он был разбужен ночным телефонным звонком. Младшая, двухлетняя дочка Нидаля задыхалась в круппозной горячке. Как раз накануне в округе произошел очередной теракт, погиб поселенец, и теперь армия, перекрыв дороги, преследовала банду. В этих условиях было практически невозможно пробиться в рамалльскую больницу. В полном отчаянии Нидаль позвонил Вилли; девочка умирала у него на руках.

Вилли не колебался ни минуты. Он сел в машину, приехал в деревню и повез Нидаля с дочкой в израильскую больницу. На первом же блокпосту Нидаля ссадили – у него не было необходимых документов для пересечения «зеленой черты». Вилли привез девочку в «Асаф-а-Рофе» и просидел остаток ночи в реанимации; наутро Рива сменила его. На четвертый день, принимая из рук Вилли спасенного ребенка, Нидаль заплакал. «Ты мне теперь брат, Вилли, – сказал он. – А ей – второй отец...»

* * *

Дорога была пустынной; проехав с десяток километров, Вилли встретил лишь один грузовик, натужно тащивший огромные глыбы песчаника из близлежащей каменоломни. Дальше, слева и справа, пошли широкие стометровые полосы выкорчеванных под корень оливковых рощ. Вилли с сожалением поцокал языком, как он делал каждый раз, проезжая мимо этого места. Масличное дерево живет долго – сотни лет. Приземистое и приземленное, морщинистое и пыльное, далекое от иллюзий и поэтических фигур, оно простирает свои узловатые ветви над почвой, недоверчиво поглядывая на слепящее небо. Это дерево свято, как часть, как плоть от плоти породившей его Земли Израиля. Оттого и не трогали их так долго, хотя бандиты регулярно обстреливали дорогу, прячась за деревьями, уходя от погони в обманчиво прозрачных лабиринтах оливковых рощ. Не трогали, даже когда пролилась первая кровь, когда первые раненые были увезены с шоссе воющими амбулансами. Все жалко было деревьев, все рука не поднималась... И только смерть, сильная смерть спустила с поводка бульдозер. Потому что нет ничего сильнее смерти. «Сильна, как смерть, любовь», – сказано в ТАНАХе. Почему именно «как смерть»? Потому что нет ничего сильнее смерти. Вон он, памятник, справа от дороги, там, где застрелили Яира из Халамиша, на глазах у матери, чудом оставшейся в живых... После этого и вырубали деревья. Потому что нет ничего сильнее смерти.

Вилли миновал длинную петлю около Наби Салех и подъехал к лесу Умм-Цафа. Лес высился слева, справа простиралось глубокое вади, спускающееся к шоссе Рамалла-Шхем. Еще три минуты пути, и вот он – поворот на деревню. Нидаль сидел на придорожном камне, поджидая Вилли. Почему-то он остался сидеть, даже когда виллин «кадет» остановился вплотную к нему.

«Привет, – сказал Вилли. – Давно ждешь?»

«Минут десять», – ответил Нидаль без улыбки.

«Ну так что, так и будешь сидеть или поедем загружаться?»

Нидаль как-то неохотно поднялся с камня, и сел в машину.

«Послушай, Нидаль, не тяни, – поторопил его Вилли. – Давай, говори, куда ехать. Мне еще надо успеть перетащить все в подвал, пока Рива не вернулась».

«Езжай туда, к дереву», – сказал Нидаль, указывая на большую шелковицу впереди по проселку, метрах в двухстах от шоссе. Вилли тронул машину.

В тени шелковицы стоял стреноженный осел, философски обзеревая недостижимые заросли чертополоха, там, далеко, на противоположном склоне оврага. Его мягкие мохнатые уши шевелились в такт неторопливым мечтам. «Тут», – сказал Нидаль. Они вышли из машины, и Вилли огляделся, ища пакеты с углем.

«Туда», – сказал Нидаль и, не оглядываясь, направился к высившейся неподалеку груде камней. Вилли последовал за ним, удивляясь необъяснимой мрачности друга.

«Эй, Нидадь! Что-нибудь случилось?» Нидадь не ответил ничего. Из-за кучи вышел бородатый человек с черно-белой клетчатой куфией на плечах. В руках он держал автомат.

Вилли остановился. Он понял, что происходит что-то очень страшное, что кажущаяся обыденность обстановки – полуденная знойная тишина, пустынное шоссе, медленный коршун в небе, шелковица, осел – принадлежат уже какому-то другому миру, тому, где раньше и он сам, еще минуту тому назад, жил, ходил, ездил, дышал, любил Риву. Что вышедший из-за кучи человек с автоматом – уже самым фактом своего появления – создает какую-то новую, страшную, угрожающую реальность, меняет что-то кардинальное в его, виллином, настоящем и будущем. Он с ужасом почувствовал, что новая эта реальность начинает засасывать его в свою черную воронку, отзываясь ухающей сосущей тошнотой в низу живота.

Вилли обернулся назад, на машину, как бы цепляясь за последний якорь, связывающий его с прежним. Около машины стояли еще двое, невесть откуда взявшиеся, с автоматами Калашникова в расслабленно опущенных руках. Они улыбались. «Ну что, еврей, попался? – говорил один из них, постарше, заросший до глаз густой черной бородой. – Стой, где стоишь. Сейчас поедem, погуляем». Он спросил что-то по-арабски, обращаясь к Нидадю. Нидадь ответил. Бородач кивнул и полез в бардачок «кадета».

«Ого! – насмешливо сказал он, взвешивая на руке виллин «вальтер». – Да ты опасен! Того гляди, всех нас перестреляешь...» Они рассмеялись, все четверо, включая Нидаля. Только тут до Вилли дошло, что Нидадь – с ними заодно, что помощи ждать не от кого, что он в ловушке. Он посмотрел на своего старого приятеля. Нидадь ответил ему прямым взглядом, не отводя спокойных, ничего не выражающих глаз. Хотя нет, какое-то выражение в них было, в этих глазах. Так смотрит охотник на попавшего в силочку зайца; с таким безразличным любопытством глядит крестьянин на прижатую пружиной мышеловки амбарную крысу.

«Ладно, хватит, – сказал старший бородач, отсмеявшись. – Садись в машину...» Он сделал шаг в сторону Вилли. Что-то щелкнуло в виллиной голове. Сковывавший его доселе панический страх вдруг одним махом преобразился в бешеную энергию побега. Бежать! Он прыгнул в сторону, разученным в юности регбийным ударом оттолкнул бросившегося на него араба и, петляя, побежал в сторону шоссе. Сзади послышались крики. Вилли бежал что было сил, как бегут во сне, не оглядываясь, впившись взглядом в спасительную полосу асфальта. Она быстро приближалась, а вместе с нею – и его прежний, старый мир, дом, дети, Мангал, Рива...

Он сначала упал и только потом услышал очередь, перебившую ему позвоночник. Попробовал вскочить и – не смог. Он перестал чувствовать ноги. Зато и боли не было тоже. Вилли с удивлением отметил этот отрадный факт. А, собственно, чему тут удивляться? – спросил он кружащего в небе коршуна, – ведь

смерть сильнее боли... Не было и страха. Он спокойно смотрел на подбежавших арабов и ждал.

«Что же ты наделал, глупец? – сказал бородач, глядя на него сверху. – Посидел бы неделю-другую в подвале, глядишь – и обменяли бы твою задницу на сотню-другую наших. А теперь – кому ты такой нужен?»

Нидадь что-то сказал по-арабски. Бородач неохотно ответил. Они начали спорить, размахивая руками, вознося вверх указательные пальцы и качая перед носом друг у друга сложенными в щепоть кистями.

«Торгуются», – подумал Вилли и перевел глаза на коршуна. Ему вдруг захотелось увидеть осла, и он изо всех сил скосил вправо, но не увидел ничего, даже кроны шелковицы. Теперь ему оставался только коршун. Ну и ладно, – подумал он и улыбнулся. Чего тут переживать; все равно, смерть сильнее всего. Арабы закончили спорить. Бородач вынул растрепанную пачку стошечелевых банкнот, отсчитал несколько штук и дал Нидадю. Тот сунул деньги в карман и пошел в сторону деревни.

Бородач снова посмотрел на Вилли и покачал головой. Видимо, какая-то новая мысль пришла ему в голову. «Йа, Нидадь!» – позвал он. Нидадь вернулся. Они снова начали спорить. Бородач совал Нидадю в руки виллин пистолет; Нидадь упорно отказывался, цокал языком и мотал головой. Наконец бородач вынул деньги. На третьей бумажке Нидадь сломался и взял «вальтер».

«Ну все, еврей, – сказал бородач. – Сейчас ты умрешь. Молись, если хочешь».

«Я не еврей», – сказал Вилли.

Бородач поморщился: «Зачем врать перед смертью? Если уж тебе все равно умирать, так хоть умри мужчиной. Молиться будешь?»

«Буду», – сказал Вилли.

Он вдруг ощутил совершенно точное знание важности, необходимости этой молитвы. Если бы только речь шла о последних в жизни и в адрес жизни сказанных словах – еще куда ни шло, можно было бы и опустить – столько разных, дурных и умных, слов было им переговорено, что малая эта предсмертная добавка не могла ни прибавить ни убавить ровным счетом ничего. Но в том-то и дело, что речь тут шла о *первых* словах. О первых словах, сказанных в адрес смерти, сильной смерти, держащей сейчас на коленях его непутевую, молитв не помнящую голову. И в этих словах была безусловная важность, ибо с них начинался его новый, неизвестный этап...

«Ну? – прервал бородач ход его мысли. – Ты уж извини, но со временем у нас туго. Вот-вот патруль приедет...»

«Сейчас, друг, – сказал Вилли. – Полминуты».

С молитвой была проблема. За исключением известных ему из книг двух загадочных слов «отче наш», Вилли не знал никакой христианской молитвы. Конечно, можно было бы сказать только два этих слова, но у Вилли имелись серьезные сомнения относи-

тельно «отче», которого он непроизвольно отождествлял с собственным, решительно не подходящим к моменту, батей...

«Ну?» – поторопил его бородач.

Вилли кивнул. Слова вдруг сами пришли к нему на язык.

«Шма, Исразль!» – сказал он и закрыл глаза.

Бородач кивнул Нидалю, тот поднял издававший виды «вальтер» времен Второй Мировой и выстрелил.

Потом они разошлись – трое хамасников быстро спустились в овраг к ждущему их там джипу; Нидаль отправился домой, в деревню. В кармане у него лежали тысяча двести шекелей. Это было много меньше обещанного, но даже так он мог закупить муки, круп и сахара на несколько месяцев вперед. А там, глядишь, и работа подоспеет.

14

Шломо сменился в восемь, когда уже стемнело. Он сразу же заскочил в караван – принять душ и переодеться. Надо было торопиться – Эльдад пригласил его на субботнюю трапезу, а это означало, что без него там за стол не сядут. Он вытащил из чемодана мятую белую рубашку и на скорую руку прошелся по ней утюгом. Потом отыскал кипу. Как и у всякого временного клиента, вспоминающего о кипе лишь по специальным поводам, она не держалась на шломиной голове, соскальзывала с волос и вообще вела себя чересчур самостоятельно. Шломо быстро и без удовольствия выкурил сигарету – просто, чтоб накуриться впрок, и, придерживая кипу рукой, вышел наружу.

Он успел в самый раз – люди уже выходили из синагоги – единственного каменного строения в Хореше, уставленной рядами обветшавших караванов. Люди останавливались на площадке перед входом, желали друг другу мирной субботы, не без труда собирали разыгравшихся детей, с криками и смехом носившихся вокруг, и, белея рубашками в темноте вечера, чинно отправлялись по домам, к накрытому субботнему столу. На востоке желтел огромный тыквенный диск луны; первые, самые яркие звезды весело подмигивали всякому, кто догадывался задраить голову вверх; Царица-Суббота тихо спускалась в мир с быстро чернеющего неба, величавая и нежная, как невеста.

Шломо увидел Эльдада – тот шел по тропинке от синагоги, рука об руку со своим старшим, мальчиком лет восьми, важно вышагивающим рядом с отцом. Преисполненный торжественности момента, он снисходительно, даже с оттенком некоторого презрения посматривал на младшего брата, вприпрыжку бежавшего следом, то и дело останавливаясь, чтобы получше рассмотреть встретившиеся на пути цветной камушек, странный осколок стекла или стреляную гильзу.

«Шабат шалом, Эльдад!» – сказал Шломо. – Шабат шалом, дети».

«Шабат шалом, Шломо!» – радостно отвечал Эльдад. – Знакомься, это мой старший, Двир. А этот бандит, что за мою спину

прячется – твой тезка, тоже Шломо. Ему – четыре года. Вообще-то у меня их пятеро, но ты сегодня увидишь только троих – Сарит и Моше гостят у моих родителей, в Кфар-а-Роэ... Но что ж мы стоим... заходи, дорогой, заходи...»

Эльдаду было на вид лет тридцать – тридцать пять. Среднего роста, крепко сбитый, с густой рыжей бородой колечками, он ступал твердо, говорил, не торопясь, четкими законченными предложениями, и вообще, имелась в нем какая-то неуловимая крестьянская повадка – и в неуверенном покое больших рук, все время как бы стесняющихся своего безделья, и в том, как он принюхивался к ветру, определяя, когда же, наконец, закончится хамсин; и в том, как он ощупывал землю, решая, включать ли уже драгоценный полив. Мечтой Эльдада было насадить виноградник на южном склоне Хореша, построить давяльню и делать вино, «не хуже, чем в Бордо».

Увы, нынешняя ситуация отнюдь не способствовала осуществлению его планов. В основном, он помогал Менахему в охранной его службе, получая за это мизерную зарплату и с трудом сводя концы с концами. Хорошо еще, что жена, Цвия, подрабатывала в местном детском садике, иначе пришлось бы им совсем туго, с пятью-то детьми. Впрочем, судя по неизменной улыбке на эльдадовом лице, эти проблемы не мешали ему жить в полном согласии с душою, Богом и сотворенным Им миром.

Они вошли в караван. Несмотря на то что, в каждой детали этого, по сути, временного жилища, начиная с крылечка, были видны отчаянные попытки хозяина хоть как-то облегчить и обустроить их нелегкий быт, отчетливый отпечаток безнадежно безденежной бедности лежал на всем содержимом этого крохотного трехкомнатного вагончика. На всем, за исключением праздничного субботнего стола, стоявшего посреди общей комнаты. Это был поистине царский стол! Роскошные серебряные подсвечники соперничали своим блеском с яркими язычками субботних свечей, отражаясь вместе с ними в слепящей белизне чудной крахмальной скатерти. По снежному скатертному полю бежали диковинные орнаменты, обгоняя друг друга и сплетаясь вокруг дорогих столовых приборов с затейливыми семейными монограммами. Сдержанным благородством мерцали фарфоровые тарелки. С ними спорил беспечный хрусталь высоких бокалов, легкомысленно гонявшийся за каждым, даже самым незначительным лучиком. Инкрустированный графин с вином сиял рубиновым светом; две пышные халы, покрытые вышитой накрахмаленной салфеткой, венчали это потрясающее зрелище.

Шломо не знал, что сказать. Он вдруг почувствовал себя неподобающе, чересчур скромно, одетым. Этот стол заслуживал, по меньшей мере, шелкового фрака и бриллиантовой булавки в тщательно повязанном галстуке.

«Шломо, садись, пожалуйста», – Эльдад указал на единственное в доме кресло.

Шломина неловкость еще более возросла.

«Эльдад, – сказал он смущенно. – Это же твое место... Может, будет лучше, если я сяду туда, на диван?..»

«Послушай, Шломо, – улыбнулся Эльдад. – Ты, как человек не совсем религиозный, не очень-то в курсе субботних обычаев... Для хозяина дома – огромная честь вернуться из синагоги к субботнему столу в сопровождении гостя». Шломо покорился.

«А еще с тобой пришли два ангела, – дернул его за рукав четырехлетний тезка. – Правда, папа?»

«Правда, правда, – ответил Эльдад ласково. – Молодец, малыш. Субботний гость всегда приводит с собою двух ангелов, и теперь они будут вместе с нами справлять нашу Субботу».

Из смежной комнатки, покормив и уложив младшую полугодовалую дочку, вышла Цвия, и все расселись вокруг стола. Хозяин дома освятил вино и произнес молитву над халами, преломив их и раздав всем по куску.

Батарея салатов сменилась фаршированной рыбой; затем подоспел бульон и тушеные овощи; курица уступила место телятине в кисло-сладком соусе; пирог и фруктовые десерты венчали это царское пиршество. Приступая к очередному блюду, Шломо не мог не думать о том, что, учитывая очевидную бедность хозяев, роскошь их субботнего стола могла быть достигнута только за счет жесточайшей экономии в течение всей остальной недели. В определенном смысле это выглядело нелепо... С другой стороны, он все больше и больше ощущал очарование этого праздника, удивительную одухотворенность, с которой родители и дети исполняли непонятный ему ритуал. Еда не была главной в этом процессе; скорее наоборот, собственная значимость и красота Субботы требовала и от еды соответствующего изменения, отличия от повседневного образца. Что же тогда было главным? Семья? Видимо – да. Ведь в течение недели каждый занят своей бесконечной текучкой – работой, домашними делами, уроками, ссорой с соседским Хаимке, построением замка в песочнице и его последующей охраной, заездом на трехколесных велосипедах, мечтами о собаке, погоней за кошкой... Где уж тут остановиться; хотя вечерами и сталкиваются друг с другом, как бильярдные шары на суконном поле, трудно назвать это общением – ведь все немедленно снова разлетаются по своим лузам.

Но вот приходит Суббота, и они снова вместе, начиная с общего дела подготовки к ее встрече и кончая торжественными проводами вечером завтрашнего дня. Они были вместе, они были одной командой, и, видимо, именно это чувство помогало им ощутить радость и спокойную осмысленность бытия.

И по вечной эгоцентрической манере человека сворачивать все на себя, Шломо подумал о своей уничтоженной семье, о собственной, развороченной, в руинах лежащей жизни. Ему вдруг остро захотелось остаться одному, выйти из-за стола в прохладную ночь, скупо освещенную луною, звездами и субботними окнами с колышущимися огоньками свечей, сесть где-нибудь в стооронке, закурить и соскользнуть в самый низ, в самую бездну от-

чаяния, где, как он точно знал, есть последний, крайний, уголок, отчего-то поразительно похожий на счастье.

Эльдад хлопнул его по плечу: «Ну, Шломо, что же ты не подпеваешь?»

«Слов не знаю», – коротко ответил Шломо.

Посидев еще минут пять, он стал благодарить хозяев, намекаясь уходить. Но Эльдад и не думал отпускать гостя. «Нет, Шломо, – сказал он решительно. – Ты не можешь уйти, прежде чем не поможешь мне решить один вопрос из недельной главы».

Шломо вздохнул. Взялся за гуж... теперь придется отрабатывать по полной программе... Он сделал последнюю попытку вырваться. «Ну что ты, Эльдад... Как я могу тебе помочь в том, в чем ничего не смыслю? Я ведь даже не имею понятия, какая именно нынче недельная глава. Ты уж уволь меня, неученого».

«Э нет, – продолжал настаивать Эльдад. – Ученые толкования мне и так известны – они в книгах записаны. Меня твое житейское мнение интересует, как человека свежего... А насчет главы – не беда, я тебе сейчас в двух словах расскажу. Да ты, наверное, об этом и сам слышал – про разведчиков...»

Шломо пожал плечами. Он и впрямь помнил эту известную библейскую историю о двенадцати разведчиках, посланных Моисеем из пустыни в Землю Обетованную – разузнать, что к чему и рассказать народу, только-только из Египта вышедшему, что его ожидает там, на конечной остановке.

«Слышал, – сказал он. – В общих чертах...»

«Я тебе напомню, на всякий случай. Разведчики вернулись через сорок дней. Десятеро из них принесли плохие вести – мол, хоть и хороша земля, но уж больно сильны тамошние народы – все, как на подбор, великаны, – не одолеть. Двое других пытались успокоить народ, говоря, что все будет в порядке, но народ поверил большинству, испугался и решил вернуться в Египет. За это Бог наказал их сорокалетним скитанием в пустыне – пока не вымрут все те, кто отказался исполнить Его волю...»

«О'кей, – кивнул Шломо. – Ну и что? Что тут неясно?»

«Видишь ли, согласно Танаху, десятеро говорили, что эта земля пожирает живущих на ней. Что ты об этом думаешь?»

Шломо почувствовал, что кровь приливает к затылку и сотнями мелких иголок покалывает изнутри. Он посмотрел на Эльдада, но тот внимательно изучал рисунок на скатерти. Что ж...

«Я думаю... – начал Шломо, не сводя глаз с хозяина дома, – я думаю, что даже двум оставшимся праведникам было нечего на это возразить».

«Это так, – согласился Эльдад, по-прежнему глядя в стол. – Когда Калев и Иегошуа возражали десятерым, они действительно говорили только о возможности одолеть местные народы. Тем не менее, слова о пожирании названы в Танахе клеветой».

«Что за чушь, – резко сказал Шломо. – Какая клевета? Взять хоть тебя, Эльдад. Таких, как ты и Цвия, называют «солью земли», и это, заметь, положительная характеристика. Для чего же

существует соль, как не для употребления в пищу? Употребления в пищу кем? Понятно, кем – землей. Соль – чья?.. Соль – земли. Так что съедят вас за милую душу. И не только вас – всех. Вот я, Эльдад, – простой неученый еврей; таких называют «ам а-арец», народ земли. Ты только послушай: «ам». Так говорят, когда хотят показать, будто что-то заглатывают – а-ам... и нету. И после этого ты еще утверждаешь, что эти слова разведчиков – клевета?»

Он остановился и перевел дыхание. Над столом повисла тишина. Эльдад молчал, дети испуганно смотрели на отца, Цвия, спиной ко всем, стояла, опустив праздные руки в раковину с грязной посудой. Шломо стало нестерпимо стыдно. Что он тут делает, в этом мирном, теплом гнезде, он, ошметок нетанийского взрыва, с головы до ног обвешанный кровавыми кусками того пасхального вечера? Еще ладно – Эльдад с дурацкими его вопросами, но при чем тут дети, Цвия? Уж их-то мог бы оставить в покое со своими людоедскими откровениями...

Шломо принужденно улыбнулся, ища способ исправить положение. «На самом деле, – продолжил он смущенно, – все это поедание – фикция. Когда человек умирает, его кладут в землю, и она как бы съедает его. Вот и все. И потом, что это меняет: поедает... не поедает?.. Разве для нас есть какая-нибудь разница?»

Счастливая мысль вдруг пришла ему в голову. «Вот скажи, Эльдад, насколько я помню эту историю, когда народ услышал о наказании, то все дружно раскаялись и хотели отмотать пленку назад – мол, прости нас, Господи, бес попутал, вот они – мы, на все готовые? Даже в бой полезли – сражаться за Землю Обетованную. Было такое?»

«Было, – ответил Эльдад. – Так оно и было. Поднялась часть народа на гору, думая, что тем самым исполняет волю Бога. Но Бога уже не было с ними. Поэтому разбили их враги, обратили их в бегство и гнали почти до полного истребления».

«Почему же такая жестокость со стороны Всевышнего? – спросил Шломо. – В чем их преступление? Почему то, что еще вчера было правильным, вдруг стало преступным сегодня?»

«Потому что божественная воля изменилась, – ответил Эльдад. – Потому что Бог уже назвал свой приговор – сорок лет в пустыне. Потому что, после этого приговора, пытаюсь влезть на гору, они снова грешили против желания Бога». «Вот именно! – воскликнул Шломо. – В этом-то и дело! Есть План, которому мы обречены следовать, так или иначе. Можешь лезть на гору или на стенку – все равно, против Плана не попрешь. То есть, переть-то можно, только Плана не изменишь, только лоб расшибешь. И логики тут никакой: ведь еще вчера лезть на гору было вполне правильным и божественно-корректным, а уже сегодня – дудки, получай по морде... А может и есть она, логика, да вот известна она только тому, кто План этот написал... Правильно?»

Эльдад пожал плечами. «Не знаю... Насчет логики – тут есть разные мнения, а вот по поводу Плана – вроде правильно...»

«Ну и ладно, – обрадовался Шломо. – Мне и этого достаточно. Какая тебе разница, что именно эта земля с тобой делает, если ты находишься в ней согласно Плану? Может, так и должно быть, чтобы эта, родная, обетованная земля тебя съела? Может, ты ей тоже обетован, как пища ее единственная? Может, помрет она с голоду без тебя? И ведь действительно, разве не помирала она без нас все эти две тысячи лет?»

«И потом – допустим, что пойдешь ты против Плана, как те, что на гору полезли. Допустим, скажешь: не хочу я быть ничьей пищей, я сам по себе, отстаньте от меня с людоедскими вашими претензиями... Только поможет ли это? Все равно ведь сожрут – чужие ли страны, пучина ли морская, волки ли в лесу... А то – и настоящие людоеды на заброшенном острове в Тихом океане...»

Шломо хищно оскалился, изображая тихоокеанского людоеда, и дети с готовностью рассмеялись. Напряжение спало.

«Шломо, – сказала Цвия. – Тебе надо в ешиву поступать. Из тебя рав получится – на загляденье...»

«Спасибо, Цвия, – поблагодарил ее Шломо. – Поздно мне этим делом заниматься. Вот тезка пусть учится». Он потрепал по затылку мальчика, распрощался с хозяевами и вышел на улицу.

Луна уже забралась высоко; в ее белом свете Шломо, не торопясь, шел к своему каравану.

План, – думал он. – План... План с большой буквы. Совсем как у Кагана, костлявого Старшего Мудреца в твоей нелепой бэрлиаде. Смех, да и только. Но ведь как все гладко получилось... И что интересно – никто доказательств не спрашивает – что Эльдад – живой бородач во плоти и крови, что выдуманный Мудрец Хаим в твоих же «урюпинских рассказах». Отчего так? Скажи людям, что входить они должны через переднюю дверь, а выходить через заднюю – потребуют доказательств, будут спорить до хрипоты, всю душу тебе и себе вытрясут, да и не согласятся в конце концов, разделятся на десяток партий, объявят смертельную войну, друг друга перебьют, двери эти злосчастные сожгут, но к согласию не придут. А скажи что-нибудь совсем нелепое, но таинственным, неведомым, Верховным Планом освященное, к примеру: завтра, согласно Плану, всем левшам-бухгалтерам – смерть, а одноглазым велосипедистам – бессмертие... и никто спорить не станет. Скатают аккуратно нарукавники и пойдут писать завещание.

А почему? Видели они этот План? Знают его автора? Шломо усмехнулся. Ну, относительно «урюпинских рассказов» все как раз так ясно. Автор «урюпинского» Плана ему известен. Ему, но не Хаиму. Хаим-то знать не знает, что сочинен этот таинственный План, как, впрочем, и сам он, Хаим, отнюдь не могучим и ужасным демиургом, а вовсе наоборот – затраханым литературным негром, двадцать центов за слово в базарный день! Ха!..

Хотя, на самом-то деле, если разобраться, то чем он, Шломо, не демиург, не создатель? Разве не властен он своею мощною

рукою над им же придуманным миром «бэрлиады»? Властен и еще как! Кого хочет – казнит, кого хочет – милует. К примеру, вот Дафна висит сейчас на волоске; от кого ее жизнь зависит, если не от Шломо-демиурга? Вот она, ее жизнь молодая, ее любовь сумасшедшая, вот они – телепаются на шломиной ладони, вот они – дергаются на ниточках, привязанные к уверенным пальцам Шломо-кукловода...

Он вдруг обнаружил, что давно уже стоит под фонарем, пристально глядя на свои руки с растопыренными пальцами.

– Э-э-э, Шломо, стоп, – сказал он сам себе. – Стоп, братишка. Ты говори-говори, да не заговаривайся. Так ведь недолго и в психушку загнать. Там, небось, полны палаты такими демиургами... Хотя с Дафной-то надо бы завершить. Нехорошо ее так оставлять. Какой там был План относительно Дафны?..

А был ли план? Честно говоря, плана не было; приступая к очередной порции «бэрлиады», Шломо никогда не представлял себе, куда именно завернет его сюжет. Конечно, предварительные наброски имелись всегда, но они столь часто менялись под давлением естественной логики событий, что называть их планом язык не поворачивался. Тем не менее, согласно этим предварительным наброскам, Дафна должна была умереть. Да-да... именно так он и планировал это тогда, вечность тому назад. И именно с этим он был категорически не согласен сейчас, стоя на Хореше, под фонарным столбом с болтающимися на нем луной и лампочкой. *Категорически...*

Ради такого дела вполне можно было бы написать еще одну главу... даже две. Конечно, она должна остаться жить, причем жить счастливо, встретиться с Бэрлом... какой-нибудь остров в теплом море... чемодан денег... как-нибудь уж выведет Шломо свой сюжет в нужную сторону. Демиург он, в конце концов, или не демиург? Вот только вопрос – как посмотрит на это Благодетель? Хотя, какое ему, Благодетелю, дело? Когда-то ведь это должно было кончиться? Пусть теперь ищет себе другого негра. Пожалуй, надо бы написать ему письмо – мол, примите, уважаемый неизвестный друг, последнюю главу «бэрлиады»; мне не хотелось бы, чтобы такое развитие событий показалось Вам неоправданным нарушением нашего соглашения; а потому, упреждая возможные упреки, отмечу, что денег мне с Вас не нужно, мне они сейчас ни к чему; за сим прощайте, с наилучшими пожеланиями, Ваш дядя Том.

И все. Шломо облегченно кивнул и оторвавшись, наконец, от фонаря, пошел к своему каравану. И компьютер тут найти не проблема – можно попросить у Менахема. А вообще-то, если честно, пора бы тебе, Шломо, сгонять в Мерказуху. И не только в Дафне дело – надо бы шмотки поменять, да и большая стирка не помешает. Заодно и Сеню повидать...

Сначала он увидел менахемский джип, стоявший с работающим мотором на площадке перед караваном, а уже затем и самого Менахема, бегущего к нему со стороны.

«Шломо, где ты ходишь? Я тебя везде ищу... Быстро – бери оружие и поехали. Быстро!»

«Что случилось, Менахем?»

«Вилли убит. Не стой столбом, собирайся, быстро!»

15

Они неслись по темному шоссе, и ошалевшие повороты ша-рахались от них в придорожный кустарник. После Нахлиэля Менахем нарушил молчание.

«Рива пришла домой в полвторого. Вилли не было. Она решила, что его срочно вызвали в Тальмон. Пыталась дозвониться; телефон не отвечал, но это еще ни о чем не говорит – здесь есть проблема с приемом... В шесть начала тревожиться всерьез, позвонила Якову; он ничего не знал. Взяла у Якова мой телефон. Я постарался ее успокоить, но на всякий случай сообщил центру связи. В восемь она позвонила снова – от Вилли ни слуху ни духу. Я спросил, есть ли что-нибудь конкретное, что особенно ее беспокоит? Она заплакала и рассказала про уголь и про этого араба из Умм-Цафы... как его – Нидаль? Тут уже я поднял на ноги весь район. Через полчаса патруль из Халамиша обнаружил его на въезде в Умм-Цафу. Мертвым. Очередь в спину и пуля в лицо. Суки...» Менахем ожесточенно плюнул в проносящиеся мимо дома арабской деревни Бейтилу.

«Суки! Суки! Как можно верить арабу? Арабский друг хуже двух гадюк... И вы тоже с Яковым хороши... могли бы уж объяснить ему, что почем, вместо того, чтобы шашлыки жрать на хляву. Что он понимает в нашем дерьме – немец...»

Шломо заплакал. На счастье, Менахем не мог видеть его лицо в темноте кабины. Минут через пять, на подъезде к Халамишу, Шломо приоткрыл окно, и ветер высушил слезы.

Перед Умм-Цафой шоссе было перекрыто. Менахем коротко переговорил с командиром блокпоста, их пропустили. Процедура первого опознания уже закончилась; Яшка, обхватив руками голову, сидел на придорожном камне. Шломо молча сел рядом. Сразу вслед за ними подъехал амбуланс, и санитары задвинули внутрь черный пластиковый мешок с тем, что раньше звалось «Вилли». По склону ходили люди, что-то искали, что-то мерили, что-то писали в маленьких блокнотах. Подошел Менахем.

«Яков, Шломо, пойдемте...» Они встали, не спрашивая зачем.

Деревня казалась вымершей; двери и ставни настороженно глядели на вооруженных людей и притворялись стенами. На улицах стоял густой запах горелого мусора. Шедший рядом со Шломо автоматчик в каске, совсем мальчишка, выругался: «Как на свалке... Хоть нос затыкай!»

«Привыкай, Коби, – откликнулся другой, видимо, постарше и поопытнее. – Это у них везде так. Мусор-то девать некуда. Раньше мы вывозили, а теперь – некому...»

На площади, перед наглухо запертой лавкой, остановились. Командир взвода достал карту и справлялся по ней, светя себе фонариком. «Если вам Нидаля, то это направо, – вдруг сказал Яшка. – Я его дом знаю».

«О'кей... – офицер свернул карту. – Показывай». Калитка была не заперта, и они беспрепятственно вошли в просторный двор.

«Окружить дом не хочешь? – подсказал командиру Менахем. – Не сбежал бы, сукин сын...»

«А куда он денется? – уверенно ответил офицер. – Деревня уже час как оцеплена – мышь не проскочит».

Он негромко постучал в дверь. Дом молчал, испуганно сжавшись и уйдя в себя. Офицер постучал сильнее.

«Открывай, падла! – крикнул Менахем. – Открывай, хуже будет!»

Офицер обернулся к нему, как на пружине: «А ну – отставить! Тут команду я, понятно? Вы здесь для опознания, так что отвалите в сторонку и помалкивайте. Понятно?»

Менахем угрюмо кивнул и отошел. Яшка положил ему руку на плечо, успокаивая: «Не гоношись, Менахем. Это ж парашютисты, белая кость. Были бы «голанчики», и разговор был бы другой...»

«Нидаль, – громко сказал офицер, обращаясь к притаившемуся дому. – На твоём месте я бы открыл. Ты же понимаешь, что мы все равно войдем, так или иначе. В твоих интересах, чтобы дверь при этом осталась цела. Тебя сейчас возьмут на допрос; как семья будет жить со сломанной дверью все это время?»

За дверью загремели засовы; затем она отворилась. Нидаль, в длинной галабии, стоял на пороге. Лицо его было спокойно.

«Зачем же ломать? – он приветливо улыбнулся. – Я и так открою. Извини за задержку, офицер. Спали мы; пока проснешься... сам понимаешь...»

«Нет проблем, – равнодушно ответил офицер. – Ты бы свет зажег, зачем на гостях экономить?»

«Какой свет? – усмехнулся Нидаль. – У кого есть деньги – за свет платить? При свечах живем...»

«При свечах, так при свечах. Бери-ка всю свою хамулу и выходи строиться во двор. Чтоб души живой в доме не осталось».

«Зачем, офицер? Дети спят, жалко. Да и что такое случилось, что вы меня среди ночи потрошите? Я слышал, убили кого-то рядом с деревней. Ну и что? Я-то тут при чем?»

Офицер покачал головой. «Это ж сколько вопросов, Нидаль... Не волнуйся, все тебе объяснят. В ШАБАКЕ допросы очень информативные... а уж следователи там объяснять умеют... любой вопрос – по косточкам, как говорится. Так что можешь смотреть в будущее с оптимизмом. А пока – выводите семью. Обыск будет в доме. Ничего не случится, если посидят пару часиков во дворе».

Обитатели дома начали выходить наружу. Их оказалось неожиданно много: младшие братья Нидаля, несколько древних старух и стариков, одного из которых вынесли вместе с лежанкой, женщины разных возрастов, множество детей, смотревших

на солдат со смешанным чувством ненависти и страха. У мужчин проверили документы и, связав руки за спиной, усадили вместе с подростками на землю отдельно. Они сидели молча, угрюмо потупившись. Вся их повадка свидетельствовала, что с этой процедурой они более чем знакомы. Женщины, напротив, что-то кричали, плевались, наскakивали на солдат, хватаясь за стволы автоматов. Младшие дети ревели в голос. Старики бессмысленно щурились в свете солдатских карманных фонарей.

Нидаля поместили отдельно от всех, сковав наручниками и замотав глаза фланелевой повязкой. Когда гвалт стал совсем невыносимым, офицер подошел к нему и сдернул повязку.

«Посмотри-ка на меня, приятель, – сказал он. – Пока что мы были с тобой друзьями, но если ты немедленно не пресечешь этот спектакль, то мы серьезно поссоримся».

Нидадь кивнул и что-то крикнул; шум прекратился как по мажовению палочки дирижера.

«Вот так-то лучше, – удовлетворенно хмыкнул офицер. – Экое владение оркестром! Может, ты и не Нидадь вовсе? Может, твоя фамилия Баренбойм?.. Да, кстати, мы ж тебя и не опознали-то по всем правилам...»

Он оглянулся, ища Якова и Шломо.

«Эй, ребята, давайте-ка сюда! Кто тут из вас его знает? Поговорите со старым приятелем...»

Яшка подошел и присел на корточки напротив связанного. «Привет, Нидадь, – сказал он. – Как жизнь?»

«Привет, Яков. Что, и тебя призвали на службу? Вилли тоже здесь?»

Яшка кивнул, изучающе глядя на спокойное и приветливое лицо Нидаля: «Угу... И Вилли здесь. Пока еще... Ты мне скажи, а то я запамятовал: как твою дочку зовут, ту, которую Вилли тогда от смерти спас? Хана?»

«Ханан, – поправил его Нидадь, не отводя глаз, все так же приветливо и открыто. – Да вон она сидит, там, со всеми».

«А-а-а... – протянул Яшка. – А теперь объясни...» Голос его вдруг сорвался, и Яшка не смог закончить фразы. Он опустил голову и некоторое время молча покачивался с пятки на носок, пытаясь овладеть собой. Шломо увидел, что незнакомый человек в штатском, пришедший вместе с ними и сейчас внимательно наблюдающий за сценой, придвинулся поближе, встав на расстоянии вытянутой руки от Яшки.

Тем временем Яшка справился с голосом. «А теперь, – попробовал он снова. – Объясни... объясни...» Какое объяснение он хотел получить, так и осталось неизвестным, потому что Яшка вдруг взвыл дурным страшным воем и, прыгнув на Нидаля, вцепился ему в горло. Но штатский был начеку. Он схватил Яшку за правую руку, офицер – за левую, и общими усилиями им удалось оторвать его от полузадушенного, кашляющего араба и оттащить в сторону. Яшка бился у них в руках и диким голосом выкрикивал угрозы и ругательства, мешая русский мат с ивритом и арабским.

«Ты что, парень, с ума сошел? – сказал ему штатский, когда Яшка, наконец, обмяк и перестал дергаться. – Хочешь из-за этого дерьма в тюрьму угодить? Ну, задушишь ты его... и что? О семье подумай...»

«Ты Вилли не знал... – как-то устало ответил Яшка. – Тебе не понять. А гнойнику этому поганому – не жить. Слышишь меня, ты, падла вонючая? Не жить тебе... Не думай, что, когда тебя через пару месяцев выпустят в связи с каким-нибудь «мирным процессом», будь он проклят... не думай, что ты тут свободно по земле ходить будешь. И гаденышей всех твоих передавим, до одного... у-у-у, змеиное отродье...»

Нидаль прокашлялся. «Эй, офицер, – просипел он, с трудом проталкивая слова через помятое горло. – Я требую, чтобы эти угрозы были записаны в протоколе ареста. Я свои права знаю...»

«Вы вот что, ребята, – сказал офицер. – Шли бы вы отсюда, от греха подальше. Опознать вы его, как я понимаю, опознали, причем даже на ощупь. Значит, больше вам тут делать нечего».

Менахем, Яшка и Шломо вышли со двора на улицу.

«Зря ты сорвался, Яков, – сказал Менахем. – Этот штатский – из ШАБАКа. Теперь, что тут ни случись – всё на тебя вешать будут. Еще и какое-нибудь «еврейское подполье» соорудят. Да чего там долго ждать – вот увидите, уже в завтрашних газетах будут заголовки: «Попытка линча на территориях» или «Армия спасает палестинца от самосуда поселенцев». Потом по радио полдня будут говорить об опасности правого путча, а правые депутаты будут извиняться и осуждать. И все из-за твоей глупости».

«Да я понимаю, Менахем, – тихо ответил Яшка. – Я ж как мог держался. Но когда они меня прямо напротив этой морды поганой посадили... тут уж я не смог. Ну не смог, ну что тут поделаешь... Ты ж не знаешь, чем для меня Вилли был...»

Они шли посредине неровной, в кочках и колдобинах, деревенской улицы, и скорчившиеся по обеим сторонам дома провожали их ненавидящим взглядом задраенных окон.

За деревней следственная группа сворачивала свое оборудование. Оцепление еще стояло; тут и там люди еще бродили с фонарями по склону и окрестным кустам, но большая часть машин и армейских джипов уже разъехалась. Яшка тоже засобирался. Он уже попрощался, даже сел в машину и завел мотор, как вдруг снова вышел и подошел к Шломо, ожидавшему Менахема около тальмонского джипа. Они крепко обнялись.

«Вот так... – приговаривал Яшка, прижав мокрую щеку к шломиной шее. – Вот так... Нету больше... Вот так...»

Потом Яшка уехал. Шломо мучительно хотелось курить, но свое курево он забыл в караване. Мало на что надеясь, скорее просто стараясь чем-то себя занять, он огляделся вокруг в поисках огонька сигареты. Увы... Но вот тот человек... Он снова вгляделся в массивную фигуру человека, сидевшего на том же придорожном камне, на котором сидел Яшка, когда они только при-

ехали. Где-то он его уже видел, этого мужика. Вот только где?.. Шломо усиленно ворошил память, но ничего не получалось. Подошел Менахем, и они тронулись в обратный путь.

«Что ты все молчишь, Шломо? – сказал Менахем. – По моему, ты за все это время ни слова не вымолвил. Нельзя так. Ты говори, неважно что, только говори. Слова, они пар выпускают. Яшка вон, – разрядился на всю катушку. Конечно, глупость он сделал со своей истерикой, но, с другой стороны – даже это лучше, чем твое глухое молчание. Прямо, как могила...»

Шломо кивнул.

«Да ты не кивай, ты говори! – закричал Менахем. – Говори!»

Шломо опять кивнул.

«Вспомнил», – сказал он твердо.

«Что вспомнил?»

«Да так, одного парня там встретил, все вспомнить не мог, откуда он мне знаком. А теперь вспомнил. Да ты смотри лучше на дорогу, а то и мы накроемся. Хватит смертей на сегодня... А за меня не волнуйся, Менахем, я в порядке...»

Шломо и в самом деле вспомнил. Он действительно знал этого парня; даже, можно сказать, знал превосходно, хотя и не встречались они ни разу в жизни. Это был Бэрл.

* * *

Это был Бэрл. И несомненный этот факт представлялся решительно невероятным. Какое он имел право появиться самостоятельно, независимо от воли Шломо, его создателя? Разве не он, Шломо, определял каждый шаг Бэрла, каждое движение, самый ритм его дыхания? Вопрос этот требовал немедленного прояснения. Тут Шломо возлагал особую надежду на обмен письмами с Благодетелем. Так или иначе, надо было как можно скорее добраться до компьютера. Когда? Назавтра намечалось несколько свободных часов в середине дня. Вот завтра-то все и выясним, – успокоил он сам себя. – А пока – спать; утро вечера мудренее...

Но сон не шел к нему. Раненое сознание мельтешило, не желая успокаиваться, подсовывало непрошенные образы; дорогие, любимые лица, странно искажаясь, мешались с какими-то незнакомыми, чужими, неприятными физиономиями, и все это крутилось в распухшей голове, то ускоряясь, то замедляясь, как приступы рвоты. Сердце тоже никак не могло найти удобный ему ритм – оно то пускалось вскачь диким невыносимым наметом, то вдруг съезжало на глухую неровную рысцу, пропуская удары, а то и вовсе пропадая на секунду-другую.

Поворочавшись с полчаса, Шломо встал, достал из холодильника бутылку водки, налил стакан и выпил разом, как воду, наслаждаясь отвратительным вкусом, с каждым глотком возвращавшим его в мир прочной и привычной стабильности. Потом он закурил и распахнул окно. В караван хлынул влажный ночной воздух, густо замешанный на молочном коктейле лунного

света. Сердце, смущенное столь массивной атакой, притихло, прикидывая, на что реагировать прежде – на водку, на сигарету или на избыток кислорода... В тревожном лунном мерцании еще мелькали тут и там давешние лица и козьи морды, но все реже, все расплывчатей, все дальше, пока не растворились окончательно в теплом водочном тумане. Шломо удовлетворенно кивнул. Теперь можно было возвращаться в койку. Он посмотрел на небо. Рваные массы облаков напозлали на луну; похоже, погода ломалась, завтра снова предстоял хамсин. Пора спать. Он повернулся и в ужасе замер. Сигарета выпала у него из рта и покатилась по полу, рассыпая искры на грязном линолеуме.

Огромная темная фигура заслоняла вход в его комнатенку.

«Ты бы поднял сигаретку, бижу... – сказал Бэрл. – Нехорошо, так ведь и караван спалить недолго. Этот асбест горит, как спичка. Даже выскочить не успеем...»

Шломо не шевельнулся.

«Экий столбняк на тебя напал, – ухмыльнулся Бэрл. – Ты уж извини, что я – без стука. К тому же ты и дверь не запираешь, так что удивляться нежданным гостям не приходится».

Он сделал мягкий неслышный шаг, поднял сигарету и аккуратно загасил ее в раковине. «Только не зажигай свет, бижу. Нам ведь и так светло, правда?»

«Правда... – дар речи медленно возвращался к Шломо. – И прекрати называть меня этим словом, жлоб».

«Ладно, не буду, – с готовностью согласился Бэрл. – Ты – Шломо, так? Шломо Бельский. А я – Михаэль. Будем знакомы». Он протянул руку.

«Слушай ты, жлобина, – Шломо цедил каждое слово. – Яйца ты будешь крутить хромой сестре своей прабабушки, когда они у нее вырастут. Михаэль... Фу-ты ну-ты... Зовут тебя Бэрл, ты проживаешь в Иерусалиме, в Гило, на улице Шамир и едешь на понтовом кабриолете BMW. А кроме того, я знаю о тебе все, включая количество родинок на твоей нахальной заднице. Так что прекрати разыгрывать агента 007 и переходи прямо к делу. Как ты здесь оказался и кто тебя послал?»

Бэрл выглядел озадаченным. Он несколько раз прошелся взад-вперед по комнате, затем взглянул на часы. «О'кей, – сказал он наконец и уселся на стул. – Извините меня, Шломо. Меня не информировали о степени вашей посвященности. Но, видимо, на это были определенные причины. Моей вины в этом нет, что делает ваш гнев совершенно неуместным. Вы должны понимать, что я всего лишь выполняю свои обязанности. Не более того».

И в самом деле, – подумал Шломо. – Он-то тут при чем? Что это я на него бочку качу? Он ведь всего-навсего курьер, черно-рабочий, посыльный на побегушках... «Вы правы, Бэрл, – сказал он вслух. – Извините меня за неоправданную агрессию. Конечно же, вы ни в чем не виноваты. Продолжайте».

«Ну, и слава Богу, – облегченно вздохнул Бэрл. – Согласно Протоколу, я должен показать вам кое-что. Мы выходим минут

через десять. Оденьтесь во все темное; обувь – что-нибудь помягче».

«Куда мы идем?»

«Это тут, недалеко. Не спрашивайте, сами все увидите».

Они вышли из каравана. Луна то скрывалась в медленно копошащихся облаках, набрасывая на гору непроницаемое черное покрывало, то высывалась в рваные прорехи, серебря их по краям и выхватывая из мрака горстку караванов, драный проволочный забор, комья кустарника, окаймляющие каменистый провал оврага. Шли, пережидая редкие светлые моменты, как бы играя с луною в прятки. На юго-западной окраине поселения остановились. «Смотри, – сказал Бэрл, – видишь тот распадок?»

«Конечно, – ответил Шломо. – Я к нему уже несколько ночей присматриваюсь. Один раз даже чуть не всполошил тут весь сектор – показалось, что кто-то там мелькает. Блики какие-то...»

«Блики, блики... – передразнил его Бэрл. – Ты уж меня извини, но с такими сторожами, как вы, нужно спать в стальном сейфе. И то не поможет – украдут... Вас ведь пасут, дураков. Там ведь, что ни ночь, араб лежит, а то и двое, смотрят на вас в бинокль... а то и в оптический прицел. Вот тебе и блики...»

«Откуда ты знаешь?»

«Видел. А скоро и ты увидишь. Давай-ка сюда, к стеночке. Слышишь – твой приятель шкандыбает. Тоже – «сторож»... прости Господи... Ты только посмотри на него... опупеть можно».

Теперь и Шломо услышал шаги одного из своих сменщиков. Эрез, резервист лет пятидесяти, медленно шел по патрульной тропинке. Автомат нелепо болтался у него за спиной на чересчур длинном ремне. В руке Эрез держал портативный радиоприемник; даже с расстояния в пару десятков метров можно было разобрать звуки программы «Ночные птицы. Беседы с радиослушателями». Загребая ногами гравий тропинки, Эрез прошел мимо и скрылся за поворотом.

«Ну, что скажешь? – возмущенно прошипел Бэрл у него над ухом. – В двухстах шагах лежит террорист, а этот хмырь даже по сторонам не смотрит. Ночная птица... Куда такие птицы годятся? Даже на суп не пустишь по причине преклонного возраста».

Шломо пристыженно молчал. Сам он немногим отличался от Эреза.

«А что ты предлагаешь? – сердито спросил он. – Ставить вместо нас элитных командос?»

Но Бэрл уже сменил тему. «Теперь слушай меня внимательно, Шломо. У нас есть примерно полчаса, пока эта развалина закончит свой круг. Хватит за глаза и за уши. Мы сейчас берем немного вправо и спускаемся туда, вон к тому камню. Главное запомни: ты идешь за мною, шаг в шаг, то есть делаешь в точности то же, что и я. Я пойду не быстро, так что успеешь без проблем. Понятно?»

«Нет. Ты так и не объяснил мне, какая у нас задача. С камнем я понял, а что потом?»

«Как это что? – удивился Бэрл. – Ну ты даешь... Снимем его потихоньку, заберем оружие и вернемся. Сам-то он нам ни к чему, а вот автомату его цены нет. Ладно, хватит базарить, пошли... значит, шаг в шаг...»

Они взяли в сторону и вышли на патрульную тропинку несколько западнее. Забор в этом месте был повален; Бэрл вытащил из кустов широкую доску и положил ее на кольца колючей проволоки. Еще пара секунд, и они уже спускались по склону вглубь вади, обходя справа злосчастный распадок. Шломо не испытывал никакого страха. Его вера в способности Бэрла была поистине беспредельной. Гм... Честно говоря, это было довольно таки странно, учитывая, что он сам же эти способности и изобрел... Но времени на раздумья не оставалось; он шел за своим ловким и бесшумным первым номером, всецело поглощенный задачей наступать на те же самые камни, хвататься за те же самые ветки, совершать те же самые экономные, уверенные движения. Через некоторое время Бэрл остановился. По его знаку Шломо присел под большой глыбой песчаника.

Он узнал эту глыбу; она стояла на краю распадка, именно с другой ее стороны видел он те позавчерашние подозрительные блики. Бэрл наклонился к его уху. «Сейчас мы с тобою поменяемся местами. Сделаешь еще полшага и выглядывай из-за камня. Он лежит с другой стороны, ногами к нам; увидишь его ботинки слева, в одном шаге от тебя. Давай».

Взявшись за руки, они бесшумно поменялись местами. Шломо осторожно выглянул из-за глыбы. В шаге от него, лицом вниз, неподвижно лежал человек. Судя по всему, он спал, положив голову на руки. Рядом угадывались автомат М-16, бинокль и еще что-то, возможно, прибор ночного видения.

Шломо сделал шаг назад и поманил Бэрла: «По-моему, он спит».

«Конечно, спит, – прошептал Бэрл. – Какова дичь, таков и охотник. Уж не знаю, в чем цель этого наблюдения, только большую часть ночи они дрыхнут без задних ног. Часика через два он рассчитывает проснуться и отправиться восвояси. Не думаю, что это у него получится».

«Как ты будешь его убирать?»

«Я? Я? – бэрлов шепот выражал крайнюю степень удивления. – Если бы я собирался его убирать, то, поверь мне, я сделал бы это давным-давно; во всяком случае, для этого мне не требовалось тащить сюда тебя со всеми этими ухищрениями... Его должен убить ты, Шломо. Ты. Вот этой самой штукой».

Он опустил руку к голени и вытащил короткий трехгранный стилет с небольшим шариком вместо рукоятки.

Шломо покачал головой: «Нет. Я не смогу».

«Сможешь. Он ведь не просто тут ночует. Он пришел убить. Он вчера убил Вилли. Он убил твою семью. Давай без истерик, Шломо».

Шломо протянул руку и взял стилет. «Как?»

«Во-первых, постарайся быть спокойным – я тебя страхую, так что бояться нечего. Во-вторых, иди осторожно, смотри только под ноги. Подойдешь к нему сбоку и присядешь на корточки на уровне лопаток. Наставишь острие под основание черепа, вот сюда... – Бэрл показал место. – И ударишь сверху, двумя руками. И все. Если ударишь хорошо, клиент умрет мгновенно и безболезненно. Всем бы такую смерть пожелал. Если промажешь, придется ему помучаться. Так что прояви человеколюбие... Йалла, вперед».

Шломо сделал несколько шагов и присел на корточки, сбоку от спящего араба. Он ощущал полное спокойствие; нет, не так... он ощущал себя Бэрлом – вот оно, точное слово! И это знакомое чувство определенно нравилось ему. Он помедлил – не потому, что боялся совершить убийство, а потому, что желал продлить этот момент полного владения собою, ситуацией и распростертым перед ним врагом. Бэрл тронул его сзади за плечо и показал на часы. Шломо кивнул. Он нацелил острие в заросшую курчавым волосом шею и ударил. Стиллет вошел по самую рукоятку; потеряв равновесие, Шломо ткнулся вперед, уперся коленями в тело араба и уловил его короткую предсмертную судорогу, мелкую дрожь конечностей, последнее, бессознательное трепыхание жизни, затухающие сигналы мертвого уже мозга...

Бэрл подхватил его сзади и помог подняться.

«Все. Возвращайся за камень. По дороге вытри руки об его штаны...»

Шломо посмотрел на руки. Они действительно были в крови.

Бэрл обтер рукоятку стилета воротом рубахи убитого. Затем он перевернул тело и быстро обыскал его. Два магазина к автомату... Пистолетик и патроны к нему... С таким арсеналом парень и впрямь мог позволить себе спать спокойно. Бэрл оставил пистолет, забрав только автомат и магазины.

Они вернулись к забору тем же путем.

16

Наутро Шломо проспал свою смену. Такого с ним еще не случилось. Сердитый Менахем, с трудом растолкавший его в половине девятого, отнес случившееся за счет вчерашнего потрясения, вызванного гибелью Вилли, и не стал его особо отчитывать. Наскоро умывшись и находясь еще в полубессознательном состоянии, Шломо искал кроссовки, не нашел, с отвращением натянул постылые армейские ботинки и, нахлобучив панаму, вышел сторожить. В голове было пусто до гулкости. Он ковылял по патрульной тропинке, щурясь на жаркое хамсинное марево и не глядя по сторонам. Думать решительно не хотелось, как не хочется открывать полученный по почте конверт, в котором не может ничего, кроме плохих либо очень плохих вестей.

Конверт... Конверт можно отложить; можно запихнуть его куда подальше, даже как бы нечаянно сунуть в мусорное ведро...

авось как-нибудь образуется, обойдет стороной... Но знание, которое Шломо носил в себе, оставалось при нем так или иначе, шевелилось в низу живота, поднималось вверх, неудержимое, как приступ тошноты. Сначала он вспомнил о Вилли, и это было ужасно. Вилли, Вилли, еврейский немец...

Есть такое понятие – недвижимость. Это то, что не движется и не двинется никогда, то, что прибито метровыми гвоздями, приковано пудовыми цепями – не оторвать. Это – точка опоры для Архимеда, то, что есть и будет всегда, во веки веков. Так вот, у Иерусалима есть недвижимость в душе любого еврея. Еврейскими душами жив небесный Иерусалим. Ему клянется своею десницею каждый еврейский жених. Его поминают евреи в своих молитвах. Об его камни высекается драгоценная искра вдохновения, живущая в еврейском сердце.

Но сколько их было, немецких евреев, поместивших родную Германию на то заветное место в душе, что по праву принадлежит Святому Городу? Миллионы... Ей, Германии, пели они свои песни, предназначенные Иерусалиму, украденные у него. Ей они отдавали божественное пламя своего таланта, предназначенное Иерусалиму, украденное у него. Ради нее они жертвовали самой своею жизнью, предназначенной для Иерусалима, украденной у него... Стоит ли вспоминать, что они получили взамен... да и много ли заработаешь, торгуя краденым?

И вот теперь – эта странная инверсия, еврейский немец Вилли, как маленький пфенниг, деликатно положенный старой фрау Германией на вторую, пустую чашу весов... О чем думал он в свои последние минуты, какими были последние его слова? Шломо покачал головой. Конечно, Вилли думал о Риве, о детях. А слова... Видимо, посылал их куда подальше, своих убийц; плевал в бородатые их морды, в их шеи, поросшие черным курчавым волосом... И тут в голове у Шломо вдруг рухнула последняя плотина, и все странные, страшные события второй половины прошедшей ночи хлынули в сознание, затопляя его, как наводнение затопляет замершую в ужасе равнину.

Он вспомнил Бэрла, сидящего на придорожном камне, Бэрла в караване, гасящего в раковине шломину сигарету, Бэрла, бесшумно скользящего с камня на камень, Бэрла, вытирающего рукоятку стилета, торчащего из поросшей черным курчавым волосом шеи... Он вспомнил себя, свою неожиданную ловкость, пьянящее чувство контроля, власти; он вспомнил предсмертный трепет зарезанного им человека, и этот трепет отозвался в нем сейчас тяжелым рвотным позывом.

Все это было слишком невероятным, чтобы быть правдой. Скорее всего, это был просто сон; ну конечно, это был сон... он просто заснул тогда, вернувшись с Менахемом и немного поворочившись в постели; все остальное, вплоть до утра, было всего-навсего порождением его дремлющего, пораженного виллиной смертью сознания. Приведя себя к этому выводу, Шломо испытал осторожное облегчение. Воистину, сон разума рождает чудовищ...

Но для полной уверенности надо было кое в чем убедиться. Быстрым шагом он направился к юго-западной границе поселения.

Склон лежал перед ним в иссушающей хамсинной жаре, экономно поджав листья кустарника и выставив навстречу палящим лучам безразличные бока камней, пустой и мирный, как всегда. Распадок и глыба песчаника справа от него тоже выглядели как обычно; над оврагом висела ленивая разморенная тишина, когда даже у мух нет никакого желания жужжать и вообще высовывать хоботок из тени; даже птицы попрятались от безжалостного солнца; все живое, затаившись, ждало вечера, чтобы вдохнуть, наконец, глоток чистого свежего воздуха вместо нынешнего сухого раскаленного выхлопа. Так что можешь успокоиться, Шломо: привиделись тебе ночные твои приключения. Пить меньше надо.

Он уже повернулся, чтобы уходить, и тут сердце его упало. Большая черная ворона с карканьем взлетела из распадка, снизу, и примостилась на глыбе, посовываясь боком туда-сюда, и резко топорща угловатые крылья. Ну и что?.. Подумаешь, ворона... Но тут Шломо вспомнил о кроссовках, которые он искал сегодня утром, да так и не нашел. Там, во сне, Бэрл заставил его выбросить эти самые кроссовки. Во сне ли? Шломо резко повернулся и направился к воротам. Сон... не сон... как в кино, ей-Богу... Хватит ходить вокруг да около – сейчас он узнает точно, что к чему. Он быстро пересек поселение, вышел за его пределы и спустился по шоссе шагов на двести. Справа, под откосом, в двух километрах по прямой, лежала арабская деревня Мазразль-Кабалия; слева поднималась отвесная пятиметровая стенка, поросшая снизу сухим колючим кустарником.

Шломо перепрыгнул через неглубокий кювет. Кустарник доходил ему до пояса. Шломо продирался к стенке сквозь путаницу упрямых веток, хватавших его за одежду, как женщины хватаются за уходящих на войну. Сердце его сильно билось – то ли от волнения, то ли от физического усилия в такую жару; за ушами стучало, пот заливал глаза. Внизу обнаружилась неширокая, заваленная камнями, горизонтальная расщелина. Шломо откинул ногою несколько камней, наклонился и пошарил под стенкой. Автомат был там. Автомат был в точности там, где они его спрятали этой ночью, неучтенный, немеченный, незаконный автомат с двумя полными магазинами.

* * *

Проехав Шилат, он повернул налево, в сторону Бейт-Хорона. Шломо ехал в Иерусалим, в Мерказуху, к компьютеру, к электронной почте, к последней своей надежде хоть как-то прояснить ситуацию, решительно вышедшую из-под контроля. Он просто не знал, как можно расценить необъяснимые события прошедшей ночи. Откуда он взялся здесь, в реальности, этот Бэрл, мифический, литературный персонаж, плод шломиного воображения? Почему он вдруг решил, что может управлять им, своим со-

здателем? Как он сказал тогда в караване?.. – «согласно Протоколу».

Протокол! Протокол Сионских Мудрецов... Экая бодяга, экая чушь! Не сам ли Шломо изобрел эти протоколы, этих мудрецов, для своей бэрлиады? Всех этих хаимов и каганов? Какого же черта они всплыли сейчас со своим Протоколом, самостоятельно и без разрешения? Стоп, Шломо, стоп. Если всплыл Бэрл, то нету никакой причины, почему бы не всплыть и прочим деталям «урюпинских рассказов». Кроме того, если уж быть точным до конца, то и сказка о «протоколах сионских мудрецов» изобретена совсем не им. Разве не существовала эта история задолго до него, скользкая, странная фальшивка, написанная так и не установленным автором, неведомо для каких целей?

Написанная так и не установленным автором? Погоди, погоди... Но ведь и шломина бэрлиада – для всех, кроме самого Шломо, – тоже написана неизвестным «кем-то»; ведь согласно договору с Благодетелем, Шломо заранее отказался от авторства и от попыток проследить судьбу своего опуса. Таким образом, текст был обречен на безотцовщину с самого рождения... Любопытное сходство... Кстати, откуда вообще возникла у него эта идея – использовать Мудрецов в качестве хозяев и заказчиков Бэрла? Этого Шломо не помнил. Слишком много времени прошло, да и как упомнишь, откуда родился литературный замысел? Возможно, толчком был случайный разговор с приятелем, а может, статья в газете, или – подвернувшаяся под руку книжка... Когда б вы знали, из какого сора... В одном Шломо не сомневался: Мудрецы действовали в его «урюпинских рассказах», начиная с самых первых страниц. Как знать, не этим ли и приглянулась шломина бэрлиада Благодетелю?

Сколько вопросов... Все они, конечно, представляли немалый интерес, но выглядели совершенно второстепенными по сравнению с главным, большим вопросом. Как получилось, что Шломо сам, собственной персоной, вляпался в этот непонятный расклад? То, что Бэрл и Мудрецы действуют теперь самостоятельно, необъяснимо, но еще куда ни шло: мало ли чего есть непонятного на этом свете? Но то, что они вовлекают в свою орбиту самого Шломо, выглядело пугающе, особенно в свете конкретных последствий вчерашней ночи. Почему он, Шломо, так безвольно подчинился им во всем, не задавая лишних вопросов? А может быть, там, в распадке, вместе с Бэрлом, действовал какой-то другой, незнакомый ему Шломо?

Он горько усмехнулся. Зачем себя обманывать... Вы и есть убивец, Родион Романович... А насчет подчинения... Сам же смеялся вчера, от Эльдада выйдя, над глупой склонностью человека верить во всякие Верховные Планы! Еще как смеялся... Ну как же – сам-то он себя тогда за демиурга держал, за того именно, кто Планы эти пишет! Только вчерашней же ночью превратился грозный демиург в обыкновенную пешку, в послушного статиста в чужом сюжете, почитаемом им до того за свой собственный...

Если разобраться, то в этой-то подмене и есть корень его возмущения; из-за этого-то вы и переполошились, господин Бельский, – обидно терять иллюзии, вот и все. Но ситуация-то, на самом деле, стара, как мир: каждого «Хозяина Собственной Судьбы» рано или поздно тыкает жизнь мордой в лужу, как нашкодившего кутенка – мол, очнись, парень, может, и есть тут Хозяин, да только не ты! Вот и Родион Романыч, к месту помянутый, тоже думал поначалу, что именно он – автор сюжета, а в итоге кем оказался? Статистом оказался, как и ты, дорогой Шломо. Так что не один ты в этом дерьме сидишь, успокойся и не гони такую волну – захлебнешься.

* * *

Город принял его ласково, виновато заглядывая в глаза, как бы извиняясь за недавнюю ссору. Но можно ли сердиться на Иерусалим? Шломо был рад встрече; он открутил вниз стекла своего драндулета и с наслаждением вдыхал знакомый горьковатый воздух. Не соблазнившись кратчайшим путем, он поехал вокруг, через Университет и Музей Израиля, с удовольствием останавливаясь на каждом светофоре, по-приятельски кивая каждому углу, камню и дереву, радостно вслушиваясь в особое, сдержанное звучание Города. Он возвращался домой.

Старая Мерказуха, как молодая Ярославна на башне, приветливо махала ему навстречу платочками развешенных на просушку простыней, рубашек и прочего нижнего белья. «Шломо... Шломо...» – перешептывались обветшавшие лестницы, шурша подошвами стоптанных шлепанцев.

«Да это же Славик! Славик!» – Сеня спешил к нему через улицу от продовольственной лавки. Два пластиковых пакета с миллионом пачек сигарет «Нельсон» болтались по обеим его сторонам, как тюки на вьючном животном. Подбежав к Шломо, Сеня бросил пакеты наземь, отчего несколько Нельсонов высыпались на асфальт, звеня орденами и треуголками. Они обнялись.

«Дай-ка посмотреть на тебя сблизил... – Сеня слегка отодвинулся, все еще держа Шломо за руки. – Худой... черный... здоровый... прямо Лоуренс Аравийский! Все? Вернулся?»

«Да пока нет, Сенечка. Приехал постираться, вещички собрать кое-какие, а заодно и тебя повидать... Как ты тут? Почему без сигареты?»

«Выпала! Была во рту, да как тебя увидел, так рот и раскрыл, не подумавши... Ну, пошли в дом, что ж мы тут стоим...»

Они собрали Нельсонов и пошли в дом. На своей площадке Шломо остановился.

«Сенечка, я сначала сюда, хорошо? Стирку заряжу, то да се... А потом сразу к тебе, ладно? Жди где-то через полчаса».

Квартира пахла домом. Шломо открыл балконную дверь и распахнул окна. Старенький компьютер включился не сразу, недоуменно пошумел застоявшимся диском, но в конце концов

сменил гнев на милость. Только теперь Шломо вспомнил о том, что счета за телефон вот уже три месяца как не плачены. Так что шансов попасть в Интернет было немного. На всякий случай он все же щелкнул по иконке. О чудо! Модем проныл свою монгольскую песню и подсоединился. Как же так? Неужели Сеня оплатил счета? Конечно, Сенечка, милый друг... больше никому... Шломо вошел в свой почтовый ящик и начал просматривать почту.

В основном, это был обычный мусор, который он удалял, не читая, ориентируясь на заголовки и имена отправителей: реклама, «выгодные» предложения разного рода, «верные» способы разбогатеть, всевозможные воззвания и прочая белиберда. Было несколько писем с соболезнованиями от друзей, разбежавшихся по всему миру: из России, из Штатов, из Европы. Ребята из «Вестника», отчаявшись связаться с ним по телефону, звали вернуться...

Письмо от Благодетеля было датировано вчерашним числом. Дойдя до этой строчки в списке писем, Шломо чуть-чуть было не стер ее по инерции. Ведь и в самом деле, нечасто баловал его Благодетель своими посланиями; собственно говоря, не баловал вообще. Первое письмо, то самое, начальное, с предложением работы, оставалось пока что единственным, если, конечно, не брать в расчет регулярные денежные переводы. И вот... Шломо смотрел на строчку, не решаясь щелкнуть по ней, чтобы раскрыть письмо. Он встал, закурил и прошелся по комнате. Надо же... причем именно вчера, в точности когда началась вся эта чертовщина!

Шломо подождал, пока голова начала кружиться от чересчур жадных затяжек, и открыл письмо. Там стояло:

«Уважаемый автор! Настоящим извещаем Вас об окончании наших договорных отношений. Примите наши наилучшие пожелания».

И все. Шломо перечитал письмо несколько раз, но, как ни читай, оно не содержало ничего, кроме трех нейтральных предложений. Никаких тебе объяснений, ничего, даже подписи никакой... Как поленом по морде. Уж хоть бы обратились по-человечески... Шломо... господин Бельский... как-нибудь... все-таки столько месяцев переписки, столько труда, столько текстов! «Уважаемый автор!» Вот же суки!

Шломо возмущенно щелкнул по клавише «Ответ». Он писал, исправляя, стирая и мучаясь над каждым словом.

«Уважаемые господа!

Принимая во внимание длительность и безупречный характер наших отношений, я не думаю, что заслужил столь пренебрежительное отношение к моей скромной персоне. Вы не заинтересованы более в моих услугах, и я ни в коей мере не оспариваю ваше несомненное право на это. В то же время я полагаю, что мой понятный интерес к прошлому и будущему использованию моих текстов является также вполне легитимным. Памятью

условия нашего договора, я не настаиваю на детальном описании. Но вы и не можете оставлять меня в полном неведении.

Меня вполне удовлетворяют несколько общих намеков. К примеру: «Ваши тексты печатались в газете». При этом вы можете не указывать, где и в какой газете. Либо: «Ваши тексты не предполагались быть напечатанными. Они призваны служить учебным пособием для начинающих писателей, как типичный образец бездарной бульварной литературы». И так далее. Я не думаю, что моя просьба чрезмерна. Нет нужды говорить, что я обязуюсь хранить ваш ответ в секрете, в полном соответствии с условиями нашего договора, в точности так, как я действовал по сей день.

С глубоким уважением,
Шломо Бельский».

Он отослал письмо, откинулся на спинку стула и закурил новую сигарету. Вот так. Коротко и с достоинством. А то что же — утереться и забыть? Ну уж нет. Интересно, что они ответят, бобики паршивые? И когда?.. Придется теперь время от времени заскакивать к Менахему — просматривать почтовый ящик. Шломо прошел в ванную и начал возиться со стиральной машиной. Компьютер звякнул, сигнализируя о получении нового сообщения. Что такое? Шломо вернулся в комнату. Почтовый сервер извещал о том, что не может доставить его письмо по причине отсутствия адресата. Указанный адрес неизвестен. Шломо обессиленно опустился на стул. Просить Менахема не придется; кем бы ни был неизвестный Благодетель, его прежний почтовый ящик более не существовал.

17

Распрощавшись с Сеней, Шломо собрался и сел в машину, намереваясь вернуться в Тальмон. Он миновал Малху и свернул на проспект Бегина. Ехал медленно, по крайнему ряду, в глубокой задумчивости ни о чем, не прислушиваясь к ночному бормотанию радио. Видимо поэтому он зазевался и свалился с шоссе направо вместо того, чтобы продолжить прямо, в сторону Рамота. В этом еще не было ничего страшного, если бы ближний объезд не перекрыли, как назло, из-за ночных дорожных работ. Досадуя на свою неловкость, Шломо поехал по большому кругу.

На перекрестке с Бен Цви надо было поворачивать налево, но зеленый светил прямо, и Шломо совершенно неожиданно для самого себя последовал воле светофора, продолжив вперед, на Рамбам, в Рехавию. Странное дело — хотя до того все его действия выглядели случайными, на узких улочках Рехавии он вдруг начал осознавать, что существует некая вполне определенная цель его нынешних блужданий. Делая правый поворот на Керен Кайемет, Шломо уже более или менее знал, куда ему.

Он припарковался почти под самой мельницей и прошел на смотровую площадку. День был труден, и он устал. Освещенные множеством прожекторов стены Золотого Иерусалима возвыша-

лись напротив. Справа светилась гора Сион. Спустившись от мельницы по блестящей в свете фонарей лестнице, он повернул налево и позвонил около одной из дверей. «Открыто!» – раздался скрипучий голос. Шломо толкнул дверь и вошел.

В большой комнате было прохладно. Книжные стеллажи до потолка окаймляли ее с трех сторон. Четвертая стена представляла собою огромное окно, обращенное к Сионской горе. Тяжелые портьеры были раздвинуты, и Гора сияла во всем великолепии ночной подсветки. Посреди комнаты возвышался огромный резной стол темного дерева; несколько жестких стульев с высокими спинками и два тяжелых кресла дополняли меблировку.

«Проходите, Шломо, садитесь, – произнес сидящий за столом старик, указывая в сторону кресел. – Я сейчас освобожусь. Минутку...» Он с видимым раздражением тыкал указательным пальцем в клавиатуру своего ноутбука: «Черт бы побрал эти компьютеры! Вечно не хочешь, да нажмешь что-нибудь не то... Вы знаете, Шломо, это просто выводит меня из равновесия. Помните, были времена старых добрых пишущих машинок? Они, по крайней мере, не нуждались в перезапусках по десять раз на день... Перезапуск! Слово-то какое изобрели...»

Старик был одет в клетчатый домашний пиджак и байковые бесформенные брюки на подтяжках. Высокий, худой, костлявый, с тонкими угловатыми руками, огромным крючковатым носом и длинными седыми прядями, зачесанными назад с высокого лысого лба, он походил на старую птицу-секретаря.

«Позвольте? – сказал Шломо, подходя к столу. – Я в этом кое-что понимаю».

«Пожалуйста, пожалуйста...» – Гавриэль Каган с готовностью отодвинулся.

Шломо начал щелкать мышкой, пытаясь вывести из ступора почтовую программу. Вроде бы после вчерашней ночи удивляться было уже нечему, и, тем не менее, он не мог отделаться от чувства нереальности происходящего. Он видел себя со стороны, как в кино, сидящим в доме им же придуманного персонажа, в то время как литературный его герой, во плоти и крови, нетерпеливо дышит ему в затылок. Ну не чертовщина ли? Шломо усмехнулся. «Наверное, надо перезапускать», – последовал робкий совет сзади.

«Не стойте над душой, Габи. Это займет еще минуту-другую. В общем, вы сами виноваты – не надо было давить на все клавиши подряд. В вашем возрасте следовало бы быть намного терпеливее».

Старик раздраженно хмыкнул. «Молодой человек, я был бы вам очень обязан, если бы вы называли меня Гавриэль. Наше недолгое заочное знакомство еще не дает вам права...»

Шломо расхохотался. «Недолгое?... заочное?...» Ну и наглец! Это он мне, своему создателю, папаше, можно сказать...

Он набрал в грудь воздуха, намереваясь выложить нахальному старикану все, что он о нем думает, да так и застыл с приоткрытым ртом, глядя на монитор выпученными от изумления гла-

зами. Компьютер, высвободившись наконец от длинного ряда противоречивых команд, взмахнул длинной гривой закрывающихся окон и, прогнав по экрану несколько невнятных текстов, остановился на одной из входных папок почтовой программы. Папка именовалась «Шломо Бельский» и содержала – строчка за строчкой – все главы шломиной «бэрлиады», расставленные в хронологическом порядке, с первой по последнюю.

«Эй, Шломо! Что с вами? – Каган осторожно потряс его за плечо. – Что случилось? – он взглянул на экран. – В чем дело? Чего-нибудь не хватает?»

«Вы... вы... – выдавил из себя Шломо. – Вы были получателем текстов?»

«Ну конечно. Я думал, вы сами догадались, оттого и пришли. – Каган пожал плечами. Суставы сухо щелкнули. – А что же, по-вашему, я имел в виду, говоря о нашем заочном знакомстве, если не эту переписку? Кроме этого мы с вами, вроде бы, не имели случая встретиться...»

«Где тут у вас туалет?» – спросил Шломо. Он вдруг ощутил острую потребность сунуть голову под струю холодной воды.

Когда Шломо вернулся в комнату, старик уже снова сидел за столом, по-птичьи выцеливая клавиши ноутбука.

«Послушайте, Шломо, – сказал он, не поднимая головы. – Я вынужден просить вас перейти к делу. Мое время, увы, сильно ограничено. Вы ведь хотели что-то выяснить, не так ли?»

«Хотел – не то слово, – хмыкнул Шломо, усаживаясь в кресло. – Давайте начнем с текстов. Как я сейчас понимаю, они с самого начала не предназначались для публикации?»

Каган пожал плечами.

«Отчего же? Конечно, правильнее было бы назвать применение ваших текстов реализацией. Мы их, скажем так, претворяли в жизнь. Но это ведь тоже, в определенном смысле, – публикация... Как автору, вам жаловаться не на что...»

«Хорошо. Тогда объясните для начала: почему вы использовали именно меня? Не могли найти кого-нибудь получше? Зачем вам эта бульварщина, эти пошлые шпионские страсти, всемирный заговор и прочая белиберда? Это ведь так низкопробно... Ну ладно – я... я и писал-то эту бодягу для Урюпинска, долларов ради. Но вы-то про какой-то План с большой буквы толкуете».

Старик рассмеялся. «Зря вы так недооцениваете Урюпинск, Шломо. Вы, возможно, полагаете, что истинная реальность отображается Толстым или Фолкнером. Ошибка, молодой человек. Реальность – это именно Урюпинск. Жизнь намного ближе к бульварному роману, чем к «Войне и Миру». Она проста до невозможности. Люди действуют согласно элементарным схемам, причем вариантов – раз, два и обчелся. Так что ваши упражнения нас вполне устраивали. До поры до времени».

«До поры до времени? Когда же я перестал вас устраивать?»

«Э-э-э, так не пойдет, Шломо. Вы же знаете ответ; не делайте наш разговор скучным».

«Я перестал вам подходить, когда превратился в участника, – сказал Шломо. – Когда уже не мог больше производить бульварщину. Так?»

Каган кивнул. Они помолчали.

«Как хотите, Гавриэль, но все это выглядит совершенной фантазмагорией. Получается, что вы пишете мировую историю руками рядовых, случайных людей. При всем роскошном демократизме данного подхода, он выглядит невозможным на практике. Судите сами – реальные события непрерывны, следуют одно за другим сообразно определенной логике. А у вас? К примеру, вот меня вы уволили без выходного пособия. А есть ли у вас гарантия, что ваш следующий, случайный литературный негр продолжит начатую мной линию точно с того же места, где я ее оборвал?»

Шломо развел руками.

«Нет у вас такой гарантии, и быть не может. Это во-первых. Во-вторых, как можно полагаться на свободную волю случайного борзописца? Он ведь вас по своей прихоти в такие дебри завести может... Как же тогда План? Или нет его вовсе?»

Мудрец презрительно фыркнул. «Что за чушь вы несете... Вы знаете, Шломо, этот вопиющий набор глупостей говорит о том, что мы рановато с вами расстались. Вы мне еще лекцию по диалектическому материализму прочитайте, для полного комплекта. Какая свобода воли? О ком вы это, о себе? Перечитайте-ка со-творенный вами шедевр: сплошные штампы, избитая пошлятина, сотни раз читанные перепевы... Свобода!.. Вон там, в прихожей, зеркало висит, сходите туда, посмотрите на себя, чтобы в чувство придти. Вы же из заранее проложенных желобков ни разу не выскакивали – ни в жизни, ни, тем более, в писаниях ваших! Свобода воли!.. Фу-ты ну-ты...»

Каган издевательски покрутил кистями рук. «Поверьте мне, дорогой мой писатель, в неизведанные дебри вам никого не завести. Прежде всего потому, что нет туда тропинок, а вы ведь без тропинок – никуда. Так что прихотей творца, как вы изволили выразиться, опасаться не приходится. А за План не беспокойтесь. Откуда ж, по-вашему, все эти тропинки с желобками взялись?»

«Это во-вторых, – насмешливо продолжил он, передразнивая шломину интонацию. – А во-первых, не надо так волноваться за столь дорогую вашему сердцу непрерывность истории. Ваш приемник пишет на удивление похоже. Как и все ваши предшественники. Желобки-то те же... Есть, конечно, мелкие нестыковки, но кому они мешают? Главное, чтобы План не страдал. А что именно произойдет в дальнейшем с вашей несчастной сексапильной студенткой... кого это волнует?»

«Меня волнует, – твердо сказал Шломо. – Меня волнует. Такой уж я дуболом, дешевка базарная, грош за пучок. Вы уж, ваше высокобольшество, извините меня, букашку несмысленную. Где уж мне понять ваших Планов громадье? Ваших помыслов шаги сажень? Одна у меня просьба нижайшая к вашему благородию – не давите шагами этими меня, червя недостойного, во пра-

хе пресмыкающегося. Мне, дураку, лишь бы пожрать, да выпить – и вся недолга... но жить, тем не менее, хочется. И другой букашке я тоже сочувствую – что делать, по одной тропинке ползаем, по одному желобку, как вы справедливо заметили. Так что волнует меня дальнейшая судьба несчастной сексапильной студентки, которую зовут, между прочим, Дафна; да, как видите, и имя у нее имеется – вот ведь какая деталь несущественная...»

«Прекратите этот балаган, – прервал его старик. – Обидеться изволили? Только при чем тут я, уважаемый? Я, что ли, ее убивал? Я, не вы? Кто ее, по-вашему, раздавил, эту букашку? Вы и раздавили. Вы и есть убивец, Вячеслав Ефимович. Так что оставьте, пожалуйста, вашу истерику».

«Как вы можете меня обвинять? – закричал Шломо. – Разве я знал, что речь идет о живых людях? Разве я знал, что все это – вправду?...» Он осекся и замолчал.

Каган печально покачал головой.

«Конечно, не знали, – мягко сказал он. – Только вряд ли это вас утешит. Видите ли, Шломо, вас с детства учили, что слова – шелуха, в лучшем случае описывающая реальность, а в худшем – искажающая ее. Но это не так. Слова – это и есть наша реальность. Реальностью называется то, что названо, не более того. Вещи и предметы начали свое отдельное существование с того момента, как Адам дал им первые имена. Так и вы – дали имя своей Дафне, дали ей имя и пустили жить, как рыбу в аквариум. Впрочем, этим ваша ответственность и ограничивается. Дальше от вас мало что зависело: помните? – желобок...»

Шломо кивнул. Его слегка мутило, хотелось на свежий воздух.

«Идите, – сказал Мудрец. – Мне надо работать. Приходите на следующей неделе».

Шломо вышел в иерусалимскую ночь.

18

«...в иерусалимскую ночь». Вот ведь закрутил! N. удовлетворенно прищелкнул языком и закрыл крышку ноутбука. Всего месяц он связан с таинственным работодателем, а уже послал ему несколько вполне объемистых посланий. И, соответственно, получил свои несколько сотен евро за каждую посылку. Но разве только в деньгах дело? Он работал больше за интерес; его самого отчаянно занимала эта история, невесть как зародившаяся у него в голове и теперь регулярно выплескивающая свои невероятные события на белый лист компьютерного экрана. Видимо, это и называется вдохновением – когда пишется как бы само по себе, когда не надо вымучивать события, придумывать людей, строить сложные планы.

Поначалу он еще придерживался всех этих глупостей классического писательства, как положено, по сорбоннскому учебнику. Сюжетная линия... прорисовка персонажа... речевая характеристика... Но тщательно расчерченные в блокноте схемы немедленно

но разлетались на куски уже на втором абзаце. Герои повествования, стоило им только открыть рот, начинали нести полную отсебятину, не имеющую совершенно никакого отношения к заранее заготовленным текстам. И ведь, что интересно, получалось совсем неплохо... Так что теперь N. садился за клавиатуру, не имея ни малейшего понятия, куда именно заведет его сюжет.

В этом-то и заключалась вся прелесть ситуации. Конечно, у него и в мыслях не возникало никаких претензий на литературную славу. Да и можно ли было назвать это сочинительством, принимая во внимание странный, почти медиумный характер всего процесса? N. предпочитал видеть в себе не писателя, а, скорее, первого читателя некоего захватывающего триллера. Если за это еще и деньги платят, то надо быть полным болваном, чтобы отказаться. К тому же и гордиться, в чисто литературном отношении, было особенно нечем. По совести говоря, получалась-то чушь собачья, однодневка, низкопробная беллетристика; хорошо ли серьезному человеку ставить свое имя под такой белибердой? Гонкуровскую премию за нее определенно не дадут.

Слава Богу, из природной осторожности он скрыл с самого начала свое имя под нарочито нейтральным псевдонимом N. Хотя никто не может поручиться, что тексты печатаются именно под этим псевдонимом. Да и печатаются ли вообще? И если да, то – где? Условиями договора ему запрещалось интересоваться подобными вопросами. Ну и ладно... какая разница? Небось, тискают где-нибудь на Мартинике в местной воскресной газетенке. Тема все-таки модная во все времена, как стройные ноги, – зловещий заговор, власть над миром, таинственные протоколы сионских мудрецов... Такое всегда продается.

Надо бы, конечно, как-нибудь и самому в Израиль выбраться; не все же газетами да Интернетом пробавляться. Однажды он там уже был, в сохнутовской поездке для старшеклассников, но, по молодости лет, не запомнил ничего, кроме одуряющей жары и вулканического кибуцного траханья. Сейчас бы самое время обновить впечатления. Не то, чтобы была в этом какая-то производственная необходимость – для Мартиники и так сойдет... просто самому интересно – осмотреть, наконец, виденные только на карте места.

Ведь сюжет еще только завязывается... Скажем, Нидаль может вернуться из тюрьмы, освобожденный, допустим, за согласие сотрудничать с ШАБАКом. Зачем его возвращать? Ну как же – надо ведь как-то пускать в ход припрятанный на Хореше автомат, а иначе – что он там попусту в расщелине ржавеет? А дальше? То есть, Нидаля мы, конечно, оприходуем, но что Нидаль – мелкая птица... А может, оставить Бэрла стрелять, а Шломо перевести в Мудрецы? Ведь, если разобраться, то в Мудрецы ему сейчас самая дорога: один, без семьи, никаких обязательств ни перед кем... разве что Сеня... ну да от Сени можно как-нибудь избавиться, не проблема...

Жена позвала его из столовой. Время было выходить к обеду.

Ури Цви Тринберг

ТУЧИ НАД ЕРУСАЛИМОМ

В СТРАХЕ ПРОРОЧЕСТВА

Ещё облака не дышали ни тенью, ни дымом,
и разум у важных персон пребывал во младенчестве мнимом,
а я пророчил великую скорбь:
– Тучи над Ерусалимом!

Ещё воспевали пииты олений рассвет
и винограда звёздные кисти,
а я предрекал, что дождёмся бед
мы, по воде плывущие листья.

Откуда безумие это взялось?
Когда, как рубашку с горя,
себя душа раздирает –
пророчество в ней закипает.

Гибельный плач в себе я несу – губы сухи и веки,
беженец на войне, осколок большой родни.
Сердце моё сгорело, угли во мне одни,
их не погасят и полноводные реки.

У братьев моих, у колодца их была бы жажда утолена,
они же горькою влагой излили жалость
и к морю свернули: взошла луна,
и серебро на волнах колыхалось...

Вот оно – горе, что я предвещал!
Вот носилки – погибших проносят мимо!
Зачем эта скорбь? Страданье зачем – ведь я
всё это выплакал в уши Ерусалима!

Вот сборище беженцев, их – что грибов!
Вот покинутый дом, сожжённая нива!
Вот бесчестье друзей, что достигли преклонных годов,
как деревья бесплодные Тель-Авива!

Нет избавленья. Галут и здесь.
Изгнанник в Сионе, как всюду, слаб...

О, горе! Там – только крест,
здесь же – крест и араб!

И вот уже вирши на каждом углу строчат
про горе-беду, чернильные слёзы стекают,
живые слова на устах погибают.
Скверна на всех – с головы до пят.

Так слушайте их, славословят они и сейчас,
от ваших грудей, как младенцы, неотделимы.
Вчера ещё небылицы они рифмовали для вас,
застилая бумагою бездну Ерусалима...

Их напев колыбельный так сладко был спет,
а сегодня для них легко исполнимо
всё то, что слагал накануне суровый поэт,
криком крича у ворот Ерусалима.

Ночь... Зачем виноградники небосклону?
Спокойны выси, тихи, далеки.
Я на ваши глаза кладу по закону
обломки пророчества, как черепки...

*Вы все поколением мертвых представляете моим глазам
ещё до того, как яму вырыли вам.*

31 марта 1930

ПРОРОЧЕСТВО У ВОРОТ

Тучи над Ерусалимом и отблеск меча на них.
А вы, словно кроты, зарылись в тоску,
лежите – щека к щеке со своею болью,
уже не согреется сердце памятью про мечту.
Встаньте же, выходите из ваших домов, палаток, барачных
и поднятыми руками, как языками огня,
горести запалите – тряпье,
напитанное слезами горючими ваших сердец!
Встаньте же, соберите витающих в облаках
и библейское солнце зовите –
Державе во славу!
Молитесь о чуде... Не погибло оно по зачатию, –
ещё живёт глубоко в крови!
Туча не пропадёт, если её не зажечь,
не выглянет солнце,
если тьме не рассечь.

Не было чуда и нет, если его не позвать:

Выйди на свет!

Но если вы сами глыбами стали, если печаль из камня впитали,
вас и такими народная совесть найдёт.

Плечи, которым Державу было назначено вознести,
враг пометит клеймом дезертиров,
а солнце вас покарает
тоскою глубоких морщин,
глазами, лишёнными взгляда.

И лагерь военнопленных вас ожидает
вместо победного марша и ликованья парада...

И если не вспыхнут кедры, то пламя падёт на камни.

1928

Перевел с иврита Яков Лах

ПРАВДА ТОЛЬКО ОДНА

Ваши мудрецы учат: землю покупают за деньги;
Кто заплатил и воткнул лопату – тот и хозяин.
А я говорю – землю не покупают за деньги,
А копать можно и могилы!

А я говорю – землю завоевывают кровью.
И лишь земля, освященная кровью,
Принадлежит народу.

И лишь тот, кто следом за пушкой идет по земле,
Сможет потом вслед за плугом пойти
По обретенной земле.

И только такая земля родит настоящий хлеб,
И свят дом, построенный на такой земле:
Ибо она полита святой кровью.

Ваши мудрецы учат: Мессия придет через много веков;
Без огня, без крови возродится Иудея
С каждым посаженным деревом, с каждым построенным домом.
А я говорю – если вы с е й ч а с
Не сделаете все, чтобы ускорить его приход,
Не пойдете в огонь со щитом Давида,
Не промчите коней по колено в крови –
То Мессия и через века не придет
И Иудея не воскреснет!

И станете вы живой данью для врагов,
И любой лиходей подожжет ваш дом,
И плоды оборвет, и дерево срубит,
И безнаказанно вспорет вам брюхо,
И младенец и юноша будут равны
Перед вражьим мечом...
И останутся вам одни пустые слова –
Целая библиотека свидетельств вашего позора!

Ваши мудрецы учат: у всех народов одна правда –
К р о в ь з а к р о в ь – а у евреев другая.
А я говорю, что правда едина и неделима,
Как нет другого солнца и другого Иерусалима!
В книге Моисея, Иисуса Навина, царей и героев
Записана эта правда, источенная
Жизнью в изгнании и предателями.

И наступит день, когда юноши наши встанут
От Нила до Евфрата и от моря до Моава
И вызовут врагов на последний бой,
И кровь рассудит – кто единственный хозяин этой земли.

1936

Перевела с иврита Рахель Торпусман

КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЭТА РЕКА?

Быть может, Евфрат,
быть может, Яркон,
а может быть, Иордан,
или даже Ручей Крокодиловый, может быть.
И если напьюсь из источника,
что течет по полям среди всходов,
вспомни, душа, что ты
когда-то в раю из него пила.
И черпали из него
чистые сестры мои,
те, что исчезли, не знаю куда,
верхом на черных ослицах.
И была в их телах жертва тех поколений,
и в душах у них было золото сущего в те времена.

Перевела с иврита Инна Винярская

Аркадий Красильщиков

КИБУЦ ЭСТЕР ФАЙН

В красивом месте она живет – на восточном берегу Кинерета, напротив Тверии. Как поселилась здесь 51 год назад, так и живет.

Кибуц был когда-то рыболовецким. Теперь и молочное стадо коров имеется, и табун лошадей, и пахотные земли, и рощи финиковых и банановых пальм.

Живет Эстер в маленьком доме старой постройки. Никакой роскоши, кроме отличной библиотеки.

Кроме всего прочего, Эстер еще и сержант Красной армии. Вот о войне с фашизмом она и начинает свой рассказ:

«Чердаков совершенно не помню – только подвалы под руинами. Три года одни трубы над пепелищами в деревнях и города с черными провалами окон.

Руины и смерть человеческая. Сколько несчастных бойцов перевязала, скольких похоронила... Санинструктор – такая работа. До Берлина не дошла, за год до конца войны оказалась в положении. Рожать отправили в Москву. Родила Арье на Крестьянской заставе, был там роддом. Отец моего ребенка успел своего сына увидеть только раз, а через два месяца погиб.

В столице было страшно. На фронте не боялась обстрелов, снарядов, мин, бомб – все это было в порядке вещей. Работа такая – война – свое дело нужно делать... Не приведи Бог, конечно, какая работа, но рядом – свои, знакомые лица. Ничто так не роднит людей, как война.

Сколько лет прошло, а всех помню – погибших и живых. И пока сама жива, буду помнить. А там, в роддоме, испугалась одиночества. К соседкам приходит кто-то. Передачи разные несут, питание... Но дело не в лишнем пайке. Со всеми кто-то разговаривает, со мной – никто. Все кому-то нужны. Я – никому. Значит, и мой ребеночек тоже. И относились ко мне по этой причине с полнейшим презрением. Никому не интересно было, кто я и откуда. Как воевала, сколько у меня наград... Быть одиноким, бездомным, никому не нужным человеком – вот что страшно.

Был там один доктор – Иван Яковлевич, хромал он сильно и на один глаз ничего не видел. Так он с утра «санитарный» обход делал. К каждой тумбочке подходил для проверки доброкачественности пищи. Особенно ему нравилось передачи «дегустировать». Однажды моей соседке принесли большую плитку шоколада. Иван Яковлевич отломил дольку, сжевал, еще одну в рот отправил, потом еще одну... Помню ужас в глазах той роженицы: неужели весь шоколад слопает? Нет, половину плитки оставил... Так вот, к моей койке этот «проверьальщик» никогда не подходил. Похромает мимо и только сквозь зубы процедит, шаржируя мой еврейский акцент:

– Эстер Боруховна, ви еще здесь?

Роды были очень тяжелые, а потому отправили меня на поправку, как бездомную, в санаторий матери и ребенка, в Расторгуево. Красота в Расторгуево была неописуемая. На горе усадьба с большой застекленной верандой, роща березовая, внизу река.

На фронте я не знала, что такое настоящий голод, – в санатории и об этом узнала. Мне тогда один сон каждую ночь снился: сковорода с жареной картошкой и кусок хлеба. Короткие сны были в ту длинную войну, короткие и простые...

Была в окружении под Старой Руссой. Двойное окружение, хуже не бывает: вокруг кольцо немецкое, а сами фашисты тоже в окружении частей Красной армии. Тогда впервые увидела, как страшно люди умирают голодной смертью. Похлебку ели из червей. Я проглотить такое не могла. А старшина орал, что городские чистоплюи не признают пищу, где жиры настоящие и витамины. Прямо смех и слезы, но, опять же, не было страха. Все было ясно. Мы от своих отрезаны. Пробьемся к ним, будем сыты.

А тут, в этом санатории, и пробиваться некуда. Один страх и обреченность. Воровали в этом Расторгуево страшно. На кухне молоко разводили водой: сиротам до полной синевы, а грудничкам при матери голубенькое давали. Сироты умирали один за другим. Кто сказал, что под пулями и снарядами жить страшнее, чем иной раз в тылу?»

...Делаю вид, что хочу пить... О том ли мы говорим? Сколько этих самых военных рассказов уже было. Меня же интересовал удивительный, во многом уникальный, путь Эстер Файн в Израиль – и только... И вдруг понимаю: Эстер не знала Россию. Она из Люцина (Лудзи) – старого еврейского городка в Латвии. Меньше двух лет была в том городке советская власть. Фронт – тоже не Россия. Точнее, далеко не вся Россия. Подлинное лицо империи Сталина она увидела, только попав в роддом. Всякий долгий путь, подобный решительному отрыву, нуждается в оправдании. Одной идеи мало. Чтобы понять, куда ты пришел, нужно знать точно, откуда ты вышел... Я был готов слушать Эстер дальше.

«У меня молоко пропало, и Арье мой заболел. Шура там была, соседка по комнате, сама худощавая, а в грудях – как у козы хорошей. Она своего ребенка кормила и еще одного за пайку хлеба. Шура мне и говорит: «Давай, Малькова (девичья моя фамилия), твоего попробую выкормить». Я ей свою пайку «за кровь» отдавала. Это в Расторгуево гемотерапией называли. Сдавала каждый день по 20-30 граммов крови, а за это получала лишний кусок хлеба. Так что первенец мой моей же кровью буквально вскормлен, но больше, конечно, молоком той русской женщины – Шуры. Он жизнью ей обязан. И забыть об этом я права не имею... Потом было много на пути моем людей: кто хотел погибели нашей, а кто прямо из могилы вытаскивал. Так и шли по краю, над пропастью: кто толкнет, кто руку протянет... А было и другое.

Помню тетю Паню. Работала она в том санатории. Такая ласковая, заботливая. Сироток, подкидышей, не только кормила, но и мыла, вшей вычесывала, одевала в чистое... И все с песней, с улыбкой, теплым разговором. Только один раз смотрю – эта Паня сидит на кухне и молочко для своих сирот тоже водой разбавляет. Я не выдержала.

– Тетя Паня! – кричу. – Ты тоже?!

Она на мой крик и нервы отвечает спокойно:

– Глупая ты, Малькова. Ежели сирота помрет, никто по нем плакать не станет, а если моя Любка, которая голодная в дому сидит, умрет, я еще ой как заплачу.

Я не знала, что на такие слова ответить. Повернулась и ушла...

Рядом с усадьбой нашей были парники, а там и огурцы выращивали, и помидоры, и, говорили, даже клубнику. Но всего этого мы не видели. Все забирало начальство из Наркомздрава. Это начальство к нам часто ездило с инспекциями разными. Красивые были женщины, одеты чисто, богато, туфли имели на каблуках. Нас они ругали, что мы неряшливо выглядим и белье плохо постирано. А нам-то даже мыла не давали, и одежды у нас никакой тогда не было, кроме юбки с гимнастеркой да сапог коротких из кирзы. Вот начальство нас ругает, а мы, фронтовички, молчим, на попреки не отвечаем, глаза прячем. Там, под огнем, ничего не боялись, а здесь вроде как виноватые перед властью, что с войны ушли, живы остались и дите родили.

Мой Арье снова тяжело заболел, не помогло грудное питание. Тогда меня обратно в Москву отправили, в больницу Пирогова. Очень оказалась хорошая больница по тем временам. Там хотя бы никто молоко не разбавлял до полной синевы. Уход оказался преданный....

Арье скоро выздоровел. Пора было и мне уходить в самостоятельную жизнь – а куда? В Латвии, в родном Люцине, никого в живых не осталось. Всех фашисты убили. Это я знала точно. Значит – совсем я одна в целом мире, и никому ни я, ни ребеночек мой не нужны.

На фронте встретила одну знакомую из наших мест. Она была преданная коммунистка еще в Латвии, при Ульманисе, но это в ней уживалось с хорошим отношением к людям. Она ко мне пришла в ту больницу в самый нужный момент и сказала так:

– Этька, ты никуда не едешь, только в Латвию, к моим родителям. Они уже там, и у них есть квартира в Риге. Договорились?

Что я могла ответить? В армии мы были подруги родные, ровня. Мы делали одно общее дело. А куда я поеду к незнакомым людям как несчастная, бездомная просительница? Но у меня на руках был сыночек мой, и я решила гордость свою отставить...

Нужно было справки собрать разные. Пошла я по инстанциям. Помню, в одной конторе объявление висит: «Прием от 8 до 12». На часах уже восемь. Стучу в окошко. Открывают.

– Вам чего?

– Уже восемь, – говорю, – вы принимаете?

– Станьте в очередь!

Я говорю:

– Я – первая. Нет очереди.

– Подождите, пока будет! – и стук – окошко закрыто.

Ладно, вооружились мы с Арье всеми бумажками и приехали в Ригу. Так просто сказала: приехали. В автобус или поезд сесть было совершенно невозможно. Одной рукой прижимаю к себе сыночка, в другой узел ташу. Помню, на одной посадке, в толпе жуткой, в давке, девочка такая, лет двенадцати, мне говорит:

– Тетя, давайте я вам помогу? Вам так не сесть. Узел-то дайте.

Я ей и отдала свое барахлишко. Пробилась в вагон, а девчонки той жалостливой и след простыл. Хорошо, ехала я с одной подругой, знакомой по фронту. Она тоже была с ребенком. И поделилась со мной самым необходимым.

Приехали мы в Ригу ночью. Декабрь, тихий снег, луна... Был у нас еще один адрес в Риге и письмо по адресу от подруги-фронтовички. Мы решили сначала туда отправиться. Нашли извозчика с несчастной клячей, собрали последние гроши. Повез он нас, быстро приехали.

Поднялась я с Арье на второй этаж, а подруга со своим ребенком внизу осталась. Стучу. Долго стучала. Наконец, спрашивают:

– Кого надо?

– Письмо от дочери с фронта, – говорю, – откройте, пожалуйста.

Дверь открылась. Письмо у меня взяли, а дверь снова закрыли. Я стою и жду с ребенком на руках. Долго так стояла, потом опять решилась постучать.

– Что еще? – спрашивают.

– Мы бы хотели зайти... Там в письме... Подруга сказала...

– Ночью никого не пускаем, – говорят. – У нас не топлено... И вообще...

Слышу, шарканье за дверью, уходит человек. Я в темноте так и не поняла, кто это был – мужчина или женщина? И вот стоим мы перед чужим домом, зимой, в мороз, с грудными детьми на руках, без копейки денег среди ночи, и не знаем, куда идти и что делать?

Вдруг стук, открывается форточка на первом этаже. Оттуда голос:

– Господи! Две женщины с детьми на улице! Что вы тут делаете?

Я и рассказала, что пришли мы по адресу, принесли письмо от подруги, но нас в дом не пустили. Сказали, что не топлено.

– У нас топлено, – говорят из форточки. – Заходите.

Стыдно, не помню, как звали мать и дочь в той русской семье. Только такой заботы и ласки давно мы не знали. Нашелся у них рис, и молоко было. Детей накормили, сами поели. Никогда не забуду глубокую тарелку с борщом и кусок ситного хлеба...

Легли спать прямо у печи горячей – и не знаем, где мы: на земле или в раю. Засыпаю и думаю, кого нам судьба послала: может, людей, а может, и ангелов?

Не смогла я тогда этих людей-ангелов отблагодарить, как надо бы. Даже слов хороших в благодарность мало сказала. Но решила в память о них, что в моем будущем доме всегда будет «топлено» для любого, кому нужна помощь.

Дня через два мы с подругой расстались. Она нашла своих родных, а я стала жить у Тальбергов – родителей другой моей подружки-коммунистки.

Они латыши были и приняли меня хорошо. Я по хозяйству все, что в силах было, помогала, но сколько можно сидеть на шее у чужих людей, да еще с малым ребенком... И потом... Чистим мы как-то с хозяйкой картошку, она мне и говорит: «Этька, я хорошо вижу – ты любишь своего сына. И потому ты должна понять, что вырастить его лучше русским. Не хочешь русским, хоть цыганом, только не евреем.

Никто евреев не любит. Не одни немцы им смерти желали. Зачем тебе делать своего мальчонку несчастным? Ты мне нравишься. Я тебе правду хочу сказать в глаза. Нет вам, евреям, места на земле».

Ничего ей тогда не ответила, но с тех пор неуютно мне стало в том доме. И тут повезло: нашла работу медсестры в детском доме. Была там заведующая Стелла Моисеевна – еврейка из России. Вот она – прямо передо мной: кривоногая, большие роговые очки, очень некрасивая и вспыльчивая ужасно, ругалась последними словами, но персонал-то у нас был – одни латышки. Не знали они, как правило, русского языка. Я переводила, все конфликты старалась смягчить. Была чем-то вроде буфера. Директор понимала это и ценила меня очень. Арье был при мне, и работала я на две ставки.

На первую зарплату решила сшить обновку. Вспомнила наконец, что я все-таки женщина еще не старая. Появилась у меня одна знакомая из «бывших», – дама пожилая, высокая, с гордым и красивым лицом. Знала она лучшие времена. И была у ней бархатная шубка с лисьим воротником. И хотела она ее продать. Я и купила ту шубку на все деньги, что у меня были. Шубка мне стала – как пальто. Из воротника выкроила себе еще и шапочку, и заказала сапожки у знакомого мастера. Надела я все это – и будто родилась во второй раз. Вот тогда я и поняла, что моя война, наконец, кончилась. Как-то сразу перестала я быть заброшенной, несчастной и одинокой. Вышла я к людям в обновке – и почувствовала себя совершенно неотразимой.

Директор наша, как меня увидела в новом наряде, так, видно, сразу и решила, что быть простой медсестрой для меня слишком мало, и говорит мне:

– Вот тебе, Малькова, книжка «Марксистско-ленинское воспитание подрастающего поколения». Будешь у нас психологом. Езжай пока за игрушками. Вот накладная.

Обрядилась я в свою красоту, поехала. Заказала игрушки, иду обратно. И вдруг в центре Риги встречаю свою школьную подругу из Люцина. Это было – как родную сестру встретить. Обнялись, расцеловались. Говорим на идише и не можем наговориться.

Скоро стемнеет, холодно, а мы все говорим. Вдруг она меня спрашивает: «Эстер, если кто-нибудь поинтересуется, хочешь ли ты уехать в Эрец-Исраэль, что бы ты ответила такому человеку?»

Я ей на это говорю:

– Лея, я в армии прошла и голод, и кровь – и заставляла себя не думать о еде и смерти. И я заставляю себя не думать об Эрец-Исраэль вообще. Чем мне это поможет? Перестань спрашивать глупости.

– Ну, а все-таки? – упрямо продолжает допрос Лея.

– Я бы ушла сейчас с ребенком на руках, пешком, за тысячи километров, – вот что я ей сказала, очень разозлившись.

Лея на мой тон не обиделась. Дело в том, что еще до войны у нас в Люцине была сильная молодежная организация сионистов. Кто-то из парней прошел войну, вернулся живой и продолжал начатую работу. Действовали они нелегально и многих уже отправили в Эрец-Исраэль.

Через несколько дней я иду на встречу с таким парнем. Оказался он мальчишкой совсем молоденьким, и говорит мне так:

– Ты можешь уехать через месяц?

– Могу. Только у меня проблема – ребенок. Как его забрать из детдома? Нужны документы.

В то время, сразу после войны, с места нельзя было тронуться без разрешения. Парень говорит:

– Мы тебе обеспечим билеты куда надо и новые документы. Подумай сама, как забрать ребенка и как вырваться из Риги.

Сказал он это и исчез, будто его ветром сдуло.

Была у меня фронтовая подруга – Нинка Сергеева. О ней можно целую книгу написать. Удивительный был человек. Какой верности и героизма – не передать...

Я знала, что работает Нинка секретаршей у министра здравоохранения Латвии. Прихожу, обнялись, и Нинка сразу спрашивает:

– Тебе что нужно, Малькова? Говори прямо.

Я не стала рассказывать зачем и почему, только объяснила, что мне необходимо выбраться из Риги в Литву, в Вильню.

Нинка так внимательно на меня посмотрела и говорит:

– Теперь мне понятно, куда исчезли некоторые наши врачи.

Я молчу, что тут скажешь. А Нинка моя Сергеева уходит в кабинет министра (его тогда не было на работе). Возвращается с печатью. Садится за машинку и пишет мне удостоверение на поездку в Литву, для знакомства с устройством детских домов в Вильню.

Как вольную мне выписала... Нет уже на свете моей Нинки. Светлая ей память.

Но как забрать Арье? Если его взять, будто бы на прогулку, и не вернуть вовремя, за мной погоню устроят. Сумасшедшей Стелле Моисеевне я довериться не могла: у нее брат работал в НКВД. Совсем я растерялась. И тут решила рассказать все начистоту одной нашей сотруднице по фамилии Коган. Ночью, на дежурстве, все и рассказала этой молодой женщине. Помню ее лицо и глаза. Огромные глаза, и бледной она стала, как стена, у которой сидела. Помолчала наша доктор немного, а потом сказала только три слова:

– Как я вам завидую.

У этой Коган муж, морской офицер, жив остался. Она – врач с дипломом. Ребенок у нее был замечательный, квартира отличная в центре города. И она мне позавидовала!

Эта «завистница» и придумала, что мне делать. Нужно фиктивное письмо, что мой погибший муж оказался жив, и вызывает меня с ребенком к себе, в Ленинград.

Я тут же передала этот план ребятам из организации. Она, организация эта, «Бриха» называлась.

Скоро я получаю это фальшивое письмо. Читаю, знаю, откуда оно, а слезы сами так и капают. Пишет мне незнакомым почерком мой павший смертью храбрых муж, что искал он меня долго: все эти полтора года после нашей разлуки. Вот узнал, наконец, где я и сынок его – Арье. Очень нас любит, ждет, зовет к себе... У меня даже безумная мысль появилась, а вдруг это настоящее письмо. Я же знала, что у людей после ранения почерк может измениться. Вдруг не убило моего любимого. Сколько случайных похоронок получали люди в то

время... Жутко мне стало, и поняла я, что не смогу это письмо отдать Стелле Моисеевне. Обязательно чем-то себя выдам.

Никогда не умела врать. Попросила доктора Коган отдать письмо нашему директору. Та прочитала письмо, вызвала меня. Глаза строгие, холодные за роговыми очками.

– Малькова, ты что сдурела, мать твою перемать! Ты веришь мужчинам? Где он был раньше столько времени? Не верь ему. Приедешь в Ленинград, он тебя в чужом городе бросит. Что будешь делать? А здесь я тебе карьеру сделаю. Комнату выбью отдельную. Ты способная, станешь специалистом высокого класса.

Стою я красная от стыда, чуть не плачу. И снова меня доктор Коган выручила.

– Стелла Моисеевна, – говорит, – нельзя рушить чужое семейное счастье. Все-таки отец у Арье нашелся. Не о Мальковой нужно думать, а о ребенке. Каким он вырастет без отца? Дети наши – вот что главное.

Вижу, глаза нашей страшили потеплели.

– Ладно, – говорит она. – Езжай, дуреха ты ненормальная. Только помни: есть у тебя место, куда вернуться в случае чего.

И началась моя настоящая дорога в Эрец-Исраэль. В Вильно нас с Арье поселили на нелегальной квартире. Там была мастерская фальшивых документов. Арье тогда уже на ножки вставал и умел вести себя тихо, незаметно. Живем мы, ждем, когда можно будет дальше двинуться. Однажды оставили меня одну. Ушли все организаторы нашего исхода. Что-то там случилось непредвиденное. Мне было строго сказано в соседнюю комнату, где мастерская, не заглядывать.

Поздно вечером вдруг стучат в дверь, и так сильно, властно. Открываю – милиционер.

– Кто такая? Почему без прописки?

Я тут же предъявляю все свои документы липовые. И главную, спасительную бумагу от моей Нинки. Только вызов фиктивный к отцу Арье показать не решилась.

И говорю что-то, говорю, от страха не могу остановиться. Что-то про мужа сказала.

– А где ваш муж? – спрашивает.

– Скоро придет, – говорю. – Мы – недавно из армии. Муж пошел искать работу, но что-то долго его нет. Я даже беспокоиться стала. Вы знаете, как литовцы наших режут...

Тогда он говорит:

– Муж вернется – сразу ко мне, в отделение, в любой час. Не придете, утром наложу арест.

Ушел. Понимаю – надо бежать. Но как? Всегда полно было на это квартире народу, а тут – пусто. Арье давно и крепко спит. А я бегаю по комнате из угла в угол. Слава Богу, пришла девушка из связников. И меня этой же ночью перевели на другую квартиру, а из прежней успели до утра перенести все печати и приспособления с бумагами. Утром туда нагрянули с обыском, но нашли одни голые стены.

Живу на новом месте. Люди приходят и уходят, а я все жду. Мне говорят, что многие границу переходят нелегально. А как тебе с ребенком, а вдруг придется бежать? Жди... И тут началась репатриация

польских евреев, после того, как поляки бросились добывать тех, кто уцелел в Холокосте. И решили меня переправить в Польшу с новыми документами, чтобы оттуда и ехать в Эрец-Исраэль.

Сделали меня полькой – Брайной Шраер и без труда переправили вместе с Арье через границу. В Польше тоже тогда были у власти коммунисты, но без особого опыта слежки и террора.

«Джойнт» тогда еще работал. Решила я однажды получить от них посылку. Стою в очереди. Меня соседка спрашивает:

– Ты кто? Откуда?

– Из Кракова, – говорю. – А зовут Брайна Шраер.

Тут она как раскричится.

– Это я Брайна Шраер из Кракова!

Убежала от той дурехи. От американского шоколада пришлось отказать. Поняла тогда, что таких, как я, с фальшивыми документами, много. Забавная история. Улепетываю, а та идиотка вопит мне в спину:

– Это я Брайна Шраер! Я!!

Все было тогда и веселое, и печальное. В длинной дороге всегда так.

Тут у организации нашей появился шанс переправить в Эрец-Исраэль группу беспризорных детей: 80 мальчишек и девчонок. Не хватало, как обычно, *мадрихим* – воспитателей. Предложили эту должность мне, и я сразу согласилась.

Работа оказалась очень тяжелой, но и крайне важной. Ребята были совсем запущенными: ругались, курили, воровали. Девчонки... Ой, да каждый знает, что такое беспризорщина в войну. Мы с этим трудно-воспитуемым народом и пели, и плясали, и учили их разным наукам. Терпели драки и воровство. И все им говорили, что едут они в страну необыкновенную, где родились давным-давно их предки, где земля течет молоком и медом, и никто не ворует, не ругается и не дерется. Я и сама тогда верила во все это. Была впереди цель, путеводная звезда – потому и дорога казалась преодолимой.

Дети на глазах становились другими. Все-таки наши, еврейские дети... Не знаю, может, мне это только казалось. Просто мы привыкли к ним, а они к нам... Мы часто встречаемся, и бывшие беспризорники смеются, рассказывая мне о своих проделках в том, 1947 году...

В Польше нашим ребятам особенно негде было разгуляться. Там нас ненавидели люто. Мы своих подопечных даже из дома не выпускали. Была у нас даже охрана: чахоточный парень с ружьем.

Мы знали о случаях, когда группы, вроде нашей, были полностью уничтожены, вырезаны до последнего человека.

Однажды, в марте, на Песах, и у нашего дома собралась толпа. И какая-то полячка кричит, что мы у нее дочь украли. Толпа гудит, а несчастный наш сторож стоит с ружьем у запертой двери и дрожит от страха, как лист осиновый поздней осенью...

Тем временем камни стали кидать в наши окна. Мы детей положили на пол и не знаем, что делать. Вдруг вижу – на углу нашей улицы стоит танкетка, а в ней взвод красноармейцев с пулеметом. Был у нас мальчишка, самый шустрый. Я его и послала с заднего крыльца к танкетке. Он добежал. Видим – объясняет командиру, что у нас начался погром. Командир развернул свою машину и двинулся на тол-

пу. Поляки ему кричать стали, что жида у них ребенка похитили. Командир остановил машину и говорит:

– Кто мать? Давай со мной. Если найдем у них твоего ребенка, они ответят по законам военного времени.

Умницей тот командир оказался. Мать вышла из толпы, поднимаются они на крыльцо, а тут крик – нашлась ее дочка... Плохо бы все кончилось, если бы не тот командир – простой русский парень. Мне тогда показалось, что он на Сергея Есенина похож...

Из Польши перевезли нас всех в Германию. Нам нужно было миновать советскую и английскую зону, чтобы попасть к американцам. Беспорядочникам нашим это удалось, а нас с Арье снова задержали. Пришлось двигаться кружным путем. Из Польши мы пробрались в Чехию, оттуда в Австрию.

На границе австрийской вот что было. Стою у контрольного пункта, держу Арье за руку, в другой, как обычно, мешок с нашими шмотками и его ночной горшочек – очень важная вещь. Перед нами барьер. Все стоит смирно. Вдруг мой сын вырывает свою ручонку из моей руки и смело проходит под барьером. Нагибаться ему не нужно было. Вот он ушел вперед и топает дальше. Тут все евреи закричали:

– Ой-вей! Смотрите! Ребенок перешел границу!

Тогда чешские солдаты махнули на меня рукой и разрешили бежать за моим Арье. Ну, как же – ребенок ушел без мамы и горшка.

Но в Австрии мы застряли надолго. Командовали там англичане, а они ставили тогда препоны на пути в Эрец-Исраэль. Там, в лагере, был порядок, было чисто, но кормили нас плохо.

Однажды приехал в лагерь знакомый из нашей организации «Бриха». Он должен был повезти дальше группу спекулянтов. Богачи эти проводникам платили большие деньги, а деньги были нужны нашим ребятам, чтобы собрать в дорогу новых репатриантов. Да и на подкуп пограничников нужны были большие средства. На всех границах брали с нас деньги и нажились на нашем пути в Эрец-Исраэль еще как.

Так вот, посмотрел этот парень, как мой сынок подбирает во дворе всякие крошки. И говорит:

– Не могу видеть, как вы тут голодаете. Готовься, я тебя повезу вместе со всеми.

В ту же ночь был транспорт с одними спекулянтами. В то время мы все были оборваны до последней степени, а эти купались в золоте и мехах. Тащили за собой фибровые чемоданы, полные барахла. Женщины были разодеты, словно королевы. Мужчины – будто на бал собрались. И вот они все расселись в кузове под тентом. И я влезаю туда со своим Арье и узлом драным. Поздно, ребенок голоден, плачет. Тут эти спекулянты стали шуметь, чтобы меня высадили. А тот парень им:

– Эта женщина из Эрец-Исраэль – наша связная. Или она поедет с вами, или не поедет никто.

Они и притихли. Двинулся грузовик, и мой Арье заснул. На рассвете подкатили мы к советской зоне. Опять барьер. Стоим в очереди машин, проводник нас предупреждает:

– Полное молчание. Вы все здесь греки. НКВД идишь хорошо понимает. Всем держать язык за зубами.

Что делать – молчим. Все ясно. Вчера мы были австрийцами, сегодня – греки. Греками мы прибыли в Западную Германию, в американскую зону. Я нашла своих беспризорников, и там мы прожили несколько месяцев и даже школу свою открыли, более-менее благоустроенную.

Мы делали все возможное, чтобы занять чем-то детей в этом городке Розенхайм, потому что и здесь было опасно выйти в сам этот город. Немцы в те послевоенные годы были не лучше поляков. Очень мы за наших детей боялись... Наконец старших наших воспитанников переправили в Италию, а младших, со мной во главе, во Францию.

Вот французы приняли нас замечательно. Поселили всех в курортной гостинице. Городок был маленький, но с казино. Назывался Буклейзо. Французы отнеслись к нашим шалопаям с удивительным терпением. Мы детей стали на радостях выпускать в город, так они стащили свои простыни, мыло, наволочки, чтобы продать все это на местном базаре. Бедняги-беспризорники думали, что во всех странах, как в России. Французы привели их за руку обратно в гостиницу. Тихо, мирно, с улыбочкой. Только посоветовали объяснить детям, где они находятся.

Восемь месяцев мы прожили на этом французском курорте, но каждый день думали, когда же опять в дорогу?

Моя родная сестра Гита давно жила в Эрец-Исраэль. Вот в этом кибуце – Эйн-Гев. Она мне выправила паспорт с палестинским гражданством. Но по дороге документ этот «заблудился». Говорили потом, что вывезли по нему многих людей. Но тут приезжает в наш городок Буклейзо человек из кибуца. Узнал он обо мне и очень удивился. Начали расследование, и каким-то чудом мой паспорт нашелся. И вот по этому документу мы с Арье и приплыли в Эрец-Исраэль и сошли на берег в Хайфе в день объявления независимости Государства Израиль. Мы были в пути ровно 36 месяцев».

Устала Эстер. Годы все-таки прожиты немалые. Речь Эстер Файн потеряла плавность. Я предложил сделать перерыв, но она категорически отказалась. Я же продолжал исправно записывать ее «одиссею» на диктофон, но потом, уже дома, понял, что буду вынужден ограничиться пересказом дальнейшей, уже в Израиле, жизни моей героини.

Итак, Эстер Файн прибыла в страну своей мечты 15 мая 1948 года, как раз в тот день, когда последние английские корабли покинули порт Хайфы. И как-то сразу пришел к концу в судьбе Эстер романтический период сионизма. Ступив на берег, она не почувствовала эту землю своей. Не стала целовать песок и камни. Дыхание перехватило не от радости долгожданной встречи, а от духоты и чудовищной влажности.

В мечтах своих она совсем не таким представляла себе Израиль. Каким – она и сама не знала, но не таким, а напоенным радостью и весельем, танцами, песнями и живым радушным вниманием к новоприбывшим. Встретили же Эстер Малькову равнодушие, всеобщая усталость и тусклый, нищенский быт.

Чиновник в порту спросил:

– Товарищ, куда ты поедешь?

Тогда, в социалистическом Израиле, не было господ – одни товарищи. Естественно, только в лексике.

– К сестре, – ответила Эстер. – В Эйн-Гев.

Чиновник удивился.

– Этого кибуца не существует. Ты знаешь, что у нас война?

– Знаю, – кивнула Эстер. – Я знаю, что такое война. Но жизнь еще не кончилась, даже там, где она была страшнее, чем здесь... Скажи, место, где был этот Эйн-Гев, осталось?

– Конечно, – пожал плечами чиновник. – Место всегда остается.

– А люди?

– Нет там евреев, товарищ. Арабы там. Так куда ты двинешься? Люди везде нужны.

Все это сказал чиновник Эстер на идише. Тогда она подумала, что человек, говорящий так просто, на знакомом языке, не умней ее самой. Эстер не поверила чиновнику. И правильно сделала. Она знала, что война, кроме всего прочего, это еще и слухи, и сплетни, и недобросовестная информации.

Так и оказалось, Женщин и детей вывезли из кибуца в Хайфу, а мужчины остались сражаться на берегу Кинерета.

В здании школы, отданной жителям кибуца, Эстер нашла свою сестру. Они не виделись 11 лет. Сестра уехала в Израиль цветущей девушкой, слегка полноватой и розовощекой. К Эстер вышла беременная женщина с морщинистым, обожженным солнцем, усталым лицом. Эстер узнала сестру. Гита не узнала Эстер.

– Кто тут меня спрашивает?

– Гита! – закричала в отчаянии Эстер. – Это я!

– Ты совсем другая, – тихо сказала сестра. – Совсем другая.

Все же было нетрудно узнать родную сестру, гораздо труднее далось Эстер знакомство со всем новым и неожиданным в Израиле.

Арье определили в детский сад. Он жил в доме. В те годы право на крышу над головой имели немногие. Самой Эстер нашлось место только в палатке. Она давно привыкла к любому жилью. Фронтovou медсестру не удивишь брезентовым верхом над головой. Эстер испугало иное. Никому не было до нее дела. Она прошла такую страшную войну. Ее путь в Израиль был так долог. Она привела за собой многих и столько испытала в пути, а теперь, когда цель была достигнута, – ничего! Бог с ними, с цветами, овациями и оркестром. Никто даже не спросил у Эстер: кто она и откуда? Все были заняты только собой.

В дороге привыкла Эстер к вопросам, человеческому любопытству, участию... Тогда она сознавала феноменальность своей судьбы. И вдруг – все кончилось. Она плакала от обиды по ночам. Тихо плакала, стараясь не разбудить соседей по палатке.

Ее направили на плантацию сливовых деревьев. Не комары там были, а мошкара, как в сибирской тайге. Насекомые сразу облепили Эстер. Вечером ее лицо распухло, глаза превратились в щелки, температура поднялась до сорока. Было решено, что на уборке слив она работать не сможет. Эстер послали на кухню. Здесь ей совсем стало худо.

«Где сионизм? – думала Эстер. – Где моя Эрец-Исраэль? Где культура? Где мечты о великом государстве братства и любви?»

Она работала в вонючем чаду, слышала ругань посудомоек и кухарок. Фронтovou медсестру, хорошо знавшую, что такое русский мат, почему-то вконец расстроили проклятия на идиш. В родном Люцине,

городе детства, так не ругались. Не слышала она никогда таких страшных проклятий.

Когда-то читала Эстер нечто подобное у Шолом-Алейхема и специально бегала в квартал мясников послушать их речь. Даже записывала особенно крепкие выражения. Но все это было игрой, литературой, наконец, а здесь, в Эрец-Исраэль, грязная ругань стала ее жизнью.

Эстер узнала, что на второй день войны арабы и в самом деле ворвались в Эйн-Гев. Кибуцникам удалось отразить атаку, но погибло шестеро защитников поселка, были и раненые, в том числе и единственная медсестра кибуца. В Хайфе знали о фронтовой специальности Эстер и предложили ей отправиться на смену раненой девушке.

Сына пришлось оставить в городе, но Эстер была так рада: ее вдруг заметили, вспомнили о ней. Она нужна кому-то. С первым транспортом отправилась Малькова в прифронтовой кибуц. Сына ей разрешили посещать один раз в месяц. Таковы были правила.

В Эйн-Геве Эстер попала в привычную обстановку: окопы, ходы сообщения, блиндажи, пулеметные гнезда, фронт. Жизнь опять стала осмысленной и понятной. Эстер будто вернулась в недавнюю боевую молодость, в среду, привычно опасную для жизни, к «упоеанию в бою».

На кухне, в чаду, ругани и грязи, ей было тяжело. Здесь, на берегу озера, она могла дышать полной грудью. Удивительно – только в окопах кибуца Эстер подумала: «Вот и все. Здесь мой дом».

Прошло более полувека. Одноэтажное строение, где живет Эстер Файн, находится недалеко от прежних окопов и колючей проволоки. Вот там, за могучим, неохватным деревом. На месте окопов теперь конюшня. Дальше – шоссе, ряд финиковых пальм, возделанное поле и горы. Там, в горах, были когда-то арабские позиции...

Все когда-то кончается, даже война. Наступил мир, но в мире этом снова стало неуютно Эстер Мальковой. Она слишком привыкла к драке, к преодолению, к жизни на грани или за гранью подвига... Вернулись в кибуц женщины и дети. Отремонтировали дома, сравняли с землей окопы. Вот тут и началась настоящая абсорбция, вращение в новую жизнь Эстер. Привезли ее сына и сразу же определили в местный детский сад. Еврейский колхоз воспитывал подрастающее поколение по рецептам Макаренко. Вернулись в кибуц сестра Эстер и ее муж. И тут оказалось, что между родными людьми не только 11 лет разлуки, а настоящая, непреодолимая пропасть. Сестра и ее муж не понимали, о чем говорит Эстер. Эстер не понимала смысл их речей.

Медсестра Малькова была наполнена пережитым: войной против фашизма, фронтовым братством, героизмом, гибелью друзей, отчаянной дорогой в Эрец-Исраэль.

Теперь же все вокруг Эстер вновь вяло шевелилось в тусклом устройстве быта, в низменных проблемах хозяйства, в тяжелом труде на плантациях. Ей казалось, что люди вокруг живут узкими, только своими интересами. Ничто ее соседей не интересовало, будто не было большого мира за границей кибуца, и все начиналось и заканчивалось здесь, в рыбацком поселке на берегу Кинерета.

Они говорили на одном языке, но никто не понимал речи Эстер, и она не могла понять, зачем открывают рот ее близкие и соседи. Эстер

отвечали общими фразами. Но она не улавливала за фразами этими ничего, кроме пошлой суеты и дешевой демагогии... Похоже, и сегодня, через десятилетия, Эстер Файн не может примириться с тем давним одиночеством на людях, с внезапно возникшей пропастью между светлой мечтой и обидной реальностью. Она так хотела продолжить жизнь под высоким «током» энтузиазма. Сионизм в те годы многим казался входным билетом в рай на земле.

Память о своей великой мечте и сегодня не дает Эстер Файн покоя. Отсюда, я думаю, и ее страсть к писательству, и желание подробно рассказать о своем времени, своей удивительной, полной приключений молодости...

Все-таки хватило тогда у медсестры Мальковой сил и оптимизма принять свое одиночество на людях и тусклую, как ей тогда казалось, жизнь киббуца.

Ближняя гора за полем и трассой зовется Сусита. Половина этой Суситы принадлежала тогда евреям, другая – арабам. На горе стояли вооруженные посты. К постам этим и прикомандировали Эстер, как медперсонал и повариху. Умела она варить суп и жарить блинчики.

Арабы после войны вели себя тихо, и, странное дело, в те годы члены киббуца стремились подражать своим агрессивным соседям: даже полосатые платки носили – куфии.

Однажды, зимой, закуталась Эстер в этот платок, направилась за хворостом, задумалась и забрела туда, куда не было дозволено забредать. Вдруг слышит: «Стой! Стрелять буду!» – и выстрелы. Это еврейская охрана приняла Эстер за арабского подростка.

Вот лежит она носом в камни – и улыбается горе Сусита. Совсем недавно ползла Эстер на пузе через болото, чтобы вытащить из-под обстрела раненого. Там, за болотом, березовая роща была. И вот она на другом краю земли, тоже под выстрелами. Бойтся голову поднять, только под ней острые камни, а не сырой мох. Почему-то пустяшный этот случай окончательно вернул Эстер к жизни, накрепко связал разорванную было нить ее судьбы.

А еще – оказался среди киббучников парень из Латвии. Эстер и этот парень встречались в укромном месте и пели там давно, казалось бы, забытые песни на латышском языке и танцевали. Вдвоем, тайком, без свидетелей.

Одна недобрая девица увидела однажды «секретные» танцы Эстер и того парня из Латвии.

– Смотрите! – подняла она крик. – Что вы тут устраиваете? Прямо как дома!

– А мы дома, – ответила осмелевшая Эстер. – Где еще?

– Это ты-то дома!? – продолжала вопить девица. – Да мы тут каждый клочок земли своим потом полили, каждый камень для домов на своем горбу...

И тут Эстер впервые сорвалась на крик. Она кричала о страшной войне с Гитлером, о раненых и убитых, о тяжком пути в Израиль. О еврейских местечках на пути, истребленных полностью вместе с жителями. О ненависти к евреям в послевоенной Европе, о голоде и холоде, о тайных переходах границы...

Эстер и не заметила, как на ее крик стали собираться люди. Ее слушали молча.

– Я дома! – в отчаянии кричала Эстер. – Я пришла домой!

– Успокойся, – сказал ей старый рыбак. – Ты дома, где же еще?

Но все было не так просто. И этот «день крика» не был последним в абсорбции Эстер.

Считается, что незнание языка – большая преграда на пути к новой жизни, но Эстер в совершенстве знала иврит и идиш. И все равно несколько лет она была чужой. Чужой в нищем кибуце, на краю земли, где так нужны были люди, где каждая пара молодых рук была на счету.

«Плевать мне на всех вас, – думала Эстер Малькова. – Я решила здесь жить. Это мое место – для меня и моего ребенка – вот и все».

Эстер уперлась, по ее словам, «всеми четырьмя ногами», но прошло много лет, прежде чем стала забываться та обида. Но выходит, не забываясь совсем, если и сегодня с такой горечью рассказала о ней Эстер.

Потом Малькову вновь послали на кухню. Там не было ругани и грязи. Было другое: запредельная аккуратность евреек из Германии.

Люди войны – люди хаоса. Когда жизнь твоя висит на волоске, некогда соблюдать незыблемый порядок вещей. Кухаркам из Германии казалось, что сковорода должна висеть только на том гвозде, который и предназначен для сковороды, и ни на каком другом. Эстер вешала сковороду «по-русски» – куда попало. Сухо, но регулярно и бесстрастно Эстер делали замечание, требуя водворения означенной кухонной принадлежности на место. Ее учили жить. Давали уроки жизни. Учили, что от того, где висит полотенце, зависит судьба мира нашего, а дуршлаг, поставленный не на ту полку, может привести к настоящей катастрофе.

Постепенно Эстер начинало казаться, что утрачивает она всякое человеческое достоинство. Прошла, как ей казалось, огонь, воду и медные трубы – и вдруг эти занудные нотации о святости места для помойного ведра. Она никогда не теряла уважения к себе, и другие уважали Эстер Малькову, а тут равнодушное, почти безразличное презрение к случайной посудомойке, не способной запомнить, где должен стоять чугунный котел для каши.

К счастью, узнали в кибуце, что Эстер работала раньше воспитателем большой группы беженцев – подростков-беспризорников. Нашелся умный человек, предложивший ей заняться привычным делом: взять на себя руководство молодыми ребятами из Ирака и Ирана.

Эстер не сразу решила покинуть свой пост на кухне. Те, послевоенные хулиганы и воришки, были своими. Она разговаривала с ними на одном языке, воспоминания были общими, юмор был общим, да и победа над врагом общая. А здесь... Долго тянула с ответом Эстер. Согласиться, в конце концов, ее заставил ужас перед добропорядочными «немками».

Прибыла первая группа репатриантов из Ирака и Персии, и с ними трое «афганцев».

Иракские девушки показались Эстер красавицами неземными, а молодые люди – кандидатами на звездные роли в голливудских фильмах. Привезли всю эту красоту на большом катере. Шоссе по берегу озера простреливалось арабами, и дорогу временно закрыли.

Вот сошли эти красавицы и красавцы на пристань. Навстречу Эстер двигались настоящие принцы и принцессы, в чудных каких-то одеждах. Будто не шли они, а плыли по воздуху. Вот тогда и подумала фронтовая медсестра Эстер Малькова, будто переместилась в иное пространство и время, и подумала так: «Совсем чужие! Неужели когда-нибудь станут они своими? Нет, никогда».

Эстер Файн и сейчас навещают ее давние питомцы: принцы и принцессы из восточной сказки. Они уже не так молоды и красивы, ступают по земле без прежней легкости, а подчас и хромают. К ней в кибуц приезжают врачи и адвокаты, строительные подрядчики и учителя... Свои!

В языковой «палитре» Эстер были русский и латышский, идиш и иврит, но не было в ее распоряжении арабского и фарси. Только один молодой человек знал иврит. Не очень хорошо, но знал. Парень этот сказал Эстер:

– Воспитательница! Тебе не надо разговаривать с нами. Ты будешь над нами, как Господь Бог, а я буду как твой посланник и переводчик. Твои приказания я передам им всем в точности.

Не было у Эстер выхода. Она и доверилась тому парню по имени Эзра. Только на уроках иврита напрямую общалась с подопечными. Шло время – и вот видит Эстер, что ее добровольный помощник ведет себя как-то странно. Работать Эзра не ходит, лежит у себя в палатке. Одна персидская красавица чистит ему башмаки, другая еду носит из столовой...

– Эзра, – спрашивает Эстер, – почему ты не работаешь?

– Я занят, – отвечает Эстер. – Я твой переводчик. Разве не так?

Только потом узнала воспитательница, что отец ее переводчика занимался отправкой евреев из Ирака. Фигурой, значит, был начальственной. Вот он, как будто, и передал свои полномочия сыну.

А сын еще и пригрозил молодежи, что в случае непослушания его отец придержит в Ираке родителей новоприбывших. Так Эзра превратился в падишаха.

Свергла Эстер монархию в Эйн-Ге́ве, заставила лоботряса работать, а потом и вовсе выгнала из кибуца. Нетрудно это было, но переделать психологию бывших подданных Эзры оказалось гораздо труднее.

«Иракцы» и «персы» решили, что Эстер теперь единовластная правительница, а когда усвоили азы демократии, стали вести себя непредсказуемым образом: кто-то что-то не так сказал о Багдаде – работа прекращается; кто-то из кибуцников спросил, пользуются ли в Иране духом, – забастовка.

Красавцы и красавицы, в ужасе бежавшие от репрессий на родине, вдруг полюбили страну своего рождения. Они рассказывали о ней так, будто оставили за спиной рай небесный, а не погромы, тюрьмы и ненависть...

Эстер металась между кибуцниками и новоприбывшими, гасила конфликты, судила, разводила. Мало кто хотел и мог понять, что евреи на нашей огромной земле живут разные, не похожие друг на друга, с разными представлениями о чести и достоинстве, о дружбе, о семейных связях, о трудовых отношениях.

Иной раз оставленная работа на кухне казалась Эстер веселыми каникулами. Она без устали соединяла несоединимое, связывала воедино то, что, казалось, связать совершенно невозможно. Но со временем, как ни странно, все стало соединяться и связываться.

Помнит Эстер одну удивительную экскурсию по дикой природе. Всегда была в Израиле мода на такие прогулки. Дал кибуц ее подопечным сопровождающего – знатока местности. Этот лихой парень, не долго думая, стал на марше подшучивать над «азиатами», без всякого учета их восточной ментальности. На «нерве» поход получился. Никто природой любоваться не хотел. Вот-вот могла вспыхнуть драка. А кибуцник все шутил и шутил, будто не замечал, что происходит. Тогда остановили подопечные Эстер и сказали: «Мы сейчас будем бить этого человека, а потом повернем обратно».

«Нет, – ответила Эстер. – Мы пройдем весь маршрут, а после я вам разрешаю любую драку».

«Азия» подумала и согласилась отложить разборки с «Европой». Двинулись дальше. Путь становился все трудней. Шутки прекратились. Проводник молча следил за каждым, помогал отстающим. Был момент, когда только с его помощью группа смогла перебраться через пропасть.

И вот кончилась опасная экскурсия. Группа спустилась вниз, к озеру. На лодках поплыли обратно. Высадились на пристани кибуца. Никто тогда не вспомнил об обидах и мести. Проводник, прощаясь, обнял каждого, измученного до последней степени «азиата». И сказал, что они молодцы и герои... Затем, это Эстер хорошо помнит, проводник сразу отправился на работу: чистить коровник, а ее подопечные поплелись отдыхать, еле передвигая ноги.

А суеверий сколько было, настоящей дикости. Новая экскурсия, новый маршрут, а два брата из Ирака заявляют, что на гору они не полезут, потому что на вершине этой горы живут злые духи. Никакие доводы на ребят не действовали. Уперлись -- и все. Оставили братьев внизу. Благополучно забрались на гору, спускаются вниз. И тут одна девчонка как завопит: «Там шайтан, не пойду дальше!» Раздался этот вопль на узкой, каменистой площадке. Все ушли вниз, а Эстер стоит рядом с этой дурехой-истеричкой и не знает, что делать дальше. Наверное, целый час так простояли. И тут решилась Эстер на обман.

– Арабы! – крикнула она и бросилась вниз по скользкой тропе. Девчонка за ней, стремглав, сломя голову. Арабов те ребята больше боялись, чем шайтана.

Думал, слушая Эстер: все-таки удивительный народ евреи. Вот, при всем равнодушии к чужим, нашли же кибуцники, чем занять фронтальную медсестру. Нашли ей дело по душе, вывели из шока. Эстер, по сути, обрела свой дом, возвращая туда других. Клин вышибала клином.

А как было трудно заставить евреев из Багдада работать на земле.

– Мы не феллахи, – гордо заявляли бывшие торговцы овощами.

Не было в их представлении более унижительного и тяжелого труда, чем работа на земле. Они стояли молча и смотрели, как Эстер в одиночку обрабатывала огород. Потом кто-то решился ей помочь. На следующий день взяли мотыги еще двое.

Эйн-Гев дал новоприбывшим большой участок земли. Овощи с этого участка «азиаты» должны были продавать кибуцу. Вырученные деньги шли в фонд помощи родителям ребят, готовым вслед за ними перебраться в Израиль. Государство в те времена мало чем могло помочь алии. Нужны были деньги. И гордые красавцы стали еврейскими крестьянами.

Только успокоилась «Азия», как прибыли новые репатрианты из Африки. Марокко и Тунис избавлялись от своих евреев. Начались новые проблемы: новые характеры, новые привычки. Городские мальчишки из бедных кварталов Рабата привыкли воровать. Они и в кибуце не могли остановиться. А девчонки никак не страдали излишней скромностью. С таким откровенным кокетством Эстер никогда не встречалась. Однажды рыжий солдат увез на джипе подопечную Мальковой. Она бежала за машиной и кричала: «Хаим! Побойся Бога! Ей двенадцать лет! Оставь девочку!»

В общем, сражалась она «за мораль» не меньше года. Как ни странно, и эту битву выиграла.

И случилось то, что и должно было случиться: раньше соседи вроде бы и не замечали Эстер. Теперь же она поднялась в их глазах сразу на несколько ступеней. Педагог, воспитатель – профессия достойная. В один прекрасный день Эстер Малькова поняла, что это раньше она была дура душой, а теперь – уважаемый член общества. Настолько уважаемый, что кибуцники стали приходить к ней за советом и почтительно здороваться при встрече.

Только от подъема этого Эстер так устала, как не уставала никогда в жизни. Заметили это в кибуце и отправили Малькову в первый отпуск. Две недели отдыха получила Эстер, взяла своего сыночка и отправилась в другой кибуц – «тыловой» – сытый, богатый и спокойный.

Встретили Эстер замечательно, познала она восхитительный вкус безделья и пришла в себя. А главное – стала думать об Эйн-Геве как о настоящем доме, скучать стала по своему первому кибуцу на берегу озера, по своим подопечным тосковать, как по своей семье.

Окончилось вращение Эстер Мальковой в новую жизнь очень просто. Вернулась она в свой кибуц, а туда как раз прибыл один «китаец» из Харбина. Он не знал иврита, не знал идиша, но прекрасно говорил по-русски. Вот Эстер и прикрепили к новоприбывшему. Оказалось, что на долгие годы прикрепили. Эстер и Григорий Файн говорили не просто по-русски. Они заговорили на общем, понятном друг другу языке.

Молодоженам дали комнату – пять квадратных метров. Кровать там поместилась и стол. В этой комнатухе еще долго собирались подопечные Эстер Файн. И все же только ее замужество стало концом одиночества и началом другой истории, наполненной рождением детей, трудным развитием кибуца, новой работой...

Все-таки пришлось нам прервать беседу. Ждал нас вкусный обед в столовой кибуца. Разговор там пошел общий, суетливый, без особого смысла. Хороший, вполне «отдыхальный» разговор. Эстер пришла в себя, и дальнейший ее рассказ за чашкой кофе на веранде у самого озера я оставляю в практически нетронutom виде. Слушаем Эстер Файн:

«В кибуце нашем жил лишь тот, кто признавал коллективную ответственность и общий труд на земле. Но одна часть наших людей любила Сталина и считала его чуть ли не святым. Все, что говорил этот

человек, было для них законом. В клубе, в общежитии висели портреты Сталина. В обязательном порядке отмечались советские праздники и юбилеи усатого вождя. Другая часть кибуцников, к ней принадлежали и мы с мужем, противилась этому культу по мере сил.

«Советские» даже в детском саду воспитывали детей по «Краткому курсу ВКП(б)». Мой Арье пришел однажды из школы с портретом Сталина и заявил, что «этот великий человек – наше солнце и отец родной». Но я-то хорошо знала, что такое Сталин, пожила в России. Сталинистами у нас были «румынь», «чехи», «венгры». Они и раньше любили «вождя народов» на расстоянии. Сталинисты получали из Москвы газеты и журналы. Устаивали бурные дискуссии, активно пропагандировали свой коммунизм. Сталин умер, и споры вокруг этого человека обострились до предела. И тут, к величайшему сожалению, в 1954 году наш кибуц распался. Половина кибуцников ушла в другое поселение, где жили одни сталинисты. Это было ужасно. Мы сразу обеднели. Ушли-то рабочие люди, опытные, начинавшие кибуцное движение в Эй-Гев. Ушедшим тоже было не по себе. Некоторые семьи не выдержали, вернулись... Долго потом мы не могли подняться. Только лет через десять зажили сравнительно неплохо. Теперь портреты вождя исчезли почти повсеместно. Какая все-таки страшная глупость – идеологические разногласия. Страшная и разрушительная глупость. Вот наш кибуц не был религиозным, и мы совершенно не поддерживали контакты с таким же хозяйством, где люди носили кипы. Жили рядом – все евреи, все крестьяне, а будто чужие совсем...

Проходит время – все становится на места. Остаются ценности подлинные: дети, земля, хлеб... Раздоры, споры, интриги, партийные дразги – все это только в убыль нашему маленькому государству. Спасла нас тогда только тяжелая работа от восхода до заката и то, что не были мы все-таки одни. Нам помогали, давали ссуды, технику. Кибуцы смогли накормить страну, и это стало основой нашей независимости».

Что я хотел бы добавить к этой истории? Брак Эстер Файн оказался счастливым. Она родила еще троих мальчишек: Эфраима, будущего бригадного генерала и лидера партии МАФДАЛ, потом еще двоих замечательных ребят – Баруха и Ишая... С годами стали появляться у Эстер внуки. Теперь, когда я пишу эти строки, их наверняка уже больше шестнадцати.

Она настоящий серьезный писатель, классик детской литературы на иврите. Книги Эстер Файн переведены на многие языки, издавались неоднократно...

Иной раз, когда мне бывает так тошно и трудно, что хоть беги куда глаза глядят, я вспоминаю об Эстер Файн, о ее детях и внуках. Поднимаю трубку, звоню, слушаю ясный, молодой голос героини этой длинной дневниковой записи и начинаю приходить в себя.

Давид Агесман

ПЕРЕЛОЖЕНИЯ ИЗ КНИГИ ИОВА

1

Роскошествовал, что греха таить.
О, молодости чаша золотая!
Пил из нее, из рук не выпуская,
И знать не знал, что волен осушить.
Когда же пустотой отозвалась,
И в пальцы дрожь постыдная проникла,
Слеза, что путешествовать отвыкла
С младенчества, украдкой пролилась.
И вспомнил я другие времена,
Моих друзей приветственные жесты,
Поклоны равных и лицо невесты,
Прекрасное, как ранняя весна.
Стол ожидал на площади меня.
Вершитель судеб, я не знал сомнений.
Раскаянье не смело встать с коленей,
И щелкала впустую западня.
Ногами был безногому, слепцу –
Глазами, пролагавшими дорогу.
Мой палец путь указывал к острогу
Сословия любого подлецу.
Оправданный мне руки целовал.
И издали с детьми вдова молилась
На мой балкон, и сердце веселилось
От их благодарений и похвал.
И знатные не смели возразить,
И только рты рукою прикрывали,
И с видом одобрения кивали,
И тайный светоч продолжал светить.
Высокий, над моею головой
Он подтверждал, что праведность в почете,
И что, неукротимая в полете,
Моя стрела направлена Тобой.
А ныне – кто ее перехватил,
Кто погасил спасительный светильник?
Я не злодей, не вор и не насильник.
Я никого, Ты знаешь, не убил.
За что же Ты мою терзаешь плоть
Страшнейшей, может статься, из болезней?
Я стал ночного ветра бесполезней...
Пошли мне смерть, безжалостный Господы!

Питомцы отвернулись от меня.
Обласканные сделались врагами.
В пустыне, изнуряемый лучами,
Влекусь я с плачем, жребий свой кляня.
Мне ложе – камень, горный корень дрока –
Мне хлеб, в разломах прячущийся скал.
Со мной, несчастным, дружбу свел шакал.
Рыдаем вместе, глядя издалика
С горбов песчаных на огни жилищ.
Убей меня, качаемого ветром,
Стрелой повергни, будь не в меру щедрым,
Молю Тебя, растерзан, жалок, нищ.

2

И что есть мудрость, знает только Бог.
Дорогу к ней один и ищет разум.
О, человек, шагнувший за порог,
Ты землю зря просверливаешь глазом.
Там нет ее, как нет во льдах огня,
Как солнца нет в глубинах Преисподней.
Свои следы от взоров схороня,
Живет она чем доле, тем свободней.
Напрасно, набирая высоту,
Добычу тщится высмотреть стервятник.
Ударившись конем о пустоту,
Обратно поворачивает всадник.
Пустыни царь, теряет силы лев,
Едва к ее приблизится пределам.
Цветами пламенеющий посев
Его дрожать всем заставляет телом.
Находит самородки без труда.
Медь и железо плавит в недрах горных.
И понимает речь ее звезда
В разрывах туч грохочущих и черных.
Терзаемые нищенством цари
Пред ней свои подвалы отпирают.
И дивный блеск под сводами блуждает.
За голову схватившийся стратег
Зовет ее в шатре пробитом шатком.
И замышляют узники побег,
С ней словом перебрасываясь кратким.
Под стражу легкокрылую не взять.
Не замарать напраслиной злодейской.
Изобличать, клеймить, торжествовать
Сама выходит в мантии судейской.
Зла не твори и злобных сторонись.
Ум утруждай работой беспрестанной.
А где живет, не спрашивай, дождись
Когда нагрянет гостьей долгожданной.

3

Красив Твой зверинец, Господь,
Красив, живописен и ярок.
Вопросом себя озаботь,
Кому предназначил подарок.
Себе – но тогда почему
На птицу кидается птица,
И к логову своему
С добычей торопится львица.
Кричат воронята в гнезде –
И вороны мечутся в небе.
Ты слышишь их плач о еде,
О вечной и алчной потребности.
Досыта птенцов накормив,
Зайчонка нарек сиротою.
За грифом спускается гриф
На поле вчерашнего боя.
Свидетельствуют тела,
Сколь были противники люты.
С дымами костров до светла
Уходят утраты и смуты.
И аист, пустыней в кольцо
По праву владычицы взятый,
В песок зарывает яйцо,
Родитель дураковатый.
Теперь остается гадать:
Раздавит его, не раздавит.
И ждать, с нетерпением ждать,
Когда свои крылья расправит.
И всадник со смуглым лицом,
Овеянный белой тряпичей,
Смешон со своим жеребцом
Под этой гарцующей птицей.
Твои несказанны дары.
Сведенный с ладони широкой,
Глядит на пастушьи костры
Шакал на скале одинокий.

4

В тростниках, творенье божье,
Бегемот, как монолит.
Вулканической дрожью
Пробегают аппетит.
Пересек поток, как лужу,
Ужас суши и морей.
Вырывается наружу
Дым и пламя из ноздрей.
Блеск зубов двойного ряда

Погасить какой петле.
Пригибает, если надо
Ниже голову к земле.
Опрокинуть великана
На бегу да на ходу –
Что поймать Левиафана
На рыбацкую уду.
Или есть такой отважный,
Что шагнет наперерез?
Рев чудовища протяжный
Вмиг достанет до небес.
О, конец того невесел,
Кто исчезнет под пятой.
Мощь и тулова и чресл
Соразмерна с красотой.
В день творения на остов
И железо шло, и медь.
На воде плавучий остров,
Если в бурю поглядеть.
Туч горящую солому
Сносит с берега реки.
И над ним, ушедшим в дрему,
Цепенеют тростники.

5

Что битве быть, бывалый конь
Своею каждой жилкой чует.
Ее пророческий огонь
Первоначально в нем бушует.
И оттого себя взнуздать
Дает с охотой превеликой.
Так горячиться и дрожать
Случалось ли на воле дикой.
Не знаешь в толчее людской,
Какой за это кровью платят.
А вдруг костлявою рукой
Смерть и тебя за горло схватит.
Но, неразумный, только ржешь
В убранстве, золотом расшитом
И в нетерпенье землю бьешь
Тяжелоконным копытом.

6

Ищу я с Богом примиренья,
Не понимающий Его.
Нашел в душе моей сомненье –
И наказует естество.

Когда ночами месяц ясный
Плывет в сиянье, как в челне,
Мой взор тоскующий и страстный
Ответа ищет в вышине.
Не я ли следую законам
Твоим, Господь, Учитель мой.
И видит мир меня склоненным
К Тебе и телом и душой.
В моих признаньях нет притворства,
Как нет презренья к бедняку,
Что проявляет на веку
Терпенья столько и упорства
В единоборстве с нищетой.
Я помогал ему зимой.
Я постирал к упавшим руку.
Я открывал бездомным дверь.
За что же шлешь за мукой муку
И множишь счет моих потерь?
Да превзойди я всех грехами,
Со сборищ шумных, с площадей,
Покрывши голову руками,
Я убегал бы от людей.
В лицо жене своей и чадам,
Кобель, не смел бы я взглянуть.
Но никого не видишь рядом
Из обнажить готовых грудь.

7

Не от земли родится злоба.
Куда без признаков вины,
Не скажешь ли, глядящий в оба,
Достойные уведены.
Твоей искавшие защиты,
Что, если все до одного
Они давным-давно убиты,
Молитва, имя – всё мертво.
Ты не препятствовал расправе.
Осуществлявшие её
Твердят о почестях и славе,
Ведя привольное житьё.
Их уличить – признаться миру,
Что пролил праведную кровь.
В Твоих руках прозреть секиру –
В Твою уверовать любовь.
И путь от плахи к изголовью
Проходят в блеске лезвия
Одной забрызганные кровью
Палач, и жертва, и судья.

Наум Басовский

«...СОЗЕРЦАТЬ КРАСОТУ ГОСПОДНЮ»

О стихотворных переложениях библейских текстов

Я ем и пью из ТАНАХа...

Ури-Цви Гринберг

Великое чудо текста, именуемого Книгой Книг, состоит в том, что, будучи полным, этот текст порождает непрерывно раздувающееся пространство интерпретаций.

Эдуард Бормашенко

1.

Читаю в газетной рецензии:

«...когда речь заходит о переложениях еврейских религиозных текстов на язык Пушкина и Асадова, мы все – великие эксперты, если не переводчики. Один мой знакомый, хороший поэт, перевёл Екклесиаста, опустив при этом концовку книги, ради которой царь Соломон и писал её» (подчёркивания мои. – Н. Б.).

Понимаю, что в мой огород булыжник. Что на это ответить?

Для уточнения границ предстоящего разговора приведу несколько формальных определений; они взяты из 4-томного *Словаря русского языка*¹:

ПЕРЕВОД – *действие по знач. глаг. перевести; также текст (или устная речь), переведенный с одного языка на другой.*

ПЕРЕВЕСТИ – *<одно из значений> передать (какой-л. текст или устную речь) средствами другого языка.*

ПЕРЕЛОЖЕНИЕ – *<одно из значений> устар. письменный пересказ чего-л. своими словами.*

ПЕРЕЛОЖИТЬ – *<одно из значений> изложить в иной форме (музыкальное или литературное произведение), приспособить для исполнения в иной форме.*

Несмотря на некоторую тавтологичность первых двух описаний они в целом представляются понятными: нужно передать текст, написанный на одном языке, средствами другого языка и, конечно же, нужно сделать это как можно точнее. В идеале второй текст должен быть *копией* первого. А поскольку это принципиально невозможно (всё-таки другой язык, со своими законами, своей фонетикой и, что немаловажно, своей историей), то перевод должен быть как можно более *близким* к оригиналу.

Но что это значит – быть близким?

¹ М., «Русский язык», 1984.

Всякий, кто хоть раз пробовал перевести текст с одного языка на другой – и не обязательно художественный, а, к примеру, научный или деловой, – сталкивался сразу же с трудностями нахождения адекватных слов и выражений, выбора из многих вариантов, часто синонимических. Что же тогда говорить о переводе художественной прозы и, тем более, поэзии? В литературе особенно важны нюансы – слово ведь живёт не само по себе, а *в контексте*, – а в поэтическом переводе ещё и стихотворную форму нужно воспроизвести по возможности в соответствии с формой оригинала. Понятие точного перевода размывается.

Вот что пишет по этому поводу знаменитый переводчик поэзии (и сам замечательный поэт) Георгий Шенгели²:

«Точность может быть “смысловая”: сказано *то же*; точность может быть “стилистическая”: сказано *так же*; точность может быть “телеологическая”: сказано *для того же*... Оригинал являет неразрывное диалектическое единство всех этих элементов, но в переводе, который неизбежно лишь *вариация*, это единство не всегда осуществимо. Можно дать смысловую точность, но вместо звучного стиха, смелого слова, яркого образа, гибкой фразы явить вялую и тусклую их интерпретацию; хорош ли будет такой перевод? Возможно обратное: дать хороший стих, язык и пр., но смысл воспроизвести лишь в малой степени; хорош ли будет такой перевод? Возможен перевод точный по смыслу и стилистически верный, в котором утратится то очарование, или гнев, или призыв, ради которых написан подлинник».

Поэтому испокон веку в литературе наряду с переводами существуют так называемые вольные переводы, парафразы и переложения. В них переводчик, позволяя себе те или иные отклонения от первоисточника (порой значительные; это я попутно отвечаю газетному рецензенту), старается воссоздать то *впечатление*, которое у него вызвал оригинал.

Всё сказанное многократно усугубляется, когда речь идёт о переводах на другие языки ТАНАХа – Священного Писания. И первый же вопрос, на который нужно здесь ответить, звучит так: *позволительны* ли переложения священных книг? А если да, то *как* перелагать священные тексты? И *кто* имеет право заниматься такими переложениями?

На стороне противников переложений очень серьёзный аргумент: Библия есть Слово Божье, обращённое к людям; в нём имеет значение не только каждое слово, но и каждый знак, а любое авторское переложение страдает как купюрами, так и добавлениями от себя, не говоря уж об индивидуальных толкованиях сложных мест. Ещё в Вавилонском Талмуде (*Тосефта* к трактату *Мегилла*) рабби Иегуда говорит: «*Тот, кто переводит стих дословно, – лжёт; тот, кто добавляет, – кощунствует*». То есть нужно, мол, читать Библию и её комментаторов-мудрецов, и этого достаточно.

Но ведь даже не все люди, хорошо владеющие ивритом, могут поручиться, что понимают в ТАНАХе всё. Не зря же существуют толковые словари танахического иврита. Что тогда говорить о тех, кто знает иврит недостаточно или вовсе его не знает?

² Георгий Шенгели. *О моей работе*. В книге *Иноходец*, М., «Совпадение», 1997.

Мне скажут: существуют «узаконенные» прозаические переводы – Библия официально издана на большинстве мировых языков. Это действительно так, но достаточно сравнить, скажем, так называемый *синодальный* перевод (издание Московской патриархии) с переводом под редакцией Давида Йосифона, изданным в Израиле в 70-е годы, чтобы увидеть, сколь сильно они различаются не только в транслитерации имён и названий, но нередко и по смыслу. Ещё ощутимее этот эффект проявляется в переводах отдельных книг ТАНАХа, написанных древнееврейским тоническим стихом: любопытствующим предлагаю сопоставить перевод *Экклезиаста*, выполненный И. Дьяконовым³ с переводом рава Рафаэля Энтина⁴. А знаменитая *Песнь песней* по-русски известна мне в девяти вариантах; в своей статье «О новом переводе *Песни песней*»⁵ я сделал попытку сравнительного анализа четырёх переводов *Песни песней* на русский язык; остальные остались за рамками этого анализа, в том числе совсем недавний и, на мой взгляд, замечательный перевод израильтянина Якова Лаха⁶, в котором автору удалось сочетать высокую содержательную точность с оригинальной и изящной стихотворной формой.

К тому же человек, не читающий на иврите, не может оценить *звучание* текстов Библии: никакой самый точный перевод по определению не даёт такой возможности. А ведь звук – один из самых важных факторов, когда мы говорим об эмоциональном воздействии поэзии на человека. Не будет преувеличением сказать, что звук и ритм стиха оказывают на слушателя своего рода гипнотическое воздействие, многократно усиливающее восприятие смысла произведения и впечатление от него.

2.

Мне представляется, что именно всеми этими соображениями объясняются многочисленные и непрекращающиеся попытки стихотворных переложений текстов Библии.

В русской поэзии такие переложения существуют практически столько же времени, сколько существует сама письменная русская поэзия. По крайности, известно, что утверждение в ней силлаботонической стихотворной системы берёт начало с состязания Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова в переложении 143-го псалма (по христианской нумерации; в еврейской нумерации это 144-й псалом). В 1743 году они издали свои тексты отдельной книжечкой, без подписей, – читателям предоставлялась возможность, не зная имени мастера, оценить само мастерство. Победил Ломоносов, сторонник силлабо-тоники – в противовес тоническим предпочтениям зачинате-

³ *Поэзия и проза Древнего Востока*. «Библиотека всемирной литературы», М., «Художественная литература», 1973; второе издание.

⁴ *Экклезиаст*. Бней-Брак, 1989.

⁵ Журнал «22». Тель-Авив, №121, 2001.

⁶ *Песня песен*. Перевод и комментарий Якова Лаха. «Филобиблон», Иерусалим, 2003.

ля русского классического стихосложения Тредиаковского. Первая строфа псалма в варианте Ломоносова звучала так:

*Благослови Господь мой Бог,
Мою десницу укрепивый
И персты в брани научивый
Сотреть врагов взнесённый рог.*

Даже в этих четырёх строках, несмотря на всю для нас архаичность (и, следовательно, непривычность) лексики, явственно слышится возвышенный и чёткий звуковой строй, который и оказал, по видимому, решающее влияние на то, что в русской поэзии возобладали ямбическая традиция. А сам Ломоносов вскоре создал ещё одно библейское переложение – *Оду, выбранную из Иова*, где довёл созданную им поэтическую систему до блеска:

*Кто море удержал брегами
И бездне положил предел,
И ей свирепыми волнами
Стремиться дале не велел?
Покрытую пучину мглою
Не я ли сильною рукою
Открыл и разогнал туман
И с суши сдвинул Океан?*

Как пишет современный исследователь русской поэзии Николай Калягин⁷, «между этими стихами и ямбами *Онегина*, *Полтавы*, *Медного всадника* нет принципиальной разницы, они написаны на одном языке».

Среди последователей Ломоносова на пути создания стихотворных переложений текстов Библии мы видим имена Державина и Жуковского, Крылова и Богдановича, Дмитриева и Языкова, Кюхельбекера и Хомякова, Аполлона Григорьева и Мея – и так вплоть до наших дней, до Самуила Маршака, Арсения Тарковского, Сергея Аверинцева и Наума Гребнева. А в книге Соломона Волкова *Диалоги с Иосифом Бродским*⁸ есть воспоминание о том, что Ахматова и Бродский серьёзно обсуждали идею переложения стихами всего корпуса текстов Библии и обдумывали, кого из поэтов их круга привлечь к осуществлению проекта. Вот выразительный фрагмент из этой книги:

Бродский: Мы в тот период как раз обсуждали идею переложения Псалмов и вообще всей Библии на стихи. Возникла такая мысль, что хорошо бы все эти библейские истории переложить доступным широкому читателю стихом. И мы обсуждали – стоит это делать или же не стоит. И если стоит, то как именно это делать. И кто бы мог это сделать лучше всех, чтобы получилось не хуже, чем у Пастернака...

Волков: Анна Андреевна считала, что у Пастернака это получилось?

Бродский: Нам нравилось – и ей, и мне.

⁷ Чтения о русской поэзии, журнал «Русское самосознание», №3, 1996.

⁸ М., «Независимая газета», 1998.

Конечно, даже самый великолепный русский стих не сможет передать адекватно звуковую палитру ивритского первоисточника. Да и вообще, как пишут И. Дьяконов и Л. Коган в предисловии к книге *Ветхий Завет: Плач Иеремии, Экклезиаст, Песнь песней*⁹, принципы организации древнесемитского стиха существенно отличаются от тех, которые лежат в основе большинства европейских поэтических систем.

Но ритмика поэтического произведения, написанного по-русски, рифменные его переклички способны вызвать у читателя и слушателя *эмоциональное состояние*, подобное тому, которое возникает у читателя и слушателя, знающего иврит. Тут уж дело за мастерством, опытом и вкусом исполнителя...

Насколько можно судить по отрывочным и почти случайным (для меня) сведениям, аналогичным образом дело обстоит и в литературах других европейских народов. Так, в книге И. Гилилова *Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна Великого Феникса*¹⁰ рассказывается о том, что ещё в 16-м веке в Англии были выполнены стихотворные переложения *всех* псалмов.

Сделали это выдающийся английский поэт Филип Сидни и его сестра, поэтесса Мэри Сидни-Пембрук. Филип Сидни успел переложить 43 псалма; его сестра не только переложила остальные 107, но и частично переработала некоторые из переложённых им. «Добиваясь большей выразительности, – пишет И. Гилилов, – поэтесса всё время экспериментирует с поэтической формой, используя чуть ли не все возможные формы строфики – двустишия, трехстишия, четверостишия (наиболее часто) и их сочетания. Чрезвычайно разнообразна рифмовка, включая очень сложные и редкие варианты; одна и та же схема рифмы редко повторяется, применяются как мужские, так и женские рифмы. В метрике она предпочитает ямб, но часто пробует свои силы и в других размерах. <...> Похоже, поэтесса задалась целью продемонстрировать богатейшие неиспользованные возможности, заключённые в английском языке и его просодии, и часто достигает этого с ошеломляющей виртуозностью».

О стихотворных переложениях из Библии упоминает и С. Аверинцев в послесловии к книге *Шедевры библейской поэзии*¹¹. Среди отдавших дань этому труду он называет немецких классиков Мартина Опица и Пауля Флеминга, французов Франсуа Малерба и Жан-Жака Руссо... От себя могу пополнить этот список именами англичан Джона Мильтона и Майкла Дрейтона, украинца Тараса Шевченко, современного польского поэта, нобелевского лауреата Чеслава Милоша. Последний выполнил стихотворные переложения всей *Книги Псалмов*.

Напрашивается вывод: если в разных странах и в разные времена такое множество людей, образно говоря, ломится в одну и ту же дверь – значит, за этой дверью есть что-то весьма существенное.

⁹ *Ветхий Завет: Плач Иеремии, Экклезиаст, Песнь песней*. М., РГГУ, 1998.

¹⁰ М., «Международные отношения», 2000.

¹¹ *Шедевры библейской поэзии*. М., «Рипол Классик», 2001.

3.

Я приобщился к поэтическим переложениям из ТАНАХа в 1986 году, когда впервые – к сожалению, довольно поздно – открыл для себя *Книгу Экклезиаста* (в еврейской традиции – *Коэлет*). Нет нужды говорить о том, что *Экклезиаст* (*Екклесиаст*) – один из самых известных и часто цитируемых текстов Библии, – настолько часто, что не всегда люди, употребляющие афоризмы из него, знают об их библейском происхождении. Но, видимо, в каждом поколении люди открывают этот гениальный текст как бы заново – и, естественно, испытывают потрясение. Именно это произошло со мной. В течение нескольких месяцев *Экклезиаст* преследовал меня, пока не появилась мысль попробовать переложить его стихами.

В то время я вряд ли смог бы ответить на вопрос: зачем? Осознание, что это один из возможных путей начального знакомства со Священным Писанием для неискушённых людей, пришло значительно позже. А в тот момент мне просто хотелось каким-то образом передать свои ощущения – ощущения мудрости, таинственности и красоты одновременно. И верилось, что стихи – самая подходящая форма для этого.

Работа над первоначальным вариантом заняла чуть больше месяца. Моё состояние в это время было без преувеличения близким к экстазу. Я вспоминаю, что неоднократно просыпался среди ночи и судорожно записывал в темноте невесть откуда пришедшую строку. То же самое случалось во время прогулки по берегу моря (мы с женой отдыхали тогда в городке Пярну на балтийском побережье), во время автобусной поездки в Ригу, во время посещения кинотеатра... Тем не менее, несмотря на тогдашний экстаз, я достаточно чётко могу сейчас рассказать о «технологии» этой работы, если такой термин применим к столь сложному и временами неуловимому процессу.

Со мной постоянно находились листочки с перепечатанными главами двух переводов – синодального и дьяконовского. Я по многу раз перечитывал главу, стараясь определить ключевую мысль, и затем пытался воспроизвести её в сознании так, чтобы она «звучала» – то есть найти необходимые слова и расположить их в таком порядке, чтобы полученная фраза произносилась нестеснённо, на свободном дыхании. Затем анализировал получившееся с точки зрения приближённости к тому или иному стихотворному размеру. И если удавалось найти ритм, «вписаться» в размер, я начинал примерять к нему фразы, находящиеся, так сказать, по соседству с ключевой – перед ней или после неё. Далее производилась такая же «примерка» фраз, более удалённых; иногда при этом требовалась корректировка выбранного ритма и одновременно нащупывалась система рифмовки. После нескольких такого рода проб и ошибок вырисовывалась стихотворная система, которая и становилась, наконец, базовой для данной главы, – *форматом*, как сказали бы сейчас люди, привычные к компьютерной обработке текстов. После этого дальнейшая работа над переложением была уже относительно рутинной, ибо была сходна с обычной работой над поэтическим переводом.

Конечно, всё изложенное есть не более чем схема, сильно упрощающая реальный процесс. В схему не впишешь ночные просыпания и записи в трясущемся автобусе. Но общий контур был именно таков.

А после того, как первоначальный вариант был закончен, началась медленная, растянувшаяся на года, доводка его: уточнения на основе чтения специальной литературы, сопоставления со стихотворными переложениями других авторов (в частности, Михаила Короля¹² и Германа Плисецкого¹³), бесед с разными людьми, как светскими, так и религиозными, имеющими познания в такой специфической области. Отмечу, в частности, исключительно сильное впечатление, которое произвела на меня работа Якова Кумока *Чёрное солнце Козлет*¹⁴. Немалую пользу принесло чтение комментариев РАШИ к *Козлету*¹⁵; благодаря им прояснились в моём восприятии некоторые так называемые «тёмные места» *Экклезиаста*. Наконец, не могу не упомянуть ещё раз такой фундаментальный труд, как уже упоминавшийся перевод *Козлета* на русский язык, сделанный равом Рафаэлем Энтиным и напечатанный с его же подробнейшими комментариями. Не скажу, что это чтение было лёгким, ибо у меня тогда полностью отсутствовал опыт чтения комментированной религиозной литературы. Но со временем многое стало на свои места.

4.

Только что я сказал, что в процессе доводки переложения *Козлета* неоднократно беседовал со знающими людьми, проверяя на них свои соображения и догадки, проясняя сомнения.

И первая же из таких бесед (если только можно назвать беседой недолгую переписку по почте) стала для меня столь оглушительным «холодным душем», что о ней есть смысл рассказать подробнее.

Итак, переложение закончено. Что получилось? Что не получилось? С кем посоветоваться?

Приходит решение: конечно, с Игорем Михайловичем Дьяконовым. Он в те времена был, по-видимому, одним из лучших в Советском Союзе специалистов по древнееврейским текстам; об этом говорило его внушительное участие в вышеупомянутом томе *Поэзия и проза Древнего Востока* многотомной «Библиотеки всемирной литературы». И вот моя рукопись в сопровождении короткого письма отправилась в Ленинград. Вскоре пришёл ответ. Привожу его с сокращениями, в основном сугубо личного характера:

«...Многие библейские тексты написаны стихами. Эти стихи имеют собственные законы стихосложения и, на мой взгляд, любой стихотворный перевод на русский язык должен стараться передать ритмику и метрику подлинника. <...> Ломоносову и Державину было

¹² Журнал «Радуга», №6, Таллинн, 1988.

¹³ «Литературная газета», 1990; второе издание – см. примечание 11.

¹⁴ «Год за годом». Литературный ежегодник по материалам журнала «Советиш Геймланд», вып.4, М., «Советский писатель», 1988.

¹⁵ *Свиток собирателя (Козлет) с толкованием РАШИ*.

хорошо – они читали Библию в церковно-славянском переводе с греческого перевода с древнееврейского текста; весь текст их оригинала был написан в строку как проза – и они вольны были перелаживать это в какие им было угодно стихи. Вряд ли такую операцию следует поощрять в конце XX века! Да ещё вводить рифму, совершенно чуждую не только древнееврейской, но и всей древней поэзии вообще. Ваше опасение, что древнееврейский текст, не препарированный под облик *современных* стихов, недостаточно затронет эмоциональные струны современного читателя, не оправдано, не говоря уж о том, что молодое поколение фактически лучше воспринимает новые формы стиха, в том числе и безрифменные, чем формы классического стиха. Что такой перевод, который я рекомендую, вполне доходит до читателя, видно из того, как часто мы видим нынче в наших газетах цитаты из «Экклесиаста» – в *моём*, не осовремененном переводе. «Экклесиаст» – формально не стихи, а ритмическая проза, но современным читателем всё-таки воспринимается как поэзия. <...> Древнееврейские стихи, переведенные современным стиховым размером да ещё с парной рифмой – это всё равно как переводить Ахматову или Бродского гекзаметром. Непростительный «вывод» произведения из его эпохи.

Это что касается стиховой формы. Теперь о том, что касается восприятия текста как Писания. Я человек неверующий, и мне, может быть, судить трудно. Но мне казалось бы, что и для религиозного восприятия важно было бы сохранить и форму священного произведения. Что станет с верующим, если ему преподнести «Отче наш» или «Десять заповедей» четырехстопным хореем? <...>

Очень жалею, что должен огорчить Вас, тем более, что понимаю, какой огромный труд лежит за Вашими переводами – но Вы и сами не стали бы уважать меня, если бы я слукавил и не сказал бы что *думаю*».

Было над чем задуматься! И всё-таки тогда (впрочем, как и сегодня), при всём *моём* уважении к именитому учёному, я не смог с ним согласиться.

Во-первых, в ответе И. М. Дьяконова ясно прослеживается смешение понятий перевода и стихотворного переложения (весьма, на мой взгляд, странное для специалиста такого класса). Для перевода действительно важно максимально точно воспроизвести форму – это аксиома. Но я никогда не претендовал и не претендую на то, чтобы назвать свою работу *переводом* из Священного Писания. Отсутствие религиозного образования и совершенно недостаточное для чтения оригинала владение ивритом не позволяют мне даже ставить перед собой такую задачу. Моя цель изначально – и сейчас – значительно скромнее: попытаться, держась по возможности близко к *содержанию* оригинала, сделать стихотворное *переложение* текста с тем, чтобы воспроизвести эмоциональное впечатление от него.

Во-вторых, Игорь Михайлович читал мой опус глазами многознающего человека, которому ведомы и сам оригинал, и все исторические и культурные обстоятельства, с ним связанные. Я же представлял своего предполагаемого читателя человеком, которому в силу иных, сугубо советских исторических и культурных реалий Священ-

ное Писание знакомо слабо или вовсе не знакомо. Но это человек, думал я, для которого литература вообще и поэзия в частности – некая, условно говоря, замена религии. И тогда стихотворное переложение, может быть, подвигнет его на дальнейшее чтение – всё ближе и ближе к великому оригиналу.

Но почему из всех возможных поэтических форм я выбираю форму классического стиха? Потому что эта форма наиболее «на слуху» русскоязычного культурного человека.

Действительно, с одной стороны, всякая попытка точно воспроизвести ритм и форму древнего оригинала будет таким читателем восприниматься как нечто *не слишком гармоничное*. Вспомнилась хорошая аналогия. Когда Сергей Прокофьев работал над музыкой к фильму «Александр Невский», он попробовал включить в неё настоящие боевые марши тевтонских псов-рыцарей, знаковые записи которых ему удалось отыскать в архивах. По признанию композитора, от затеи пришлось отказаться: современное ухо вообще отказывалось воспринимать эти звучания как музыку.

С другой стороны, переложение в форме верлибра, на мой взгляд, лишило бы читателя некоего ощущения удалённости во времени. Классический же русский стих позволяет создать впечатление гармоничности и в то же время связан в нашем сознании с прошлыми веками, то есть обладает именно той аурой, которая «работает» на поставленную задачу.

Мои размышления и догадки подтверждают и специалисты, хорошо знающие эту сферу – танахические тексты. Так, преподаватель Бар-Иланского университета Дмитрий Копелиович написал мне в письме следующее: «...некоторые переводчики стараются воссоздать средствами русского языка строй библейского стиха. Наверное, это тоже очень важно – ощутить себя в атмосфере древней поэзии, но вот будет ли ощущать русский читатель (не специалист!) её поэтичность – вопрос».

5.

Свой текст я посчитал готовым к печати после десяти с лишним лет работы. Он был опубликован в журнале «22»¹⁶ и напечатан затем в качестве приложения к газете «Новости недели»¹⁷.

Две подряд публикации, причём вторая – достаточно массовая для наших условий, вызвали поток откликов, на который я никак не рассчитывал. Звонили и писали совершенно незнакомые люди, разного возраста, разного социального статуса и образовательного ценза, не только из Израиля, но и из России, США, Германии... Их было много, я бы сказал – неожиданно много, и если отвлечься сейчас от похвал (тоже дело нужное, ибо помогает выстоять против сомнений!), суть их сводилась к одному главному положению: практически все говорили о том, что переложение *Козлета* как бы раскрыло им глаза,

¹⁶ Журнал «22», № 109, 1998

¹⁷ Тель-Авив, сентябрь 1999 г.

заставило обратиться к оригинальному тексту (конечно, в русском переводе) и задуматься о том, какие сокровища скрыты в Книге, прежде для них по многим причинам недоступной и потому неизвестной.

А тем временем работа над переложениями из Библии продолжалась. После *Коэлета* пришло время для *Книги пророка Наума*. Сделав её стихотворное переложение, я включил этот текст (в качестве отдельных глав) в свою поэму *Пророк*. Этот труд также продолжался около 10 лет – естественно, не постоянно, а периодическими возвращениями, с внесением дополнений и уточнений. Поэма была напечатана в журнале «22»¹⁸. Как и в работе над *Коэлетом*, самую существенную помощь мне оказал – своими замечаниями, вопросами и предложениями – главный редактор журнала «22» профессор Александр Воронель.

В 1991 году я приступил к переложению *Книги пророка Исайи*. Работа продолжается и по сей день: объём этого библейского текста попросту несопоставим с предыдущими – это 66 глав против 3-х в *Книге пророка Наума* и 12-и в *Коэлете*. Несколько глав из *Исайи* были опубликованы в «Иерусалимском журнале»¹⁹.

Желающие познакомиться с остальными готовыми главами *Книги пророка Исайи* могут заглянуть на авторский сайт в Интернете <http://www.n-basovsky.narod.ru>.

Попробую подвести некоторые предварительные итоги.

Возвращаясь к «технологической схеме» работы над переложениями, о которой я рассказал выше, хочу заострить внимание на том, что к каждой главе *Коэлета*, равно как и *Книги пророка Наума*, *Книги пророка Исайи*, я старался найти свой ритм, свой стихотворный размер, свою поэтическую систему, наиболее соответствующую (на мой взгляд, конечно) содержанию главы. Этот момент был положительно отмечен в рецензиях. Не обошлось, правда, без курьёзов: один из писавших заметил, что такой-то раздел *Коэлета* у меня изложен размером *Песни о Гайавате* и *Витязя в тигровой шкуре*. Мне вспомнился мой давний знакомец, московский поэт-переводчик, который любил повторять ёрническую фразу: «Если спросите, откуда эти сказки и легенды, я скажу вам, я отвечу: над седой равниной моря ветер тучи собирает!...»

А если вернуться к серьёзному разговору, то считаю сугубо неверным перелагать библейские тексты единым размером от начала до конца. Мне представляется, что такой подход страшно обедняет звуковую партитуру этих великих книг, и вместо восхищения у читателя может возникнуть чувство унылого однообразия.

Предвижу возражение, что, например, *Евгений Онегин* – целый роман в стихах! – написан единым размером и одинаковой строфой. Ответить на это можно коротко: так ведь это Пушкин! – или более пространно, цитатой из Вайля и Гениса²⁰: «Стихи, подобных которым не бы-

¹⁸ Журнал «22», №114, 1999

¹⁹ «Иерусалимский журнал», №8, 2001.

²⁰ П. Вайль и А. Генис. *Родная речь*, М., «Независимая газета», 1991.

ло, нет и не может быть в русской поэзии – как нельзя достичь скорости света». Нам же, грешным, остаётся стараться инструментовать свои стихи так, чтобы они гармонично и разнообразно звучали хотя бы на протяжении относительно небольших поэтических пространств.

6.

Наконец, ещё об одном направлении моей работы с библейскими текстами. Летом 2000 года я попробовал силы в стихотворных переложениях из *Книги Псалмов – Теиллим* в еврейской традиции (иногда пишут *Теһиллим*); некоторые из них были опубликованы в «Иерусалимском журнале»²¹ и в книге *Теһиллим с Цилей Клепфиш*²². Подробное вчитывание в эти уникальные поэтические создания стало для меня высоким вдохновляющим фактором: вот уже три с лишним года переложение псалмов занимает большую часть моего времени и даёт ощущение причастности к самым высоким страницам еврейской истории и культуры; но прежде всего – это приобщение к красоте нашей древней поэзии, о чём говорит строка из 27-го псалма, вынесенная в заголовок настоящей статьи. Можно только удивляться и удивляться тому, что три тысячелетия назад (учёными доказано, что древнейшее ядро текстов *Книги Псалмов* восходит к эпохе Первого Храма) еврейский гений создал поэтические произведения, которые по яркой образности, лаконичности выразительных средств, силе эмоционального и интеллектуального воздействия не только не уступают лучшим образцам современной мировой поэзии, но в чём-то до сих пор недостижимы.

Как известно, всего псалмов 150. Традиционно автором 73-х из них называется царь Давид бен Ишай, среди авторов есть священнослужитель Асаф (12 псалмов), сыновья Кораха (также 12 псалмов), Моисей, сын Давида царь Соломон, ещё один священнослужитель – Эйтан, написавшие по одному псалму; авторство ряда псалмов не обозначено. Но нередко в наши дни о *Книге Псалмов* можно услышать самое краткое определение – *псалмы Давида*. Иначе говоря, появился некий собирательный образ одного гениального поэта, и неспроста. Потому что каждый без исключения псалом представляет собой уникальное поэтическое произведение, со своим содержанием, своей образностью, своим построением и настроением. Это невероятно широкая смысловая, звуковая и красочная палитра, в которой мы находим метафоры и сравнения, гиперболы и литоты, синекдохи и симфоры – и всё это за много столетий до того, как все эти понятия сформировались в европейской поэтике.

Недаром Уильям Гладстон, один из британских премьер-министров 19-го века, писал, что все чудеса греческой цивилизации можно сравнить с одной единственной *Книгой Псалмов*. И недаром псалмы на протяжении веков вдохновляли поэтов и философов, художников и композиторов.

²¹ «Иерусалимский журнал», №12, 2002.

²² Тель-Авив, «Иврус», 2002.

Есть, однако, одна характерная особенность, которая резко отличает *Теиллим* от всех остальных текстов ТАНАХа. Как написал Авраам Карив²³, в Торе голос нисходит с небес: от Бога к человеку; в то же время в псалмах направление голоса противоположно: от человека он возносится ввысь. Голос человека в псалмах не является ответом на голос, нисшедший к нему с высот, он вырывается из сердца человеческого. Это вопль и пение, уныние и ликование, голос, резко меняющийся, как и свойственно человеку. Вот эту характерность псалмов я и пытаюсь в меру своих сил воспроизвести, работая над их стихотворными переложениями. Если и в других переложениях я всегда ставил перед собой задачу достижения звукового и ритмического многообразия, то в работе над псалмами эта задача становится одной из важнейших.

Естественно, что опыт предшественников не может быть проигнорирован, вне зависимости от того, удачен он или нет. По-своему интересны и поучительны стихотворные переложения, написанные Сумароковым и Державиным, Языковым и Меем... Великолепен *Парафраза 69-го псалма* Арсения Тарковского²⁴, хотя он содержательно достаточно далёк от первоисточника (это я ещё раз обращаюсь к своему газетному оппоненту). Но, конечно, самое значительное явление на этом пути – переложения всех 150 псалмов, вышедшие из-под пера известного поэта-переводчика Наума Гребнева²⁵. Вот что написал в послесловии к этой публикации С.С. Аверинцев:

«Н. И. Гребнев – продолжатель очень старой и очень славной традиции, без которой русскую поэзию её лучших времён и представить себе невозможно. Может быть, он – завершитель этой традиции. Для того чтобы перелагать поэзию чуть не трехтысячелетней давности пятистопными рифмованными ямбами так естественно и в лучшем смысле слова серьёзно, необходимо сохранить органическое отношение к нормативистской концепции русской поэзии. Переложение потому и называется переложением, а не переводом, что для него заказан выход за пределы того, что воспринимается в данной национальной традиции как норма. Я думаю, что новые поколения захотят пережить резкую сжатость и первозданную древность способа выражения, присущую поэтике псалмов в оригинале, оставив мысли о классицистической высоте, о цивилизованном уюте старого русского стиха. Но если переложения Гребнева – и впрямь последние в ряду, то завершают они ряд достойно. Их родство с классическими переложениями – подлинное».

С моей точки зрения, многое в этом высказывании маститого учёного верно, но что-то спорно.

Совершенно согласен с тем, что для переложения важно оставаться в рамках национальной поэтической традиции. Допускаю также, что будущие поколения будут перелагать псалмы как-то по-иному, нежели это делается сейчас; только ведь и то, что можно назвать поэтической традицией, для будущих поколений может выглядеть ина-

²³ *Мотивы в творениях псалмопевца*, журнал «Менора», №19, 1979.

²⁴ В книге П. Д. Волковой *Арсений Тарковский*. М., «Подкова», 2002.

²⁵ *Шедевры библейской поэзии*. М., «Рипол Классик», 2001.

че, чем для нас. Впрочем, это уже область догадок. Но вряд ли стоило так уж безоговорочно называть переложения Гребнева *последними в ряду*. Ведь русская поэзия и в наши дни не отказывается от классических форм, и вряд ли откажется в обозримом будущем.

Мне кажется, что поэта, работающего над переложениями псалмов, опасность подстерегает не со стороны формы, а со стороны содержания – в том случае, если он пользуется как подстрочником только синодальным переводом, то есть так называемой *Псалтирью*, и не знаком с переводами, сделанными в рамках еврейской религиозной традиции. А в *Псалтири* есть места, которые не очень понятны без специальных комментариев, и если их перенести в свой текст без всяких пояснений, могут возникнуть казусы. Вот только один пример. 75-й псалом в синодальном переводе заканчивается так: «Все роги нечестивых сломя, и вознесутся роги праведника». Комментарий поясняет: «*роги*» - в св. Писании символ мужества и силы. В переводе рава Хаскелевича²⁶ это же место выглядит так: «Всю гордыню злодеев срублю, а праведника возвеличу». Если не по форме, то по смыслу с комментарием совпадает. А теперь представьте, что в переложении вы встречаете такие строки:

*Господь преломит нечестивцев роги,
А роги праведника вознесёт –*

и остаётесь наедине с некоторым недоумением относительно рогов на голове праведника...

7.

Вместо заключения я позволю себе процитировать фрагмент письма ко мне Арье Ротмана – поэта и прозаика, ответственного редактора журнала «Новая еврейская школа», издающегося в Петербурге.

«Каждое время и место, – пишет Арье Ротман, – несёт своё откровение, своё видение и понимание Торы и мира (это, разумеется, связанные вещи). Есть разные способы выражать и доносить это уникальное понимание. Комментарий, мицраш, таргум создавались в разные эпохи, в разных странах. Есть ещё восточное слово *назире* – философский парафраз. Для русской культуры литературное творчество – едва ли не главный способ постижения мира. Что же удивляться, что Вы прибегли к этому способу?

То, что Вы делаете, – не мицраш, не таргум, а именно парафраз на тему. Ценность его в том, что он не является стилизацией, а дышит тем же духом, но на другом языке и в другую эпоху.

Разумеется, содержание оригинала беспримерно богаче **Вашего переложения** (выделено мной. – Н. Б.). Но то отличие, которым Вас наделили время, место и судьба, раздвигает его границы».

²⁶ *Тегиллим. Шатер Йосефа-Ицхака*. Перевод и комментарий р. Дова-Бера Хаскелевича. «Шамир», Иерусалим, 1999.

Исай Кузнецов

ПЛАКАЯ ХРЕНОВИНА

Разные бывают подвиги.

Николай Гастелло не покинул на парашюте горящий самолет, бросил его на скопление вражеских танков. Александр Матросов собственной грудью закрыл вражескую амбразуру.

Это подвиги героические.

А есть подвиги рядовые, незаметные. Незаметные они и есть незаметные, их не отмечали ни орденами, ни медалями, и уж, конечно, ни звездой Героя Советского Союза.

Подвиги Гастелло и Матросова называли еще и беспримерными. Может, для того, чтобы они как раз и служили примером для других. И служили... Но, повторенные, они уже не стали беспримерными, хотя и не считались рядовыми, тем более незаметными. В отличие от Гастелло и Матросова, подвиг рядового понтонера Степана Говяды был беспримерным в самом подлинном смысле этого слова. Никто ни до него, ни после подобного не совершал.

Бывают же такие фамилии! У нас в роте были старшина Мандрыка, командир взвода Пицек, рядовой Макуха, но фамилии эти, хоть и смешны, но не обидны. А Говяда – фамилия обидная, для героя и вовсе не подходящая. Прибыл он к нам в батальон осенью сорок четвертого года из недавно освобожденных от немцев районов Украины, откуда-то из-под города Сумы. На удивление нелепо скроенный, долговязый и тощий, он обладал необъятным по величине, прямо-таки уникальным задом, что, естественно, стало поводом для солдатских насмешек. Так же, как и его поразительная способность засыпать в любом положении, при любых обстоятельствах, даже в строю и на марше.

Сам он принимал насмешки добродушно.

– Мой-то что! – говорил с виноватой ухмылкой. – Мой еще ничего. Вот у бати моего зад, это да! На двух табуретках не умещается!

– Да и твой не уместится, – смеялись солдаты.

– Пожалуй, – подумав, соглашался Говяда.

Сержант Стариков, окончивший два курса филфака, высказал предположение, что такая выдающаяся задница, скорее всего, наследственного происхождения. Очевидно, подобным украшением славился один из предков Степана, за что и получил кличку Говяда, ставшую фамилией потомков. Так вот, именно эта примечательная, многократно осмеянная часть тела, оказалась орудием беспримерного подвига Степана Говяды.

В апреле сорок пятого, в преддверии окончательной победы, наш батальон наводил мост через реку Шпрее в районе города

Шпремберг для переправы танков генерала Рыбалко, наступавшего на Берлин. Мост нещадно бомбила немецкая авиация, но, укрытый дымовой завесой и огнем зениток, он не пострадал, и танки благополучно переправились на другой берег.

Но только танки прошли, один из понтонов посреди реки стал медленно опускаться, заполняясь водой, а из понтона, мокрый, с перекошенным от страха лицом, вылез на скореженный настил этот самый Степан Говяда. Спасаясь от бомбежки в понтоне, что само по себе достаточно глупо, он заснул и проснулся, когда почувствовал, что весь бок у него мокрый. Оказалось, осколком пробило дно, а из дыры хлещет вода. То ли спасая переправу, то ли боясь захлебнуться – это осталось не вполне ясным, – Степан прижался к дыре обширным своим задом и остановил течь. И тем самым – спас переправу.

Если подвигом является поступок, который способствует успеху боевых действий, а в данном случае нашему наступлению, то поступок рядового Степана Говяды, безусловно, подвиг. Переправа через Шпрее была операцией чрезвычайно важной, так сказать, стратегической, а потому за ней наблюдал лично командир бригады генерал-лейтенант Круглов. Пока солдаты заменяли поврежденный понтон и срочно восстанавливали настил, генералу со смехом рассказали о случае с Говядой. Генерал, однако, слушал без улыбки и приказал представить рядового Говяду к ордену Красного Знамени.

Приказ генерала вызвал некоторую растерянность у начальника штаба майора Лосева – уж очень, мягко говоря, своеобразный случай. Но приказ есть приказ. Майор подумал, что генералу недостает чувства юмора, но, возможно, он считает, что переправу разумно отметить героическим поступком, дабы придать ей большее значение.

Написать представление к награждению Степана Говяды орденом Красного Знамени майор Лосев поручил писарю штаба Сухорукову.

Марат Гаврилович Сухоруков страдал плоскостопием. Из-за этого его от действительной службы освободили и выдали так называемый белый билет. Вообще-то, плоскостопие не очень беспокоило Марата Гавриловича, но, возможно, в силу малого роста, он был в высшей степени самолюбив, и наличие физического недостатка ущемляло весьма чувствительно его самолюбие.

В детстве он, как и все мальчишки, мечтал о подвигах, хотел стать летчиком или пограничником, но жизнь сложилась так, что стал он всего-навсего делопроизводителем районного строительного треста. Мечты о подвиге, однако, не оставляли его. И потому, как только началась война, Марат Гаврилович явился в военкомат с просьбой отправить его на фронт. Он уже представлял себе, как с винтовкой наперевес, крича «ура», преследует отступающих немцев, а то и в танке давит мощны-

ми гусеницами огневые точки врага. Но отправили его не на фронт, а в запасной саперный батальон, куда-то за Урал. А поскольку у него был прекрасный, почти каллиграфический почерк, то определили в писари. Примириться с таким положением Марат Гаврилович никак не мог и всеми силами добивался отправки в действующую армию. И добился. Но ему снова не повезло: и на фронте, опираясь на данные личного дела, его опять-таки назначили писарем.

Надо сказать, Марат Гаврилович обладал не только красивым почерком, но еще и склонностью к сочинительству. До войны он регулярно посылал в местную газету статейки о трудовых подвигах простых советских людей, и одна из них, правда, в сильно урезанном виде, была даже напечатана. И, конечно, во фронтовой газете «За Родину» время от времени появлялись его заметки о подвигах солдат и офицеров части, в которой он служил. Может быть, именно поэтому представления к награждению орденами и медалями бойцов понтонно-мостового батальона писал именно Марат Гаврилович Сухоруков. Хорошо изучив тонкости этой непростой науки, он знал, какие подвиги соответствуют, скажем, ордену Славы, какие ордену Отечественной Войны Первой степени, а какие – Второй. Особо гордился он тем, что все, на кого он писал представления, получали именно те награды, к которым их представляли.

В списке на награждение, который вручил Сухорукову майор Лосев, кроме Говяды, значились еще двое понтонеров, с точки зрения Марата Гавриловича, вполне заслуживших скромную награду в виде медали «За боевые заслуги». Но фамилия Говяды, представляемого к ордену «Красного Знамени», вызвала его возмущение. Он воспринял это как кощунство, как насмешку над одной из самых высоких боевых наград. Подумать только – орден «Красного Знамени»! За что? За какую-то задницу!

С трудом сдерживая негодование, срывающимся голосом, он объявил майору Лосеву, что писать наградную на Говяду категорически отказывается.

– Это почему же? – пряча улыбку, спросил майор.

– Это не подвиг, а черт знает что! – уже не сдерживаясь, выпалил Марат Гаврилович.

Майор рассмеялся.

– Н-да... Особой красотой подвиг Говяды не блещет, что и говорить, – согласился он. – Однако переправу он, как ни верти, все-таки спас. К тому же – приказ генерала. Так что придется тебе, друг любезный, наградную на Говяду сочинить.

– Не могу, товарищ майор! – взмолился Марат Гаврилович. – Пусть кто-нибудь другой напишет! У меня рука не поднимается!

– А ты подними, – усмехнулся майор. – Придумай что-нибудь этакое, героическое, ты это умеешь. Лучше тебя никто не напишет.

Марат Гаврилович был польщен словами майора, но примириться с награждением Говяды не мог.

– Говяде – орден Красного Знамени! Ну, пусть медаль какую-нибудь, Красную Звезду, наконец! Но Красное Знамя! За что? За то, что у него жопа широкая?!

Лосев снова рассмеялся.

– Ладно... Иди пиши!

В Шпремберге штаб расположился в двухэтажном особняке пастора, бежавшего из города вместе с женой в страхе перед русскими. Марат Гаврилович занимал на втором этаже комнату с массивным письменным столом, шкафами, заполненными толстыми книгами с рыжими тиснеными переплетами, и украшенную портретами благообразных немцев в черных, доверху застегнутых сюртуках и белых стоячих воротничках. Был вечер, штаб опустел: майор Лосев справлял день рождения. Марат Гаврилович, в полном одиночестве, мрачно поглощал вишневый компот из банки, какие во множестве хранились на полках в подвале пасторского дома. Внезапно его осенила счастливая мысль: написать все, как оно и было, не выдумывать ничего героического, именно так – заткнул дыру в понтоне собственной задницей!

Там, наверху, только посмеются, и никакого ордена этот болван не получит!

Марат Гаврилович повеселел и, напевая про то, что броня крепка и танки наши быстры, спустился в подвал и принес еще две банки компоту, на этот раз клубничного и абрикосового. Компоты он обожал с детства, а у немцев они оказались отменными. Но едва он открыл банку клубничного, как новая мысль вернула его в прежнее настроение: Лосев ни за что не подпишет такое издевательское представление. Придется-таки придумывать этому толстозадому ублюдку подвиг, что предусмотрен в положении об ордене Красного Знамени.

Уставясь на портрет седовласого немца с постным выражением длинного лошадиного лица, Сухоруков тупо ел клубничный компот, и внезапно почувствовал запах папиросного дыма. Сам Марат Гаврилович не курил и к запаху табака испытывал отвращение. Обернувшись, он увидел в дверях с папиросой во рту старшего лейтенанта Голубкова. И, как всегда при виде Голубкова, у него засосало под ложечкой.

Сергей Иванович Голубков не отличался молодцеватой выправкой и выглядел не слишком импозантно. Военная форма сидела на нем мешковато и ничуть не скрывала сугубо штатского облика – до войны он преподавал историю партии в ветеринарном техникуме. В батальоне старший лейтенант держался обособленно, с офицерами не дружил, да никто, собственно, дружбы с ним и не искал: старший лейтенант Голубков был СМЕРШем, представлял, как принято говорить, «органы», то есть контрразведку. Марата Гавриловича он навещал частенько, как бы по-дружески, что хотя и льстило самолюбию писаря, но не избавляло от неясных ему самому опасений. Для Голуб-

кова же Марат Гаврилович, человек простой и словоохотливый, был прекрасным источником информации. К тому же они были земляками и не только из одного города, но и с одной улицы.

– Ну что, земляк? Отдыхаешь от трудов праведных? – спросил Голубков, усаживаясь в кресло, с которого услужливо соскочил Марат Гаврилович.

– Какой там отдых, – вздохнул тот, – к утру надо составить представление к награде.

– Ну, для тебя это дело привычное.

– Привычное-то оно привычное, да не по душе мне это!

– Что так?

Марат Гаврилович охотно поделился с Голубковым своим возмущением по поводу представления Говяды к такому почетному ордену.

Голубков слушал насмешливо и внимательно. Историю, приключившуюся с Говядой, он уже слышал, но рассказ писаря натолкнул его на мысль, что дело, пожалуй, пахнет умышленной дискредитацией почетной награды и потому им следует заняться.

– А что он из себя представляет... эта говяда? – после некоторого раздумья спросил Голубков.

– Именно, что говяда, – улыбнулся Марат Гаврилович шутке СМЕРШа. – Из этих он, которые в оккупации побывали. Вроде бы пастухом был, да на большее и не тянет. Солдат никудышный, как говорится, сено-солома. А вот задница у него...

– Про задницу наслышан, – кивнул Голубков.

– Ну, конечно, мечтает, чтобы колхозы после победы распустили, – добавил Сухоруков.

– Почему «конечно»? – насторожился старший лейтенант.

– Да они все, которые из-под немцев, мечтают об этом, – пробормотал писарь, уже жалея, что заговорил на скользкую тему, и стараясь не глядеть на Голубкова.

– Не только из-под немцев, Марат, – сухо проговорил Голубков. – Есть и другие, к сожалению.

– Про других не знаю, Сергей Иванович.

– А этот, Говяда, он сам тебе про колхозы говорил?

– Ну... какие у меня могут быть с ним разговоры... Рассказывал кто-то... – и, чтобы уйти от опасной темы, Марат Гаврилович вернулся к тому, что его волновало. – Вот, скажите, Сергей Иванович, можно такому орден Красного Знамени давать? Скажите, можно?

– Не знаю, не знаю... – думая о своем, проговорил Голубков, – Кстати, там еще есть кто-то из его села?

– Ильчук Микола. Они с Говядой в одном отделении. Только не очень-то ладят. Вроде бы, Говяда девку у него отбил.

– В одном отделении? – прищурился старший лейтенант. – Это кто же до такого додумался?

Марат Гаврилович поначалу не понял, что в этом плохого, но сообразил: видимо, нельзя двух парней, из бывших под немцами, в одном отделении держать.

– Ладно, черт с ними, с говьядами, – сказал Голубков и стал пальцами доставать ягоды из банки с компотом. – Девку говоришь, отбил? Это с такой-то задницей?

– А кто их, баб, поймет... – пожал плечами Марат Гаврилович.

– Да уж, одно слово – бабы, – согласился Голубков, утирая рот тыльной стороной ладони. – Ну, что пишут из дома? Радуются нашим победам? А?

Поговорили о родном городе, и Голубков ушел. О Говяде больше не было сказано ни слова.

Второй взвод третьей роты занимал небольшую гостиницу «Гольденер Шван», что в переводе «Золотой лебедь». Солдаты, если не дежурили на мосту и не шатались по городу, заглядывая в пустующие дома в поисках трофеев, да и в не пустующие – поразвлекаться с более или менее покладистой немкой, проводили время в гостинной, обставленной мягкими креслами и диванами.

Сержант Стариков цветными карандашами пририсовывал на огромном портрете Гитлера петлю на шее фюрера. А наш герой Степан Говяда любовался золотыми часами, найденными в брошенном доме. Часы были карманные, с крышкой, Если нажать кнопку, крышка открывалась, и часы играли музыкальную фразу из гимна «Дойчлянд, Дойчлянд юбер аллес». Говяда, как замороженный, открывал и закрывал крышку, с блаженной улыбкой вслушиваясь в мелодию.

– Махнемся? – предложил пройдошливый Витька Шерстобитов, показывая кинжал в серебряных ножнах.

– Не-а, – осклабился Говяда. – Я их деду подарю.

– А на что ему часы? Старики на время не смотрят.

– Музыку будет слушать, – все так же улыбаясь, сказал Говяда. – Он музыку очень обожает, на балалайке играет – заслушаешься.

Что деду Степана девяносто два года, а он еще работает на пасеке, знали все.

– Так он этой твоей музыкой всех пчел переполошит. А кинжал – вещь полезная, и хлеб тебе резать, и мясо, а в случае чего и защита! – не унимался Витька. – Ну, махнемся?

– Не-а, – повторил Степан и спрятал часы в нагрудный карман.

– А у деда твоего такая же задница, как у тебя? – спросил кто-то.

– У деда-то? Не, у деда зад тощий, – засмеялся Говяда, – как у козленка, можно сказать, и нет вовсе.

– Да, – задумчиво сказал Стариков, – повезло тебе, что зад у тебя отцовский, а не дедовский, тощим задом ордена не зарабатываешь.

Все засмеялись, в том числе и Говяда.

– Ну, Степан, вернешься домой, Машка – твоя! – не без зависти сказал рыжеватый паренек, тот самый Ильчук, из одного

села с Говядой. – За орденом она и про твой зад забудет. Только не рассказывай, как орден достался, засмеет.

– Не засмеет, – заявил сержант. – Орден, он и есть орден. Только его еще получить надо. И, между прочим, домой вернуться. Война пока не кончилась.

И тут в гостиную вошел долговязый, усыпанный веснушками солдат в голубых погонах, один из двоих, составлявших подразделение старшего лейтенанта Голубкова.

– Рядовому Ильчуку срочно явиться к старшему лейтенанту Голубкову! – объявил он. – Срочно!

Все молча глядели на Ильчука. Тот побледнел.

– Кому? Мне? – спросил он растерянно.

– А то кому? Ты один у нас Ильчук. Пошли!

Ильчук обвел притихших солдат испуганным взглядом и последовал за посланцем СМЕРШа.

Тем временем Марат Гаврилович сочинял для Говяды подвиг, достойный ордена Красного Знамени. Такой уж он был, Марат Гаврилович. Возмущался, негодовал, обзывал Говяду поносными словами, но стоило взять перо, и Говяда исчез, а на его месте оказался настоящий герой, статный, мужественный, с риском для жизни спасающий решающую для победы переправу.

Перечитав написанное, Марат Гаврилович, довольный, принялся за компот, на этот раз грушевый, попутно размышляя, что хорошо бы собрать все написанные им наградные и напечатать отдельной книжкой, а на обложке, рядом с именем автора – знак понтонеров – якорь и скрещенные топоры. Был бы подлинный гимн мужеству понтонеров!

Утром Марат Гаврилович положил на стол майора Лосева свое сочинение и, застенчиво улыбаясь, следил за выражением лица начальника штаба. Но тот читал, казалось, без достаточного внимания. Капитан выглядел мрачным и после затянувшегося до поздней ночи, если не до утра, дня рождения не вполне протрезвевшим. Кончив читать, Лосев долго тер лоб, вздохнул, стал бессмысленно перебирать лежавшие на столе бумаги.

– В общем, так... – проговорил он, наконец, не глядя на писаря. – Представления на Говяду посылать не будем. Нету больше Говяды.

– Нету? – не понял Марат Гаврилович. – Как это... нету?

– А вот так! Нету и все. Увезли Говяду.

– Куда?

– А об этом ты у своего земляка спроси, – сказал он, как-то странно взглянув на писаря.

Расспрашивать старшего лейтенанта Марат Гаврилович, разумеется, не стал и удовольствовался слухами. Говорили, Ильчук на допросе заявил, что Говяда активно сотрудничал с немцами, выдавал партизан, заходивших в село. Был и вовсе

дурацкий слух, будто Говяда не Говяда вовсе, а самый настоящий немец, оставленный для проникновения в ряды армии с диверсионными и шпионскими целями. Впрочем, в то, что Говяда – немец, мог бы поверить только тот, кто не видел его своими глазами и не слышал, как он произносит букву «г».

Вообще-то, Марат Гаврилович мог бы порадоваться, что Говяда не получит награды за свой нелепый подвиг. Но не радовался. Конечно, не такой уж великий подвиг – заткнуть дыру в понтоне задницей, но все ж и не повод, чтоб отправить человека в лагерь. А что арест Говяды непосредственно связан с его подвигом, Марат Гаврилович не сомневался. Почему-то вспомнилось, как в тридцать седьмом арестовали их соседа за то, что в его сортире нашли газету с портретом товарища Сталина.

После ухода писаря майор Лосев достал из заднего кармана узенькую фляжку и, сделав пару глотков, поморщился, вздохнул и отправился к переправе. На мосту было все в порядке, машины шли без заторов, и Лосев, еще раз приложившись к фляге, собрался было уходить, как вдруг увидел сидящего в понтоне Ильчука с разбитой в кровь физиономией.

– Что с тобой? – спросил он, нагнувшись над ним.

Ильчук только охнул и застонал.

– Упал с настила, – равнодушно сказал стоявший рядом сержант Стариков. – Упал, знаете ли, прямо мордой. Нехорошо упал. Да вы не беспокойтесь, товарищ майор. Все в порядке. До свадьбы заживет. В другой раз будет осторожней.

Лосев чуть заметно улыбнулся и кивнул. Сержант, откозыряв, отошел. А майор снова отхлебнул из фляжки и вернулся в штаб. Усевшись за стол, он попытался взяться за работу, но в голову ничего не шло. Вглядевшись в лежащий перед ним листок, не сразу сообразил, что это представление на награждение Говяды, оставленное писарем. Он перечитал его еще раз, вспомнил разбитую физиономию Ильчука и вдруг решительно поставил под сочинением Марата Гавриловича свою подпись.

Майор Лосев хорошо знал, что все бумаги идут по строго заданным маршрутам и редко перекрещиваются. Так что наградная на Говяду пойдет совсем не по тем каналам, по которым поступят сведения об его аресте. Ни в какую вину Говяды майор не верил. В личном деле Говяды имелись сведения, что соответствующую проверку он прошел и в связях с немцами не замечен. И все-таки для перестраховки поставил на сопроводительной бумаге вчерашнюю дату – дескать, подписано до того, как Говяду арестовали. Усмехнувшись своими мыслям, он снова воспользовался фляжкой, решил, что являться к командиру батальона в таком виде не стоит, и отправился к себе вздремнуть часок-другой.

Назавтра, окончательно протрезвев, майор изрядно струхнул, вспомнив свою вчерашнюю, в сущности, бессмысленную выходку. Решил остановить отсылку опасной бумаги, но оказа-

лось, что комбат уже подмахнул ее, по-видимому не разобравшись в ситуации, и бумага ушла. Майор подумал, подумал и решил выкинуть это из головы, поскольку исправить все равно ничего нельзя. Были к тому же дела поважней – батальон получил задание навести переправу на Эльбе.

А в начале мая, в Дрездене, Марат Гаврилович Сухоруков узнал, что его земляк получил звание капитана и орден Красного Знамени. Марат Гаврилович представления на него не писал, все шло по другим каналам. Но очень ему хотелось узнать, какие именно подвиги, соответствующие положению об ордене Красного Знамени, Голубкову приписали. А приписать, конечно, приписали, ведь ни в каких боевых операциях Голубков не участвовал и подвига, даже такого нелепого, как Говяда, совершить не мог. Разве что был тот редкий случай, когда незаметный подвиг не прошел уж вовсе незамеченным. Но Сухоруков не верил в незаметные подвиги и понимал, что орден Голубков получил за «разоблачение» бедняги Говяды. ТАМ это считалось подвигом. Незаметным, то есть таким, который и не должен быть замечен. И подумалось: так же, как он, Сухоруков, сочиняет подвиги, ТАМ сочиняют преступления. И за разоблачение этих выдуманных преступлений получают награды... Подумал и... оглянувшись, будто кто-то мог подслушать его крамольные мысли.

Вскоре пришла Победа. И радость была безмерной и оглушительной, и никто больше не вспомнил о бедняге Говяде.

Марат Гаврилович был награжден медалью «За боевые заслуги», что оказалось для него полной неожиданностью, потому что сам на себя он наградной не писал. И только потом узнал, что писал лично майор Лосев, что было особенно лестно.

На этом можно было бы закончить рассказ о беспримерном подвиге понтонера Говяды и «незаметном» старшего лейтенанта, ныне капитана, а может и майора Голубкова, если б она не имела продолжения. На встрече ветеранов понтонно-мостовой бригады в шестьдесят третьем году Марат Гаврилович узнал от бывшего сержанта Старикова, что в пятьдесят четвертом Степан Говяда вышел из лагеря и был полностью реабилитирован. Но больше всего поразило его, что еще через шесть лет Говяду вызвали в Москву, и в торжественной обстановке вручили орден Красного Знамени.

– Такая вот хреновина, – заключил Стариков свой рассказ. Майора Лосева на встрече не было и объяснить, как это могло произойти, было некому.

«Награда нашла героя», как принято писать в таких случаях.

– А еще вот что, – усмехнувшись, добавил Стариков, – в лагере Говяда, лишился своей замечательной задницы, стала она тощей, как у козленка. Такой задницей дыру в понтоне не заткнешь.

Давид Самойлов

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ^{*}

* * *

Казните ангела, художник,
Убейте голубя, поэт!
Не надо вам кумиров ложных,
Ну а иных кумиров нет!

В вину вам это не вменяют –
Бей по друзьям, как по врагам.
И ангел крылышки роняет,
И голубь падает к ногам.

Ах, сколько нас, неосторожных,
Перемешавших тьму и свет.
Казните ангела, художник,
Убейте голубя, поэт!

1964

* * *

Засиренило сначала,
Засерело, засырело,
Ну а вскоре – зажурчало,
А потом зазеленело,
А потом уже запело,
Засвистело, зазвучало.
Это
Кончилось начало
Лета.

1969

* Эту – вторую по счету – подборку из десяти никогда не публиковавшихся ранее стихотворений Давида Самойлова также подготовила к печати и предоставила «Иерусалимскому журналу» вдова поэта Галина Ивановна Медведева. Первая такая подборка была напечатана в «ИЖ» № 13 (2002).

* * *

Все разрушу, – говорит
Борец.
Все построю, – говорит
Творец.
И пока Борец Творца
Убивал вблизи дворца,
Во дворец залез Подлец
И в тюрьму забрал Борца...
Этой сказке нет конца.

1971

* * *

Светлорогая полночь висит над землей,
Светлый дом увязает в снегу.
Хорошо на ветру нехолодной зимой
Спится синему березняку.

Мне бы надо отправиться в снежную ночь
В неизведанный край тишины,
Когда спит моя мать, когда спит моя дочь,
И жена моя спит и сыны.

В эту светлую ночь хорошо одному,
Ибо видятся сны наяву.
И куда мне идти? И никак не пойму,
Для чего я на свете живу.

на границе 1975 и 1976

КАРЛИКОВАЯ СОСНА

Карликовая сосна –
Произведение искусства.

Гений до смерти растёт,
А бедные наши таланты
Долго живут, превращаясь
В карликовую сосну.

1971

* * *

Я верю в то, что победит основа –
Возвышенное чувство правоты.
Но не хватает трепета ночного
И благорастворенной немоты.

И ждать ли их, примет блаженной воли
Уже теперь навечно, навсегда?
Или горячей шапкою на воре
Сияет нам грядущая звезда.

1977

ПРАЗДНИК

Наши смерти, наши даты,
Наши беды и надсад...
– Аты-баты, шли солдаты –
Распевает детский сад.

Сорок первый, сорок пятый
Иль еще какой-то год.
– Аты-баты, шли солдаты -
Бил навстречу пулемет.

Автоматы и гранаты...
Лишь один приполз назад.
– Аты-баты, шли солдаты –
Распевает детский сад.

1974

* * *

Меня жизнью вокруг обставляют:
Дети плачут, собаки лают.

От меня чего-то желают –
Дети плачут, собаки лают.

Умирают вокруг, умирают.
Дети плачут, собаки лают.

Аист, аист вдаль улетает.
Дети плачут, собаки лают.

Апрель 1977

* * *

А. Д. Сахарову

Один за всех. Никто за одного.
Молчит Россия, скованная ленью.
И только чуждый голос за него
Уныло голосит из отдаленья.

31.01.80.

* * *

Наверно, все уже ушло.
И та божественная сила,
Которою меня несло,
Но никогда не заносило.

Уже недалеко черта,
Когда по мненью неопита,
Мы устареет, как фита,
И выпадет из алфавита.

Наверное, произойдет
Естественная смена вкусов.
Как бородатый анекдот
Войдем во время, что безусо.

Тогда, быть может, нас спасут
Ирония и жалость к людям,
Которым мы простим их суд,
А сами судьями не будем.

Но ты, наверно, не продашь
И не отвергнешь, друг весенний,
Трудолюбивый опыт наш
В пылу повальных отречений.

1980

* * *

Не хочется с тобою расставаться,
Зеленая и синяя планета –
Пусть даже предстоят любовь и братство
Иного мира и иного света.

О брeнная! Ничтожная. И все же
Страшна и невообразима жертва
Ничтожных благ, которые дороже
Бессмертия и вечного блаженства.

1981

Борис Камянов

*«ЗНАМЯ СТРОИТЕЛЯ»
И ЭТО ЗНАМЕНОСЦЫ **

Шестьдесят первый год. Мне шестнадцать, я, арбатский человек, учусь в девятом классе и пишу стихи.

Версификаторством занимался с раннего детства – с переменным успехом. Так, в пятилетнем возрасте, высматривая вместе с мамой через окно задержавшуюся где-то няню, я, по свидетельству родителей, произнес экспромт, от которого они пришли в восторг:

– Я скажу вам по секрету: очень долго Насти нету. Кто же скажет, Боже мой, когда она придет домой?!

Подобные творческие взлеты, правда, случались редко; гораздо чаще, уже в школьные годы, на свет появлялись монстрики типа такого:

Сижу на маленькой скамейке
Под тенью беленькой осины.
По всей осиновой аллейке
Разнесся запах древесины.

Какого цвета кора осины, не знаю до сих пор, но опасаясь, что не белого...

Однако время шло, и наконец, после полета в космос Гагарина, я написал стишок под названием «Первому космонавту», посвященный, однако, не триумфатору, а его предшественнику, который, по слухам, погиб при неудачном старте космического корабля. Этим опусом я возгордился и, вдохновленный удачей, накропал еще одно стихотворение – «Часы» (оба они осуждены на пребывание в архивной папке-склепе с надписью «после моей смерти не публиковать», хотя при жизни автора «Часы» все же увидели свет в израильском журнале «Круг» в восемьдесят девятом году). Мне, конечно, было ясно, что первое из них – абсолютно непроходное, но второе я решил попытаться напечатать, а тут как раз «Комсомольская правда» объявила поэтический конкурс. Не доверяя свое детище почте и горя нетерпением, я набрался наглости, взял папку со стихами и поехал в редакцию самолично.

Заведующим отделом поэзии в «Комсомолке» был тогда Игорь Августович Ринк, казначей парторганизации московских писателей, вскоре проворовавшийся и исчезнувший из поля моего зрения. «Часы» он прочитал при мне, похвалил, сказал, что вскоре опубликует, и спросил, не готов ли я помочь ему разбирать завалы писем со стихами, присланными на конкурс. Забегая вперед, скажу: обещание напечатать меня так и не было выполнено – Ринку просто нужны были

* Журнальный вариант главы из книги воспоминаний.

литературные мальчишки на черную работу по отсеиванию графоманов. Но как же я был благодарен ему за такую возможность – и признателен до сих пор! С того самого времени среди жанров, в которых я работаю, есть один, называемый после нескольких переименований «Перлы среди жемчужин», – это разнообразные смешные ляпы, которые я выискиваю в книгах, журналах и газетах, письмах и объявлениях, радио- и телепередачах и публикую, зачастую со своими комментариями-эпиграммами. Собрание бережно хранимых мной «перлов» открывают экспонаты, обнаруженные именно тогда, у Ринка.

Из первого же конверта, вскрытого мной в «Комсомолке», выпал листок со стихотворением, где были такие строчки:

Мы с тобою идем к коммунизму,
Потому что нам некуда больше идти!

Чуть позже я наткнулся на еще один перл:

Партия – наше знамя, верю я!
Но не допускать в нее подобных типов –
таких, как Берия!

Излишне говорить, что счастьем моему не было пределов.

...Выйдя из кабинета Ринка, я решил, прежде чем отправиться домой, посидеть на лестничной площадке, представлявшей собой довольно обширный холл с журнальным столиком посередине, вокруг которого стояли кресла. Впервые в жизни я почувствовал причастность к тому, что представлялось мне Большой Литературой, и хотел закрепить в себе это ощущение.

Я сел в кресло и закурил, положив папку со стихами на столик.

Рядом со мной о чем-то беседовали два довольно пожилых очкарика – один из них старше меня примерно вдвое, другой – лет на десять. Первый обладал буйной шевелюрой, густыми усами и зычным басом, второй был коротко стрижен, растительности на лице не имел и говорил интеллигентным картавым тенорком. Они прервали свой разговор, посмотрели на меня, на мою папку, и лохматый спросил:

– Небось, стихи на конкурс принес?

Я кивнул.

– Дай почитать, – и протянул руку за папкой.

Прочтя стихи, он передал их своему товарищу, и тот тоже углубился в чтение. Через несколько минут круглолицый вернул мне подборку и сказал:

– Давай знакомиться. Меня зовут Феликс Розинер, а его – Марк Ляндю. Мы оба пишем стихи и занимаемся в литобъединении, которым руководит Эдмунд Иодковский. Это знаменитый поэт-песенник, помнишь: «Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я»? Приходи к нам, мы собираемся по средам на Сретенке, в Давом переулке, в редакции многотиражки «Знамя строителя».

...С Марком Ляндю, геологом по профессии, мы дружили со дня знакомства до самого моего отъезда в Израиль в семьдесят шестом году. Склонный к конструктивистской разновидности словотворчества, он писал (и надеюсь, продолжает писать) весьма экспрессивные

стихи, сопровождая их чтение энергичной жестикуляцией. Все свои публичные выступления он начинал с верлибра «Виногимн», очаровывая девиц буйным темпераментом. Модернизм в совдепии, как известно, мягко говоря, не приветствовался, но, как ни странно, стихотворение Марка под названием, если не ошибаюсь, «Геологиня», получило на том самом конкурсе «Комсомолки» третью премию.

Феликс Розинер прославился в шестидесятых-семидесятых на ниве искусствоведения, выпустив одну за другой несколько книг о знаменитых художниках и музыкантах, в частности, о Чюрленисе и Григе. В семьдесят восьмом он приехал в Израиль и вскоре приобрел чуть ли не всемирную известность благодаря отличному роману «Некто Финкельмайер», удостоенному во Франции престижной литературной премии Даля. Этот роман я прочитал еще в Москве, в рукописи, незадолго до репатриации. Феликс был одним из двух «знаменосцев» (второй – Вадим Ковда, о котором ниже), не побоявшихся выступить в мою защиту при погромном обсуждении моих стихов и поэмы «Похмелье» в семьдесят третьем году на заседании комиссии по работе с молодыми писателями московского отделения СП (мы называли ее «комиссией по борьбе с молодыми»); помнится, вели тот вечер поэты Николай Панченко и Нина Бялосинская, слывшие большими либералами). В Израиле Розинер прожил несколько лет, заведя редакцией религиозного издательства «Шамир», где я работал под его началом; потом он перебрался в Америку, выпустил немало прозаических и поэтических книг и скончался после тяжелой болезни в девяносто седьмом.

А пока – на дворе хрущевская «оттепель»; дружба моя с этими людьми еще впереди, как и годы, связанные со «Знаменем строителя», куда я пришел, естественно, в ближайшую же после посещения «Комсомолки» среду, взяв с собой мою первую школьную любовь Веру Копылову, юную поэтессу из пролетарской семьи, с восторгом описывавшую разрушение домов старого Арбата в таких строчках:

...Чугунный шар – он, как судьба, пронесится,
Он действует не сгоряча, а с толком.
Увесисто он бьет их в переносицы,
И, как пенсне, звеня, слетают стекла.

Я Верин восторг по этому печальному для меня поводу не разделял, а побывав в Москве в девяностом году, после четырнадцатилетнего отсутствия, вообще исторг из души этот город, навсегда утративший для меня свою неповторимую интеллигентность, незащищенную духовность, осыпавшуюся осколками под ударами чугунных баб беспородного хамства. Думаю, что сегодня и член Союза московских писателей Вера Дмитриева (в девичестве Копылова), с которой мы теперь регулярно переписываемся по «аське», разделяет мои горькие чувства по поводу гибели нашей с ней «малой родины»...

Итак, мы открыли дверь в помещение редакции и попали в коридор, в котором было несколько дверей. За первой находился небольшой зал мест на тридцать, где, как я понял, и проходили занятия литобъединения, за другими – редакционные кабинеты. В одном из них

пили водку трое: крановщик с кирпичного цвета лицом Алексей Канахин, коренастый лысоватый монтажник Юрка Денисов, на многие годы ставший близким моим товарищем, – оба, как и Ляндю с Розинером, люди в возрасте, – и совсем уж старичок, лет за сорок, худой и высокий, – ответственный секретарь редакции Петр Павлович Дятлов. В комнате сидел еще один человек – литсотрудник газеты, улыбочивый и ироничный Боря Петров. Все они были членами литобъединения. Выпивали мы там, должен сказать, и перед началом занятий, и в ходе их, выскочив из зала на короткий поддавон-перекур, и перед уходом – впрочем, и после этого мы, как правило, еще долго не расставались, продолжая наши посиделки у кого-то из нас дома, чаще всего – у нашего руководителя, двадцатидевятилетнего Эдика Иодковского. Между прочим, наши доморощенные лингвисты возводили этимологию слова «строителя» в названии газеты и литобъединения не к скучному глаголу «строить», а к веселому «строить»...

Стихи Канахина, Дятлова и Петрова в моей памяти не отложились, зато многие из Юркиных я полюбил и до сих пор часто перечитываю его книжки. Вот отрывок из стихотворения, написанного им в армии, в пятидесятые годы:

...Когда последний выстрел прозвучит,
беги к мишени, дав поблажку нервам,
считай пробоины, что прочеркнули щит,
вернее – контур на щите фанерном.

Отметь мелком все попаданья те,
к мишени ближе подойди при этом,
и тень твоя сольется на щите
с простреленным тобою силуэтом.

И еще отрывок, тех же времен:

...Идем в казармы. Три версты веселых –
пойди найди нас краше и стройней! –
шагает мирно рота сквозь поселок:
пилотки – на два пальца от бровей.

И старшина опять нам всю дорогу
Одно и то ж талдычит неспроста:
– Не отставать! Кузьмин, смени-ка ногу!
Денисов, вынь ромашку изо рта!

Впоследствии он любил повторять во время застолий, пародируя сам себя: «Денисов, вынь рюмашку изо рта!»

Простым работягой был Юрка, но при этом – интеллигентнейшим человеком, знатоком русской и украинской поэзии (с этого языка он много переводил), острословом и создателем блестящих, запоминавшихся надолго образов, вроде такого:

...Стоишь близ булочной, у входа,
По щиколотку в голубях.

Рассказчиком он был потрясающим. Никогда не забуду его байку о том, что приключилось с ним в годы армейской службы. Однажды, получив увольнительную и готовясь навестить свою зазнобу, он, стоя в одних трусах, гладил брюки на низком столике. Увлечшись работой, он и не заметил, что член его выпростался из трусов и оказался на столе, прямо на штанине. Когда Юрка проехал по нему раскаленным утюгом, детородный орган, по его словам, «зашипел и свернулся». Смущает меня в этом рассказе только одно: это какой же длины был пострадавший член, если трусы, которые мы носили в те времена и называли «семейными», были до колен?

Недавно Вера написала мне, что Юра Денисов умер от инфаркта...

А тогда, в мое первое посещение литобъединения, я представил Веру Феликсу и Марку, и те подвели нас к высокому красивому человеку в очках, говорившему с едва различимым пришепетыванием. Так мы познакомились с самим мэтром, Эдмундом Феликсовичем Иодковским.

Эдик Иодковский был одной из колоритнейших фигур среди московских литераторов: незаурядный поэт; автор многочисленных комсомольских песен, худо-бедно кормивших его всю жизнь, а впоследствии – убежденный антисоветчик; фантастический бабник, в чьем «послужном списке», который он вел с несвойственным ему обычно педантизмом, насчитывались сотни побед; прирожденный педагог, под чьим руководством развили свои литературные способности десятки людей; большой знаток русской поэзии, прекрасно ориентировавшийся во всех ее течениях и направлениях, и одновременно – недотепа, постоянно попадавший в самые разнообразные передраги и терявшийся, когда у него возникали те или иные проблемы... Он был для всех нас и учителем, и другом.

С Эдиком постоянно приключались разнообразные истории, которые быстро становились легендами и ходили по всей Москве, обрастая все новыми подробностями. Вот одна из них, вполне типичная для этого феноменально рассеянного человека. В начале шестидесятых он выезжал летом на дачу с тогдашней своей женой, журналисткой Тамарой Громовой, и их малолетней дочкой Ладой. Однажды ему по каким-то издательским делам понадобилось в город, и он поехал туда, взяв с собой ребенка. На московском вокзале Эдик подошел к стенду со свежими газетами, просмотрел их, спустился в метро и направился в центр. Походив по редакциям и встретившись с нужными людьми, он вернулся на вокзал, сел в электричку и отправился на дачу. Когда Тамара открыла дверь и увидела мужа, лицо ее исказил ужас. «Где Лада?!» – вскричала она. «Как это “где”, – удивился Эдик. – Это я должен спросить тебя, где Лада, – она ведь осталась с тобой!» Девочка была обнаружена родителями целой и невредимой в вокзальном отделении милиции, куда ее привел патрульный прямоком от газетного стенда, где малышку забыл папа...

Эдик был наделен столь редкостным обаянием, что мало кто из литературных мэтров отказывал ему в просьбе посетить наше литобъединение, хотя корифеи, как правило, временем своим дорожили. Правда, он приводил к нам и третьестепенных песенников, и вышелед-

ших в тираж пролетарских поэтов, и признанных только им одним гениев...

Помню, однажды он привел старого сутулого еврея с унылым вислым носом, который оказался автором знаменитой песни гражданской войны «Тачанка» Михаилом Рудерманом. Других подвигов на ниве русской поэзии этот человек не совершил, но остался в памяти благодарного потомства как чемпион среди шлимазлов. В день похорон Сталина он, живший в центре города, умудрился купить диван где-то в районе Трубной площади. Поэт вышел из магазина, а два грузчика, которых он нанял, несли за ним покупку. Дом его находился поблизости, но подходы к нему были со всех сторон перекрыты милицейскими кордонами, сдерживавшими обезумевшую толпу. Автор бессмертной «Тачанки» подходил со своей свитой к оцеплению то в одном месте, то в другом и везде произносил одну и ту же фразу, облетевшую вскоре всю Москву: «Я – писатель Рудерман. Я купил себе диван...»

Среди классиков, почтивших нас своим визитом, был Михаил Светлов. Выступать перед нами он отказался, но милостиво согласился послушать наше чтение по кругу. В крепком подпитии сидел он, мрачный, напротив нас за столом рядом с Эдиком, подперев голову кулаком, а мы тем временем один за другим читали ему свои творения. Но вот «отстрелялся» последний, и наступила долгая тишина. Когда ее уже можно было назвать гнетущей, Эдик осторожно тронул Светлова за плечо и вкрадчиво сказал:

– Михаил Аркадьевич, ребятам интересно, что вы думаете об их стихах...

– Говно! – изрек мэтр.

Эдик оторопело посмотрел на него и попытался хоть как-то спасти положение:

– Все-все говно? Неужели вам ни одной строчки не запомнилось?

– Все говно. Разве только вот у него, – и Светлов показал пальцем на меня, – есть пара живых строк, – и процитировал на память:

Троллейбус из-за поворота вышел,
Сияющий и гордый, как жених.

Но не успел я возгордиться тем, что отмечен Мастером, как мигом был поставлен на место:

– А впрочем, и это – говно... Все говно!

...А времена тогда для начинающих московских писателей были веселые: литобъединений были десятки, люди кочевали из одного в другое – многие из нас – в частности, серьезная и молчаливая Лариса Миллер, – посещали и «Магистраль» поэта Григория Левина при Доме культуры железнодорожников (куда, кстати, регулярно ходили молодые Окуджава и Саша Аронов), и «Метрострой», как бы филиал «Знамени строителя» (где на пару вели занятия тот же Эдик Иодковский и юный, но уже довольно широко публиковавшийся Петя Вегин), и другие места, рангом пониже. Мы с Верой, как самые молодые, захаживали и в объединение при городском Доме пионеров в переулке Стопани, где было несколько способных ребят. Бывали мы

и в лито, которое вел где-то в Измайлово известный всей Москве карлик Симон Бернштейн («Стихи тогда получаются отчаянно хороши, \ Когда они вырываются нечаянно из души»), и в объединении имени Багрицкого, которым руководил поэт Александр Морковкин, публиковавшийся под куда более благозвучным псевдонимом Богучаров. Морковкина давно нет в живых, и грех хранить в сердце обиду на покойного, но до сих пор помню, как он однажды подшутил надо мной. В подборку молодых поэтов-пролетариев, которую он подготовил и опубликовал в журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент», он включил и мое стихотворение «Встреча в автобусе», где были такие строки о художнике, сидевшем в автобусе напротив меня и набрасывавшем мой портрет: «Карандаш по бумаге рыскал, \ И, безжалостный, словно нож, \ Он писал далеко не римский, \ Мой немалострадальный нос». Когда я раскрыл свежий номер журнала, то обнаружил вот что: «Он писал далеко не римский, \ Мой рязанский курносый нос»...

Понятно, что и люди, занимавшиеся в других объединениях, бывали у нас – как правило, на персональных чтениях самых ярких личностей.

Приходили в «Знамя строителя» и смогисты – члены общества СМОГ; эта аббревиатура расшифровывалась двояко: Самое Молодое Общество Гениев и – Сила, Мысль, Образ, Гармония. Наиболее талантливыми среди них были Леня Губанов и Володя Алейников, с которыми я дружил; часами расхаживали мы, то вдвоем, то втроем, по Тверскому бульвару, читая друг другу стихи и распивая из горла дешевое вино. Общался я и с Володией Батшевым, но отношения у нас были довольно сложными, так как он тоже ухаживал за Верой Копыловой, и как-то раз мы с ним даже чуть не подрались из-за нее. Яша Зугман, о котором речь пойдет ниже, называл нас «единоверцами».

Однажды смогисты явились к нам в полном составе (мы в тот вечер собрались почему-то не в Давеом переулке, а в каком-то клубе на Волхонке), заранее было объявлено сольное выступление Губанова. Леня читал так долго, что я успел выхватить из услышанного несколько характерных для него пассажей и написать на их основе пародию, которую в конце вечера и прочитал.

Вот те самые цитаты из Лениных стихов:

Тротуар моей души.

Ого, угушеньки, ага.

Я умилен, как Гумилев
За три минуты до расстрела.

Бабы, мажьте жирным телом
Черный сруб моей избы.

А я семнадцатый, семьсотый.

Русь понимают лишь евреи.

Белый пруд твоих рук не желает понять,
ну а Бог? Ну а Бог? Ну а Бог?

А вот – пародия:

Ах, бабы, банты, бунты, банды,
Базары, бары, барыши!
Чихают сумрачные барды
На тротуар моей души.

А я не прежний – весь в канунах.
Каноны канули – конец! –
В бухие плечики Калуги...
О, Русь моя! Я твой гонец.

А я пою для вас, о, люди,
Но мир – неблагодарный гад.
Могли вы только улюлюкать:
Ого, угушеньки, ага!

Сучки и сучки. Страшный сон.
Я странный, как сова в купели.
Я потрясен, как Паттерсон
За месяц до совокупленья.

Салоны, солопы, салопы,
Солохи в шляпках набекрень
И молодые соломоны
С татуировкой на бедре...

О них я вспомнил между делом.
Перо, посвистывай, пляши!
О, бабы, мажьте жирным телом
Обдирный хлеб моей души!

А я – семнадцатый, семьсотый,
Я гениален, как Гончар.
Сектантов, сучек и сексотов
Я на своей строке качал.

Ах, колокольня на горе я!
Ну, чем я плох? Чем я плох? Чем я плох?
Русь понимают лишь евреи?
Ну, а СМОГ? Ну, а СМОГ? Ну, а СМОГ?

Здесь надо пояснить, что наш приятель поэт Джим Паттерсон – это тот самый негритенок из фильма «Цирк», которого передавали по рядам из рук в руки. Понадобился он мне тогда просто для рифмы, как и Олесь Гончар – советский прозаик, получивший в начале шестидесятых какую-то престижную премию.

Леня, слава Богу, на пародию не обиделся; он знал, что я его люблю и высоко ценю как поэта. А вот шутка Яши Зугмана наших гостей задела, и они, все как один, надулись. «Смогисты, – изрек Яша, – похожи на импотентов, которые бегают по улицам и кричат: “Смог! Смог!”» Но были мы все людьми веселыми и отходчивыми, долго друг на друга сердиться не могли, и та встреча завершилась так же, как и все другие: братским застольем в очередной берлоге, где зимовал Эдик...

Отношения в среде молодых писателей-шестидесятников были тогда тесными и поистине братскими; это уже в следующем десятилетии центробежная сила выбросит из нашего круга «молодогвардейцев» Владимира Шленского и Сергея Сушу, смогисты закуклятся в своей компании, «Знамя строителя» прекратит существование еще раньше, и те из нас, кто составлял костяк объединения, будут собираться то у одного, то у другого, и гораздо реже, чем раньше.

В семидесятые уйдут из жизни Юра Клепов (добровольно), Володя Шленский (по слухам, инфаркт на сцене во время выступления), актер Женя Красавцев и Яша Зугман; эмигрирует во Францию Коля Боков, в США – Рая Полянкер, вышедшая там замуж и издавшая книжку рассказов под фамилией мужа – Сильвер; репатрируется в Израиль Веня Волох, а вскоре уедем туда и мы с Игорем Городецким, прозаиком и самым близким моим другом со школьных лет, упрямо добивавшимся права на выезд; пропадут с концами Володя Галкин, Марк Давыдов («Это, наверно, не интересно, \ Но все же вам сообщаю я: \ Когда я смеюсь отчаянно весело, \ Я смеюсь от отчаянья»), Валера Красный, в девичестве – Джугашвили, Володя Мартынюк, Ирина Лебедовская, в чьей фамилии мы, естественно, всегда меняли оба «е» на «и», Юра Львович, Лева Персиц, учитель из Подмосковья Александр Дождиков («Тяжело бытовать при Батые. \ При Батые законы крутые. \ А законники – конники, конники...»), Ваня Сарабеев, Людя Мигдалова (Вмигдалова, как говаривал Юра Денисов), геолог Боря Стефанович, Саша Френкель, которого я называл Шизофренкелем, поскольку всегда с ужасом и содроганием наблюдал, как он прихлебывает водку из стакана, словно чай...

Вспоминаю, что в те годы Володя Шленский часто общался с Марком Ляндю и любил рассказывать о том, как мать, прочитавшая когда-то книжку «Принц и нищий», подзывая его к телефону, кричала на всю коммуналку: «Тебя опять твой Марк Твендо!»

Одним из самых старших среди нас – в шестьдесят первом ему исполнилось тридцать пять – был преподаватель философского факультета МГУ, ныне профессор, Арсений Николаевич Чанышев, писавший под псевдонимом Арсений Прохожий, – мудрый и расположенный к людям человек, вечно влюбленный в каких-то сопливых легкомысленных девчонок, моих ровесниц, и жестоко страдавший от их постоянных измен. Вот типичная для него миниатюра тех лет:

В этом мире, где столько растлений,
В этом мире, где столько насилий,
Если ты до сих пор не расстрелян,
Значит, душу твою растлили.

Всеобщей любимицей была в «Знамени строителя» Зиночка Паланова, с которой мы сейчас обитаем в Иерусалиме на соседних улицах. Миниатюрная и стройная, непосредственная и доброжелательная, она писала и пишет стихи, не имеющие, казалось бы, никакой генеалогии: негромкие, проникновенные, полные печали, – каждое из них отмечено неповторимым отпечатком индивидуальности. Мама

Зиночки – еврейка, папа – каракалпак, и Яша Зугман, узнав об этом, сразу же заявил, что ее папа окараколпачил маму.

Коля Боков (для меня – Колобоков) ненавидел советскую власть до скрежета зубного. Начинал он со стихов, а потом написал в соавторстве с Борей Петровым повесть, название которой я запомнил (в восемьдесят втором году она была опубликована в Париже в переводе на французский под названием «Голова Ленина»), о приключениях Вани Чмотанова, выкравшего из мавзолея голову Ильича. Органы буквально выпихнули Колю в эмиграцию. В семьдесят девятом я навел на него в небольшой деревеньке под Парижем, где он занимал с женой и дочкой башню в средневековом замке. В те годы Боков выпускал модернистский журнал «Ковчег», в котором было опубликовано немало интересного. Лет через восемь он нанес мне ответный визит, продолжавшийся, правда, не одни сутки, а добрых два месяца.

Сидим мы с первой моей женой и детьми за субботней трапезой, и вдруг – звонок в дверь. Я – в полной прострации: все мои друзья и соседи знают, что мы ведем ортодоксально-иудейский образ жизни, и никогда не нарушат наш субботний покой запрещенным в этот день использованием электричества – они бы просто постучали. Кто же это может быть? Открываю – Колобоков! Грязный, патлатый, с какой-то заскорузлой котомкой за спиной – стоит и улыбается.

Выяснилось, что он совершил паломничество из Парижа в Иерусалим, пройдя пешком почти весь путь, только из Греции до Хайфы добирался морем, на корабле. Из Хайфы он пошел на восток, потом пересек с севера на юг Самарию, а от Рамаллы до Иерусалима – уже рукой подать. Оказалось, что он – крутой православный неопит и дал обет не мыться, пока не достигнет цели своего путешествия. Супруга моя тогдашняя отправила его в ванну, дала чистое белье – и вскоре он, уже распаренный и довольный, сидел за столом, и мы вспоминали нашу московскую молодость и друзей по литобъединению.

Вернувшись из Израиля во Францию, он стал отшельником, жил в какой-то пещере под Парижем, но со временем вновь вышел в большой мир и занял в нем, как я полагаю, вполне достойное место – недавно я случайно узнал, что в 2001 году он получил литературную премию «Дельмас» за свою прозу в переводе на французский. А ведь мы с ним пару раз в год обмениваемся открытками – но он ни слова об этом мне не сказал, поскумничал.

В то его посещение Иерусалима произошла смешная история. Однажды утром он молился в комнате моей дочери, которую мы отвели ему (он все рвался пожить в монастыре, но ни в одном из них в нашей столице и ее окрестностях паломников на постой почему-то не брали), а я делал то же самое в прихожей. В какой-то момент он вышел ко мне; я еще был облачен в талит, с филактериями на голове и на руке. «Мы с тобой, – сказал я Коле, – воплощение бредовой идеи Анвара Садата: он мечтал о том, что на горе Синай будут построены мечеть, церковь и синагога. Так что нам здесь лишь правоверного мусульманина не хватает». Только произнес я эту фразу – звонок в дверь. Открываю – знакомый араб Ибрагим, спец по отделочным работам, которого я задолго до того позвал, чтобы прикинул стоимость

побелки в моей квартире. И надо же было ему явиться именно в эту минуту! Впрочем, я и до того, и после часто убеждался в том, что среди разнообразных свойств Всевышнего чувство юмора занимает далеко не последнее место; подтверждение тому было явлено в девяносто восьмом году, когда безумная мечта египетского президента осуществилась в России, в самой Белокаменной, да еще и не где-нибудь, а на Поклонной горе!..

Заметной фигурой был в литобъединении Вадим Рабинович, пражиком, казалось, сошедший с антисемитских карикатур из «Дер Штюрмера». Прославился он следующим восьмистишием, написанным в шестьдесят втором году после полета в космос Павла Поповича:

Фамилию мою анекдотичную
Иные полагают неприличною.
Находятся порой такие сволочи,
Которым ненавистны рабиновичи.

Я – атеист с фамильей Рабинович,
А «рабби» – поп, попом был род мой начат.
А значит, в переводе я – Попович.
А в век двадцатый это что-то значит!

Сегодня Вадим Львович Рабинович – знаменитый культуролог, философ и историк науки, автор толстенного труда по истории алхимии, доктор наук и, кажется, даже академик...

Близким моим другом был Коля Потапенков, писавший всю жизнь в стол. То, что его стихи не печатали в шестидесятых и семидесятых, вполне естественно: он никогда не сочинял «на потребу», – но и после, до самой гибели поэта в девяносто седьмом, у него не было ни книги, ни даже подборок в прессе, – а писал он отлично. Такая самодостаточность и такое равнодушие к официальному признанию редко встречались в нашей компании. Приехав в Израиль и впервые увидев религиозных мальчишек с пейсами, заложенными за уши, я (да простят меня мои верующие соплеменники) сразу же вспомнил потапенковские строчки:

Летят босые бесенята,
Закинув за уши хвосты.

Несколько лет мы с Колей работали грузчиками в организованной мною бригаде на складах Мособлоптпромбазы УТИМ (Управления торговли Мособлсовета) в самом центре Москвы, под землей, рядом с метро «Дзержинская». Получали мы сдельно, заработки были высокими, и к работягам у меня было только одно требование: пей сколько хочешь, но чтобы в любой момент был готов выйти на разгрузку и погрузку машин. Это удавалось не всем, и время от времени я кого-то выгонял из бригады, а на его место брал одного из поэтов «Знамени строителя», ожидавших своей очереди. Так, кроме Коли, со мной постоянно работал Юра Клепов, ненадолго задержался у нас Лева Персиц, человек непьющий, но уволившийся по каким-то своим причинам. Некоторое время членом бригады был Эдик Иодковский.

Когда я уезжал в Израиль, Коля и Эдик посвятили мне стихи, оригиналы которых я бережно храню.

Вот что написал Коля Потапенков:

Не пишется. Дурные времена.
Но потому-то именно и пишешь,
Стаканчиком изрядно подкрепившись
Старушечьего липкого вина.

Возьмем бутылку – уж чего милей!
Мне нравится ее размытый контур
В тот славный час, когда, как будто коршун,
Мой старый друг склоняется над ней.

Мой старый друг, добрейший мой Барух!
Мы с ним отменно некогда шалили.
Бьюсь об заклад: в своем Ершалаиме
Он стоит двух. И перевесит двух.
Великий Бог Израиля! Пошли им –
Обоим им – и выпивку, и шлюх!

Эдик же сочинил акросонет:

Борис, с тобой прощается Москва...
О, ты мой младший брат – еще с пеленок!
Ребенок знает тайны волшебства,
И верю я: поэт – всегда ребенок.

Судьбою всем ты одарен сполна.
Увы, ты на тринадцать лет моложе...
Как смотрит на тебя моя жена!
Ах, ей в Европу захотелось тоже!

Мы оба крест Поэзии несем.
Я пожелать тебе хочу при этом
Наивности и детскости во всем –
Они присущи истинным поэтам.

Ведь не страшат нас нищета и голод.
Уста поэтов Истину глаголят.

Мы посвящали друг другу стихи, не думая о том, что когда-нибудь будем писать и эпитафии. Вот стихотворение, написанное Володей Галкиным на смерть Коли Потапенкова и найденное мной в Интернете:

Плачет осень. Корчится страна.
Дышит всё сиротством и позором.
Ты ушёл из нашего говна
Гордо и по-русски: под забором.

Ни любви, ни праздника, ни сна.
В печь гробы сажают, словно хлебы...
А над нашим Колей тишина,
Босиком душа идёт по небу.

Есть в раю для грешников приют
В переулке имени Печали –
Там тебе святители нальют,
Ты достоин, чтобы наливали.

Сколько нас осталось, Боже мой, –
Пальцев больше на руках дрожащих.
Скоро, скоро все мы за тобой,
За тобой тела свои потащим.

10 ноября 1997

Одним из самых близких мне людей стал Вадим Ковда. Дружба наша началась в «Знамени строителя» и продолжается поныне, хотя между Израилем и Германией, где он теперь живет, – пропасть, которую я никогда не преодолёю. Вадим – единственный известный мне человек с тремя высшими образованиями: он окончил мехмат, операторский факультет ВГИКа и Высшие литературные курсы. Писал Ковда много и часто печатался, оказавшись весьма пробивным. К власти он никогда не подлизывался, жил всегда трудно, хотя книжки его выходили одна за другой. В творчестве своем Вадим принадлежал к направлению, в котором работали поздний Заболоцкий, Винокуров, Сикорский – так называемая философская лирика. К его удачам критика сразу же отнесла миниатюру, которая со времени первой публикации была многократно перепечатана:

Если только в мое парадное
Ходят три пожилых инвалида, –
Это сколько же было ранено?
А убито?

Литобъединение «Знамя строителя» прекратило свое существование в конце шестидесятых; и в моей жизни, как и в жизни Ковды, Мигдаловой, Палвановой и Шленского, наступил новый этап литературной учебы – в Студии молодых литераторов при Московском отделении Союза писателей, где семинары вели такие знаменитости, как Давид Самойлов, Юрий Трифонов, Аркадий Штейнберг, Вадим Сикорский и другие, того же ранга.

Что касается Эдика Иодковского, то он продолжал разыскивать и собирать вокруг себя талантливых молодых, рядом с которыми мы уже считались чуть ли не корифеями; из его учеников той поры назову трех: российскую поэтессу, поющую свои песни под гитару, Веронику Долину, израильского поэта, прозаика и переводчика Наума Ваймана и еще одного израильтянина – поэта Леонида Колганова.

После «перестройки» Эдик создал и редактировал демократический еженедельник «Литературные новости», а в ночь с двенадцатого

на тринадцатое мая девяносто четвертого года его сбила машина на одном из московских проспектов.

Этот незаурядный поэт и педагог был первым и основным среди знаменосцев «Знамени строителя» и с честью нес стяг до тех пор, пока его не выбили у него из рук. Но и он, и все наше литобъединение навсегда останутся в истории русской литературы второй половины двадцатого века.

* * *

Огромную роль в моем становлении сыграл Яша Зугман, которого многие из нас звали по отчеству – Яков Наумович. Старше меня лет на двенадцать, родом он был из Одессы, жил где-то в Средней Азии, где заработал звание мастера спорта по штанге в легчайшем весе (подражание ему в самых разных областях жизни привело меня и в этот вид спорта, хотя выше третьего разряда я не поднялся), а потом переехал в Москву, где работал врачом-рентгенологом и вместе с женой Тамарой Щербаковой (Тямой) и дочкой Ренатой (Тютей) ютился в каких-то жутких коммунальных развалюхах. Последнее его жилье, которое я помню, находилось где-то между Трубной площадью и Сретенкой. Яша был невысок – где-то под метр шестьдесят, – широкоплеч, лыс и ужасно косил. Сам себя он величал псевдокорейским именем Лы Син Ман, а я называл его, когда он уж слишком доставал меня поучениями, – Яков Заумович Нудман.

Чувство юмора у Яши было абсолютным, он постоянно сыпал шутками, многие из которых немедленно облетали Москву по «беспроводочному телеграфу». Жаль, что я их не записывал, – многое безвозвратно утеряно, может быть, у Тамары что-то сохранилось. Подборку стихов его я, однако, в Израиль вывез, и через четверть века после смерти автора («скорая» прибыла с опозданием, и Яша умер от сердечного приступа) они, наконец, увидят свет. Я многому у него научился – прежде всего, беспощадной объективности в оценке своих и чужих произведений. Он помог мне развить в себе чутье на малейшую фальшь, на натяжки и языковые неточности. Благодаря ему я начал относиться к себе значительно строже, стараясь избегать проходных строк, банальностей, дурных рифм. В том, что я стал профессиональным литературным редактором, – немалая его заслуга.

Яков Зугман

МЕЖ ТЕМНЫМИ ПЕЧАМИ

* * *

За птичьим гнездом ли,
За чашей цикуты –
В прохладный зенит голубой
Тянуться я буду
До смертной минуты,
Вздымая себя над собой.

Пускай этих весен
Осталось немного,
Пусть ноша притерта к плечам,
Пускай не хватает мне света дневного –
Я буду расти по ночам.

Над крышами душ,
Над чужими томами,
Над милою жизнью земной...
Последний мой взгляд,
Словно крона в тумане,
Еще постоит надо мной.

* * *

В мою могилу – ранку на планете –
Сойду без шума. Камень в головах.
А на меня похожие, как дети,
Сиротками останутся слова.

Но в памяти друзей, а не в печати,
Не связанные именем моим,
Пребудут пусть и правды, и печали,
Понятные и нужные другим.

Так матери голодными годами,
Чтоб хоть дитя от смерти уберечь,
Младенцев на базарах покидали:
Пусть выживут. А о себе ли речь...

* Публикация Бориса Камянова.

* * *

Под гнетом дружеского взгляда
Мне даже челюсти светло!
Ведь знаю сам, что так не надо,
А все же делаю – назло!

Вон, борода уже седая,
А мне все тычут и твердят!
Я ложкой в рот не попадаю,
Когда мне под руку глядят!..

Пускай я буду тем отличен,
Что не могу вести дела,
Что от моралей-зуботычин
Я лишь бледнею добела.

Бреду, как под холодным ливнем,
С неугасимым фонарем –
С моим пугающе наивным
Косноязычным словарем...

Друзья мои, вы не в ответе,
Что не заметили огня.
И только женщины, как дети,
С испугом смотрят на меня.

* * *

3. П.

Девочка, глядящая на мир,
Словно на растопленный камин,

Сотни раз доверчиво на дню
Руки простиравшая к огню!

Девочка из темного угла,
Как себе ты руки обожгла!..

Медленная боль уходит ввысь.
Как пустыня, губы запеклись.

Хоть еще б погреться до утра!
Врут, что голь на выдумки хитра.

От ожога страшно и светло.
Темный угол. Дальнее тепло.

* * *

Вот и кудри с макушки слетели.
Стать бы надо мудрей и святей.
Так становится в роще светлее,
Когда листья слетают с ветвей.

И без горькой, безумной надежды
Я, как в зиму, иду в те года,
Где печально и все-таки нежно
Станет небо чернеть навсегда.

С головой пропадая в тумане,
Свой законный удел не кляня,
О Земле загрущу, как о маме:
Как же будет она без меня?

* * *

Несчастье поселивший
Божницею в углу,
Как кот на пепелище,
Зароюсь я в золу...

Лежу в промерзшем доме,
Где не коснуться стен,
Холодные ладони
Сжимая меж колен.

Не разожгу поленья,
От холода дрожа,
И не боюсь прозренья,
Как нищий – грабежа,

Как донор – вида крови,
Как смерти наяву.
Мне все понятно, кроме
Того, что я живу.

Живу, когда сломали
Последний мой запрет,
Живу, хотя словами,
Как рубищем, одет.

Не плачу и не спорю,
Не жду и не ропщу.

Органный ропот горя
В душе своей ращу.

Меж темными печами
Хрустит в золе стекло.
Тепло моей печали,
Последнее тепло...

* * *

Я заперт в мысли, как в пустой молельне,
Со всех сторон охваченной огнем:
Ведь даже то, что в мире параллельно,
Когда-нибудь пересечется в нем!

И мой удел действительно ужасен –
Что, поклоняясь Разуму и Дню,
Ни с кем я в этом мире не согласен
И никуда весов не наклоню.

Но тяжек пест, и беспощадна ступка,
И зернышку не деться никуда.
И жить мне в ожидании Поступка –
Как в ожиданье Страшного суда.

НОКТЮРН

Звенит комар, как микровентилятор,
Иль это звон бессонницы во мне?
Два тополя, как малые телята,
Ушами тихо хлопают в окне.

Как хорошо не спать! Дышу я ровно,
И чувствую – все связано в одно:
Мое веселье, и мое здоровье,
И эта ночь, глядящая в окно.

Комар не тронул. Значит, неужодно.
Я усмехаюсь: мол, не бойся – жаль!
А жизни до того во мне удобно –
Не то что встать – пошевелиться жаль...

Сусанна Черноброва

ИЗ КНИЖКИ «ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА»

To: squirrel@nowhere.com

1 января 03

Как хорошо, что ты позвонила в полночь! Гости у нас были, но не хватало звонка, нарядного, издалека. Я часто вспоминаю дом на улице Бориса Вильде, из которого ты звонила, я там тоже провела неделю благодаря тебе; поросший мхом фонтан в запущенном саду. (Кстати, *Фонтане-о-Роз* на слуху у меня давно, с ним связаны сентиментальные воспоминания, когда-то мы дружили с Ритой Райт, которая писала книжку о Вильде и рассказывала нам про это место). А потом я сама в нем оказалась. А недавно перечитала модный в начале двадцатого века роман Гюисманса «Наоборот», в котором этот дом описан.

За столом кто-то сказал, что нечетные года обычно получше. А через год, наверняка, будем уверять, что четные лучше... Все думают в эту минуту об одном и том же. Я вложила записочку в Стену Плача.

Ты просила «Новогоднее». Это моя *Ирония судьбы, или с легким паром*; есть человек, который каждый Новый Год просит его прочесть.

НОВОГОДНЕЕ

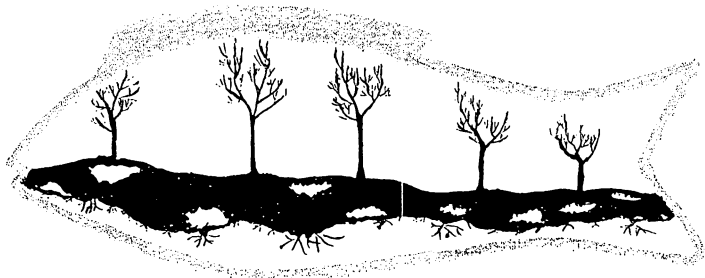
*Облака в небесах – это снег прошлогодний, скелет
Осыпавшейся елки, овраги, сугробы, руины,
Облака над заливом столпились на тысячи лет,
Обнимаясь, как будто они города-побратимы.*

*На застолье родительском пусто, не слышно людей,
Словно ангел витающий их тишиной поминает,
Где-то комната есть, куда много набилось гостей,
Хлещет елочный дождь, шоколадная пыль оседает.*

*С Новым Годом тебя! Помнишь, Старый без книг и друзей
Мы встречали однажды, ненастье
Все светила сметает с огромных еловых ветвей,
И осколки летят, это солнце разбилось на счастье.*

Посылаю рисунок, из ранних.

attachment: BEZ_NAZV.JPG



To: squirrel@nowhere.com

4 января 03

В новогодние дни часто вспоминаю родителей.

Проводив близкого, мы достаем из семейного альбома старые снимки. Он успел побывать и зрелым мужчиной, и глубоким стариком, а мы все смотрим на голопузого двухмесячного или на девочку в матроске. Вереницы целлулоидных пупсов на коричневатом фоне проходят через поколения. Наверно, у небытия обратный ход, как на часах пражской ратуши у Староновой синагоги; чем старше фотография, тем моложе человек на ней. И тем дольше хочется на нее смотреть. Здесь ушедший младше тебя, здесь он твой ровесник, здесь он старше. Все возрасты человека поместились в одном миге, исчезает объемная трехмерная последовательность – прошлое, настоящее, будущее, все мгновения выносятся на плоскость, перед нами карта мерцающих мигнов человеческой жизни.

Сейчас много рисую в Гива-Царфатите. Делаю заставки к заголовкам «Иерусалимского журнала».

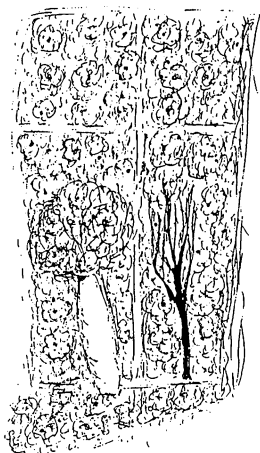
Вспомнила, как въехали в квартиру, это вторая наша съемная была. Из окна вид на Старый город и гору Скопус, на шпиль Иерусалимского университета, на «карандашику» госпиталя Августы-Виктории. Папин метапель (на иврите «работник по уходу»), покойный Матвей Исаакович Лукницкий, старый ленинградец, записал его воспоминания. У папы было мало сил, но он знал, что джентльмену полагается писать мемуары. Матвей был младше папы на пятнадцать лет, он очень горевал, когда папа умер. А через два месяца его самого задавил автобус, когда он переходил Площадь Давидки.

Когда въехали в Гива-Царфатит, папа попросил подвести его к окну со словами: «Покажи мне университет. Я ведь на него деньги в двадцать пятом году собирал». Но папа был почти слеп, и разглядеть ничего не мог. Из папиных воспоминаний:

«После гимназии я вступил в «Хасмонею». Это латвийская студенческая корпорация. Главным идеологом «Хасмонеи» был Жаботинский. Когда в сороковом году в Ригу вошли советские танки, многих активистов, в том числе старосту «Хасмонеи», выслали в Сибирь. Хочу отметить, что сейчас моего зятя пригласили преподавать в Иерусалимском университете. А когда я был студентом, мы собирали деньги на открытие Еврейского университета в Иерусалиме». Есть групповой снимок хасмонейцев с Жаботинским. Фотографию, предмет папиной гордости, мы пересняли из парижского журнала «Рассвет».

attachment: OKNA.JPG





To: squirrel@nowhere.com

5 января 03

Ты спрашиваешь, что еще происходит в городе? К Новому году был приурочен вернисаж «Лехайм» и презентация водки «Иерусалимский Лев». Теперь все презентуется, даже водка.

О каждом можно было бы написать подробно, но ты сама говорила, исходя из собственного опыта, что это хороший способ со всеми поспорить и что «ходить бывает склизко по камушкам иным». Постараюсь быть дипломатом и никого поименно не называть.

Но тебе все интересно про иерусалимскую жизнь, и ты спрашиваешь конкретно про знакомых, Борю и Машу.

Маша, чей автопортрет так понравился тебе на выставке в «Ко-Арте» (к сожалению, той галереи в Рехавии больше нет) выставила три масляные пастели, где штрихи падают лучистым цветным дождиком. Эти небольшие жанровые сценки – «Шук», «Маколет», «Иерусалим на столе» не сумел поглотить франкенштейн коллективного коллажа. В небольшом зале нужно было разместить около 60 работ, и выход в таком случае – шпалерная, «квартирная» развеска. Хитроумная головоломка для экспозиторов, квадратура круга. К этой выставке не знаешь, какое подобрать определение: лоскутное одеяло, ковер, гобелен, дикарь, монстр, анфантерибль, «мифлецет». Картинки преображались, порой до неузнаваемости. Обычно они, как животные, держат свой «прайд». Здесь «прайды» налезает друг на друга, перемешались, картины висят тесно, без зазоров, их края выглядят зазубренными. Кажется, что стенка ходит ходуном, топорщится. На ней мерещатся пузыри, она то вспучивается волдырями, то вздувается горбом, то проваливается впадинами. Дыхание картин прерывистое, им не хватает воздуха, соседи неизбежно их «переделявают», распространяя свои силовые поля. Они то затемняют их, то «ослепляют», словно прожекторами, отбеливают... Выставленные фотографии неизбежно переделяются соседями на живопись, и это интересно. Картинки вступают в храбрую схватку, но это вполне дружеский турнир. Хотя порою кажется, что они режут, рыча друг на друга, как кошки у Гойи. Я очень люблю эту вещь. Жаль, у меня нет репродукции, чтоб напомнить...

Кому-то удалось удержаться «на плаву», а кого-то подхватил общий поток, но никто не в накладе. Казалось, должен бы выиграть тот художник, который отхватил от пестрого ковра кусок побольше. Казалось, он, сам того не желая, потянет на себя одеяло. Но не всегда большая рыба ест маленькую, иные «среднего роста» картинки выглядели весело, прорезанными окошечками, в которые хотелось высунуться и подышать. Например, акварель знакомого тебе Бори.

Посреди картин инсталляция – бутылка водки «Иерусалимский лев». Все участники невольно оказались дружными анонимными соавторами перформанса, хэппининга. Под работами нет подписей, и эта «оговорка» не случайна. При такой экспозиции есть риск, что картина может превратиться в свой антипод. Художники, как правило, болезненно относятся к развеске, но в этом случае возникла коллективная пульсирующая вещь, пережить один раз потерю авторства, раствориться...

В водке я мало понимаю, знатоки оценивали ее на четверку с минусом, но пили охотно. Под Новый Год, 30 декабря 2002, в Иерусалиме – на Кинг Джордж, 6 – был мирный вечер, с улыбками, радостями и огорчениями. Хотя за стенками уютной комнаты с картинами взрывали в это время очередной «хефец хашгуд».

To: squirrel@nowhere.com

10 января 03

Приходили покупатели – математики. «Мы от Гоги». В руках у них был листочек в клетку со списком художников, против моей фамилии и фамилии Х. – галочки и написано «хор». Им понравился натюрморт на крыше, кувшин, кружка, яблоко, над ними радуга, все засыпано снегом. «Только не могли бы вы радугу переставить, хорошо бы ее под другим углом» – попросили. В конце концов купили акварель и ушли. Странное чувство, когда расстаешься с картинкой, словно органы продаешь, сначала почку, потом печень... Надо признать, регенерация происходит быстро, как у простейших и примитивных многоклеточных.

Ты говоришь, что у вас в Лондоне настоящие сугробы. У нас в эту зиму снега нет, но есть его ожидание. Обещали, но он так и не выпал.

В 92-м, в год нашего приезда, был невиданная метель (все сорта снега: и наст, и талый, и крупа), и я впервые увидела здесь длинную очередь. Это была очередь за фотопленкой. Как-то на Скопусе привиделась картинка маслом: радуга, осыпанная снегом. Радуга в Танахе – знамение Завета между Богом и людьми, она впервые появляется после потопа. Это знак Ною, что потопов больше не будет. У пророка Исайи сказано: «Если грехи ваши будут как багряное, как снег убелю». Если смешать все цвета, получим белый, может, потому увидела радугу, засыпанную снегом?

Время года – зима, потому в приложении стихотворение про снег. В нашу последнюю рижскую зиму наша дочь, которой было тогда десять лет, написала, глядя на хлопья в нашем дворе-колодце: *Кружатся в воздухе белые хлопья, играя, эти белые хлопья прилетели из самого рая, прилетели они ненадолго, лишь показать-ся, а потом улетят они снова, нельзя оставаться...*

(На нее произвели впечатление мои полудетские стихи, написанные в десятом классе: *Будешь падать, самый белый, самый первый, самый смелый, все, что мучит нас и жжжет, этим снегом заметет*).

Она словно чувствовала, что прощается со снегом, во всяком случае, с тем, скандинавско-немецко-славянским. Рига почти на широте Стокгольма, там есть и белые ночи, и черные дни. После темных коротких ноябрьских дней, когда кривая депрессий и самоубийств резко ползет вверх, вдруг белый цвет выходит из берегов, заливая все поле зрения. Северянам это половодье белого заменяет всю радугу южных красок. А в Иерусалиме, как я уже написала, снег иной породы.

СНЕГ

*Цвета синей, чем белый,
Представить себе не могу,
Мрак – в метели пробелы,
Живопись – кровь на снегу.*

*В какой же тюрьме приснится
К такой белизне побег,
Лыжня до самой границы,
Скروивший пространство снег.*

*...Уйти в такую прозрачность,
В прохладные залы рек,
За Балтику, в свет и мрачность,
И кончить плохо, как снег*

*Уйти в чертежи, в детали,
В походку и боль калек,
Как филигранны дали,
Где отчеканен снег.*

*Сойти с ума или спиться,
Как некто, друг, имярек,
Иль в слякоти подстелиться
Всякой дряни, как снег?*

*На снежной бабе жениться,
Прожить истуканом век,
Интригам у кружев учиться,
Как вечно учится снег.*

attachment: MASLICHNAYA-GORA.JPG



To: squirrel@nowhere.com

26 января 03

Позвонил М.Г., сказал, что они застряли в туннеле, на дороге Гуш-Эцион–Иерусалим взорвался осел. Очевидно, был навьючен взрывчаткой. Я слышала грохот, закрыла окно. Вечером показали по телевизору обутленного ослика. Осел у древних считался – символом мира, а конь – войны. Потому пророк въезжает в Иерусалим на белом осле.

«Осел – хороший человек» (Князь Мышкин).

У меня собрана вторая книжка стихов. Видимо, будет называться «Смотри на обороте».

А вот про Тель-Авив, тебе, кажется, городской цикл со слуха понравился.

ТЕЛЬ-АВИВ

1

*Утром город варево, брожение,
Лужи, крыши в пузырьках, кипенье.
Месиво и суп, толпа из башен,
На грязи и слякоти заквашен.
Кажется, что зелень, крыши, трубы
Кружат в этом разноцветном супе.
Ты в нем тоже выстиран, проварен,
Повар-прачка, город весь распарен.
Весь заштопан и по швам распорот,
На живую нитку сметан город,
На живую нитку сметан лихо
Город-домработница-портниха.
Проволокой облака кромсая,
Рвется его выкройка косая
Тыщи труб искрятся надо мною.
Глеет его курево ночное.
Ты вкусил, ты понял, что такое
Соль земли с похлебкой городской!
Город закипал, котел бездонный,
Поднимался к небу чад кухонный.*

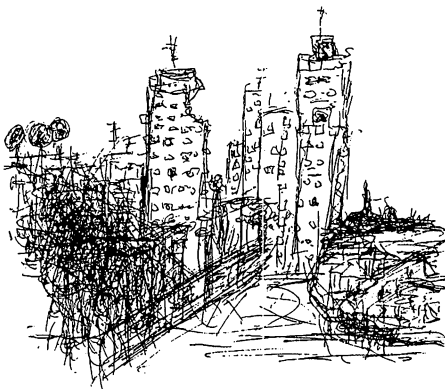
2

*Может, он сорняк дикорастущий,
Город с арматурою цветущей.
Зверь стоголавый с речью человечесьей,
Что выносят его балки-плечи.
Раннею весною он в угаре,
Расцветают гаражи, ангары.*

Все его скрижали, рельсы, двери,
 Город зачинил стальные перья.
 То, что он напишет проводами –
 Ребусами кажется, гербами.
 В шумовом оркестре рельсы, трубы,
 Город-духовик надует губы.
 Колесо о рельсы точит ласы,
 Дикий город в море варит мясо.
 Но антенны городского крова
 Лишь смычки оркестра шумового.
 Слышат скрежетанье лейтмотива
 Тормозов визжащих Тель-Авива.
 Городской романс приносит горе,
 Повторяется припев про город.
 Опус никому не адресует,
 Город музицирует, рисует.

Посылаю рисуночек тель-авивской набережной.

attachment: TEL-AVIV_NABEREZHNYA.JPG



P.S. Рисунок сделан за неделю до теракта в «Дельфинариуме».
 Спешу на занятия, поэтому на сегодня все.

To: squirrel@nowhere.com

1 февраля 03

...Прямо над окном кабинета обнаружили дырку. Она крупная, правильной круглой формы, похожа на глазок, в котором видно нехорошее. Военный эксперт заключил: «Это что-то крупнокалиберное».

Бронированные окна нам поставили больше года назад. Когда они закрыты, то глушат все звуки. Во всяком случае, стало намного теп-

лее. Наверно, это лучшие окна в Израиле, добротные, двойные рамы, делали их, говорят, в Германии. Совсем, как у Гоголя, «немецкая работа». П. сказала: «Не знаю, как от войны, от погоды помогает».

У нас есть сосед родом из Риги по фамилии Стекольщик. Он пришел растерянный: «Мы теперь можем прозевать стрельбу, не слышим, не ориентируемся». Он же как-то проронил, глядя в пролет на дома Бейт-Джаллы : «Эти не продадут». Что имел в виду, не знаю.

Понимали, что стреляют не холостыми, но страха не было.

К соседке с пятого этажа Жаннет пуля залетела в салон. Ее друзья по работе, операторы (она работает на телевидении) пришли об этом делать сюжет (в эфир не пустили), рассматривали дом и обнаружили, что стенки изрешечены пулями.

А мы считали, что до нас пули не долетают.

– ...Это не у нас, это в двухстах метрах от нас, – объясняла я по телефону. – Что такое 200 метров! – отвечали мне.

Свойство человека – думать, что опасность не рядом с домом, далеко. Даже двести метров – далеко. Это не на нашей улице, на соседней. Это не в нашем дворе, в соседнем. Это не в нашу квартиру, это в ту, на пятом этаже. Затем: это же не в окно влетела пуля, в стенку над окном, а в окно – маловероятно, мы на «карке», мы ниже уровня. Затем: ну влетела в салон, но попала в стенку, а в человека – маловероятно. Человек все время двигается, а стреляют же неприцельно, и вероятность пострадать даже меньше, чем попасть в автомобильную аварию...

Рабочие, ставившие бронированные окна, рассказали: мы несем раму втроем по двору, вот по этой лестнице, а пули свистят.

На эту лестницу, под арку мы выходим покурить, считая это место безопасным. Отсюда хорошо видны светящиеся траектории пуль, пустырь и звезды.

Пару раз в Лондоне ты даже раньше нас узнавала про обстрел.

Один раз пальба застала нас во дворе, когда мы выгружали из багажника продукты.

Вокруг говорят о войне с Ираком. Противогазы мы нечаянно выбросили при ремонте, теперь надо раздобывать. Вспомнила рассказ нашего друга Ю. Г., уже покойного: «Моя мама в противогазе чистила лук. Одно из моих первых детских воспоминаний: мама на коммунальной кухне в Москве в противогазе чистит лук».

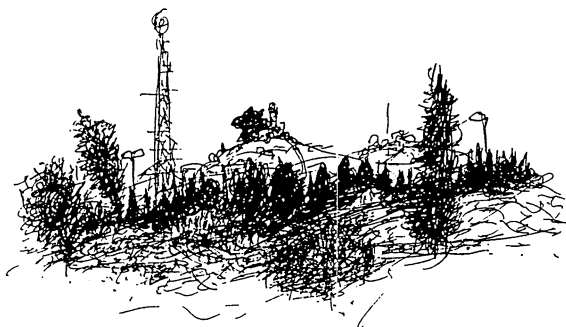
Снова Гило:

*В прозрачной туче, стекловолокне
Плыла не серость, белизна промокла,
Сгустились краски в солнечном пятне,
Пробившем бронированные окна.*

*И рисовать хотелось дребедень
На полке и мерцание конверта,
Проем, лучом разрушенную тень,
Оттенки бездны по краям мольберта.*

В аттачменте рисуночек, вид со стороны Гиват-Шауля. На заднем плане могила Пророка Самуила.

attachment: KEVER-SHMUEL.JPG



S. Chern

To: squirrel@nowhere.com

2 февраля 03

Вчера был ясный голубой день, тепло, поехали с С. и Р. в бассейн на Гар-а-Цофим, там из кафе прекрасный вид с холма на Старый Город и золотой купол, и я рисовала. Было хорошо и спокойно, но я привыкла побаиваться таких дней. В детстве мне говорили взрослые: «Смеешься? Скоро плакать будешь», и вбили это на всю жизнь. С покойным поэтом Леней Чертковым мы гуляли по пляжу в Юрмале, кажется, было 30 марта, погода стояла безмятежная, не по сезону летняя, 20 градусов тепла. Лене скоро предстояла эмиграция. «Я как раз таких дней и такого настроения опасаясь», – сказал он. Чертков пережил арест, отсидел пять лет. Может, про один из таких дней он написал: «я на вокзале был задержан за рукав»? На бензоколонке хозяин машины, управлявшейся перед нами, сказал: «Включите радио». Так мы узнали о гибели «Колумбии», на борту которой был и наш Илан Рамон...

Посылаю стихотворение, оно связано с прошлогодним взрывом в кафе «Момент»:

ПИСЬМО

Ты понял, что радость
Всего лишь свечение слез,
Стеклянного сада,
Железного сада
Осколки. Их ветер унес.

Ты понял, что горе
Лишь туч потолок навесной,
И звук это город,
И цвет это город,
И серость с прожилкой цветной.

Прости меня, имя
Не значит уже ничего,
И сплетни иными,
И крики иными
Запомнили звуки его.

март 2002, у кафе «Момент».

attachment: TRANSPORTNAYA-RAZVYAZKA.JPG



To: squirrel@nowhere.com

4 февраля 03

Пригодилось, что в квартире два выхода. А мы еще хотели закрыть черный ход книжными шкафами, оказалось, что дверь – стратегический объект. Пробирались к дому проходными дворами, о которых и не подозревали, прожив семь лет. Не хотелось парковаться напротив Бейт-Джаллы. Сосед Стекольник, глядя на нас, проронил: недвижимость потеряна, надо хотя бы движимость сохранить. Паркуемся по-военному? – спросил он.

Ты спрашивала, как мы проводим вечера обстрелов? Л. посоветовала читать Акунина, он под стрельбу хорошо пошел.

Наутро все забывается, стирается, как файл из компьютера. Обычное времяпрепровождение не героизм, человек не может долго быть в неестественном состоянии, как не может быть все время рвота...

Как-то припарковались у магазина, это за два квартала от дома, и вдруг услышали мяуканье, Виля нас и там встретила.

Мои иерусалимские городские рисунки не похожи на те, «визионерские», как ты сказала. Но хочется послать и такой:

attachment: OSENNII-KONCERT.JPG



S. Chern

To: squirrel@nowhere.com

5 февраля 03

Как-то я проснулась от того, что кто-то долго заводил мотоцикл. Но это строчил пулемет, входили в Бейт-Лехем и Бейт-Джаллу. Я привыкла, что война – это далеко, Курская Дуга, Куликово поле... А тут в пятистах метрах от дома, по Дерех Хеврон танки шли мимо электрических елок.

Замучила бессонница, проглотила оранжевую, как солнышко, таблеточку клонекса.

День отдан одной испещренной строчками и закорючками – рисуночками волосатой страничке. Клонекс помогает, но кажется, вместо мозга – протез. Клонекс – тот же элениум. Когда-то в юности повторяли шестидесятнические строчки рижского поэта Владлена Дозорцева:

Элениум, вы не знаете? Река такая на севере, ищите север на карте, а карту ищите на сердце...

To: squirrel@nowhere.com

6 февраля 03

Вспомнила, как встречали 2000 год, со двора видели салют над Бейт-Лехемом, потом 28 сентября праздновали Рош а-Шану, и напрасно мы произнесли вслух, что мы удачливое поколение, без войны, счастливее родителей, смогли повидать мир, увидели, как некая власть накрылась медным тазом и т. д.

Не успели мы все перечислить, как на следующий же день вдруг захлопало, заухало, закычело, загрохотало.

Поначалу мы выключали свет, как велели. Потом поняли, что так страшнее, привыкли и света не гасили. Во время первого обстрела мы перепугались, нам показалось, что пулемет строчит прямо в квартиру и вот-вот прошьет стальную дверь, за которой мы стояли. Оказалось, это пулемет ЦАХАЛа, установленный на крыше.

После одного из первых обстрелов включили телевизор. Звучало фортепиано, шел фильм о Рихтере. То – звуки, и это звуки...

Эти звериные рыканья, хрюканья, хряканья, рыгания, это сопение неведомого дракона, истекающего слюной под непрерывный собачий лай, не смеют называться звуками.

Пространство вместо прозрачного стало каким-то промышленным, словно составилось из гаск, подшипников, цепных передач, в нем заворочался невидимый зверь.

Нам велели сидеть в комнате, где окна выходят не на деревню. У нас только ванная такая, вся квартира, словно веранда, обращенная всеми стеклами к Бейт-Джалле. Но перед нами ряды домов, опасность представлял только пролет.

Мимо окон быстро проходили, пригнувшись, к микроволновой печке у окна я подбегала на секунду вставить тарелку и тут же отбегала. Походило на метание диска.

Осада церкви Рождества происходила в пяти минутах езды от нас, мы в двух шагах от котла, в котором варятся войны. И так странно было подходить в плите, совершать обыденные движения, ставить собственный котелок, зажигать конфорку, варить кофе.

Чтоб отвлечься, старалась вспоминать хорошее.

Мы ездили с гостями на экскурсию к Иордану, месту крещения. И я увидела: коричневые негры стояли в белых одеждах в изумрудной воде и пели. Вода показалась такой яркой, ярче, чем в Венеции на канале Гранде.

Из цикла «ДЕРЕВЬЯМ»:

2

*Все сточные воды сварливы,
Их мутный весенний набег
Ты помнишь, на негативе
Чернел непроявленный снег.*

*И радости нет беспредельней –
Под деревом насмерть стоять,
Но ствол, но канат корабельный,
Заплакать, прижаться, обнять.*

*Но голос из роуи размерен,
И эхо отчетливей слов,
Не умер, я просто растерян,
Я слеплен из черных снегов.*

To: squirrel@nowhere.com

1 марта 03

Вчера в Гило снова стреляли после почти годичного перерыва.

natasha wrote:

> Помнишь, была такая пьеса Виктора Славкина о семье, которая
> живет в тире?

Да. Семья, доведенная жилищным кризисом и коммуналками, получила от местных властей жилплощадь в тире – до обеда вроде нормальная квартира и жить можно, а вечером надо ходить, согнувшись в три погибели. Словно подчиняясь слову «гибель». Как раз на днях увидела по телевизору сцену из спектакля «Плохая квартира», оказалось, сейчас его ставит Леонид Хайт в тель-авивском «Бейт-Барбуре».

Научились различать автоматные и пулеметные очереди, одиночные выстрелы из легкого стрелкового оружия «Калашников». Вечерами на небе появлялись радужные пучки линий, похожие на букеты из разноцветной проволоки. Напоминало картинку Клее, но это были траассирующие пули. Они то сбегались, то разбегались, то пересекались, то летели параллельно. Скорее на Миров похоже.

Даже занятно следить, как, превращаясь в обычный салют, они падали в парк.

Как-то в первые дни интифады я выглянула в сад, по траве катался огненный пузырь с волосами.

«Шаровая молния» – подумала я.

– А, может, окурок?

– Это шальная пуля, – объяснили мне.

– Что, понюхали пороху? – спросил Стекольник.

А вот очередные иерусалимские стихи:

*На выцветшем неясном снимке
Голубоватость, желтизна,
Штрихи с полосками в обнимку,
И улица в крови пятна.*

*Твой путь от дома до больницы,
С горы Масличной город твой,
Он весь в заплаканных ресницах
И бликах третьей мировой.*

*Развал на море и на суше
И все-таки хотелось жить
И все засвеченные души
На негативах проявить.*

И еще

ГИЛО, 2001

*Ты с пригорка следи, как уходит никто в никуда,
Ты, простая мишень на окраине звездного неба,
Город цвет потерял, стал бесцветным, как все города,
Где есть тюрьмы, решетки, скульптуры из серого хлеба.*

*«Но в газету, на радио, только бы среди людей
И поменьше в Гило, где все строят забор за забором»,
Ну а город, он видывал тоже разливы таких площадей,
А закончился вдруг тупиком и стеной, коридором.*

*Не горюй, не грусти, быть прохожим великая честь,
Слыть безглавым пятном и казаться безрукою кляксой,
Образ мыслей обычен, соблазн, наверное, есть
Под письмом подписать «Будний день интифады Эль Акса».*

*Снова белый субару поставил сосед поперек,
Он один из сугробов, что ветер наносит с разбегу,
То ли туча искрит, то ли тает зазисший снежок,
И мы видим, что даже у пуль траектория снега.*

*Я рисую в блокноте, и кажется, кружатся все:
И пустырь, и турист, заштрихованный клубами пыли,
Вместе с ними кружат монастырь на хевронском шоссе
И оливы, они между войнами счастливы были.*

To: squirrel@nowhere.com

5 марта 03

Привет!

natasha wrote:

>НН. проходила тест на аллергию. Долго искали аллерген, им
>оказалась «перхоть лошади».

Во вторник была песчаная буря, вот и у меня аллергия, слезы, насморк... Песок для меня вроде «перхоти лошади».

Посылаю стихи про два города.

Про Ригу и Иерусалим.

ПРОМЗОНА

1

*Далекий город не исчез,
В нем гул невиданных наречий
И золотой фонарный лес
Наполнил щебет человеческий.*

*Плывет фонарная гряда,
Хребет моста переломленный,
Ведет прохожего туда
Проспект, прогулкой озаренный.*

*Уже времен распалась связь,
Цепочек разметались звенья.
Тебя будило столько раз
Процессий похоронных пенье.*

*Слова напомним старожил
Слащавой песни умиленно,
Как подпевали этажи
Спивавшихся микрорайонов...*

2

*Здесь тоже город без прикрас,
Пустырь, дорога, дом Агнона,
На Тальпиот в вечерний час
Плеснули краской из промзоны.*

*Но городу предела нет
Квартал – пустыни продолженье
Какой-то нехороший свет
В преддверии землетрясения.*

*И желтизне предела нет,
Один лишь светофор зеленый,
И пожелтый белый свет,
Как золотухой зараженный.*

*Когда два города в пути,
То ночью встретятся вокзалы...
Но ветка в зарослях густых
Колючей проволокой стала.*

To: squirrel@nowhere.com

8 марта 03

Сосед С.: «Я, как начинается стрельба, сразу беру бинокль, и к окну».

У него с пятого этажа как на ладони и Бейт-Джалла, и Бейт-Лехем; оказывается, совсем рядом, на расстоянии 500 метров, красивый дом с башенками и красной черепичной крышей, из которого чаще всего стреляют...

Как ни странно, приезжает довольно много туристских автобусов. Оказывается, есть даже выражение «disaster tourism».

Нашему другу в качестве лекарства от депрессии врач посоветовал ежевечерние прогулки – в Гило целебный чистый горный воздух, как на «Волшебной Горе» Томаса Манна.

Выйдя с женой на «теренкур», они у супермаркета увидели сказочный фейерверк.

Это был град трассирующих пуль, мегафон всех прохожих попросил лечь на асфальт...

Новое:

ПСАЛОМ

*Но если только позовешь,
То улицы охватит дрожь,
И вихрь, сплетая провода,
Ударит оземь города.*

*Но если ты опять живой,
То вальс подхватит шар земной,
И шар земной я прогрызу,
И из могилы приползу.*

*У ног твоих, забыв про смерть
Я буду виться, словно червь,
Молить, ну только наступи,
Просить, ну только раздави.*

*Но только ты не человек,
Предплечья – ветви, тело – снег,
Сплетенье солнечное вен,
Слезоточивый газ взамен*

*Дыханья, силуэт-камыш,
Как сотни маршей, грянет тишь.*

Очередной рисунок Бейт-Джаллы. На переднем плане виден тот самый дом, из которого стреляют.

Интересно, что там было? Какая-нибудь гостиница для паломников, странноприимный дом?

Трудно представить, что в нем сейчас кто-либо живет.

attachment: BEIT-JAALLA.JPG



S. Chern 2002

To: squirrel@nowhere.com

10 марта 03

Утром рисовала на пустыре и снова встретила Дато. Помнишь мой очерк, назывался «РАНГОЛИ И ДАТО ИЗ 32-го АВТОБУСА»? Он слепил у меня на глазах несколько зверушек, тут же смял их ладонью. Ранголи – напомним – индийские рисунки цветным порошком на земле, а иногда и на воде, ими женщины украшают входы в жилища. Мимолетные орнаменты сдуваются ветром. В ответ на мои комплименты он снова грустно сказал: Да, все говорят, талант, самородок. А где деньги?

К сожалению, появление скульптурок Дато в аттачменте невозможно по законам жанра, им же созданным. Они исчезают прежде, чем появляются.

Гр. сделал о Дато репортаж по РТВ. Только он не Дато, а Шота.

Нашел в его работах параджановские мотивы. Особенно запомнился кадр, где Дато сминает огромной ладонью только что созданного зверька. Как Гулливер лилипута. Гр. удалось спасти от уничтожения козла, и он теперь стоит на полке.

To: squirrel@nowhere.com

15 марта 03

Ты просила стихотворение о вагонах

ВАГОНАМ

*Снова дождь бесконечный в разбитом окне,
Словно город в привычном запое,
Все мне снятся вагоны, вагоны в огне
И идущий по времени поезд.*

*Эта улица, линий минутный каприз,
Позолота на ряби канала,*

*И в туннели со свистом уносится жизнь,
И по небу проложены шпалы.*

*Всех вокзалов огни не сольются в костер,
Все мне снится далекая полночь,
И братанье вагонов, и в тамбуре спор,
И забытый во времени поезд.*

*В синяках и ушибах летят по земле,
И никто не приходит на помощь,
Что нам делать с вагонами в грязной золе,
С темнотой, догоняющей поезд?*

Почему-то все время вертятся обрывочные строчки про дождь:

.....
*И что только не делал ради хлеба,
Но провода последнего дождя
Между прохожих натянуло небо...*

И еще:

*Никаким ты был и остался
Никаким, у порога ждешь,
Где-то пьяных капель набрался
Надававший пощечин дождь...*

Затронула тему вагонов и дождя и вспомнила, что пришла по почте из Цфата замечательная книжка Владимира Портнова. Это ни в коем случае не рецензия, я просто хочу тебе о нем рассказать. Как поэта я знала его еще в России. Он из лучших переводчиков французской лирики: Бодлера, Гюго, Теофиля Готье, входит в антологии переводов, автор автобиографической повести «Нищая идиллия», напечатанной в 1990-е в «Звезде».

В преамбуле к его последней, юбилейной, публикации в «Звезде» написано: «Он прожил эти годы разнообразно и насыщенно – детство, юность и молодость в Баку, долгая служба в послевоенной армии, о чем Владимир Портнов вспоминает с ностальгической любовью, несколько лет в Ленинграде, затем длительный, плодотворный период в Баку и, наконец, волею несправедливой судьбы (? – знак вопроса мой) – город Цфат в Израиле. А между тем в одном из лучших своих стихотворений Владимир Портнов писал, что настоящим его призванием было бы учительство в глухой псковской деревне, которое осталось поэтической мечтой... Уроженец и житель Юга, поэт, эссеист, прозаик, Портнов с необыкновенной остротой всегда чувствовал русскую культуру...».

Ему пришлось уехать из Иерусалима, который он успел полюбить. Глушь настигла его, мечта сбылась, но странно, как зеркальное отражение. Он теперь живет в предместье Цфата, болеет. Его адрес: поселок Ибикур (может быть, на иврите это означает «недоступный для

посещений»?). Жаль, что после его переезда мы мало общаемся, и то по телефону. Ты как-то сказала, что в традиции всегда отыщется уголок... В своих просветленных жалобах Портнов, скорее, «архаист», а не «новатор». «Бакинская» нота, тридцатые, армия.

В невеселых тридцатых (уж какие выпали на юность) он сумел найти свое счастье.

*Конец тридцатых...эти годы
Мне вспоминаются все чаще,
И стариковские невзгоды
Раскрашивают их под счастье.*

Поэт, прозаик, эссеист, блистательный переводчик, филолог, подлинный литератор, он соткан из литературы. Все, что он делает, он делает хорошо. В послесловии: «В. Портнов в переводах передает мир поэзии французских «парнасцев» и романтиков с его имперской пышностью, тяжелым великолепием образов, экзотической пряностью, а в своих стихах возвращается к нищей идиллии юности, к Баку, где прошла большая часть его жизни».

В его строках принцы и нищие сменяют друг друга. «Длинные» стихи, в которых часто про поезда и дороги, похожи на баллады и укачивают, словно рессоры. В этой книжке три города: Ленинград, Харьков, Баку. Это дорожные станции поэта. Одно из стихотворений так и называется: «Баку–Ленинград».

Мы были соседями в Гива-Царфатите и часто гуляли «по Гиве». Как-то на прогулке он обмолвился, что в стихах ценит «синий огонь».

Вот отрывок из стихотворения про Тбилиси, хоть перепечатывай его целиком.

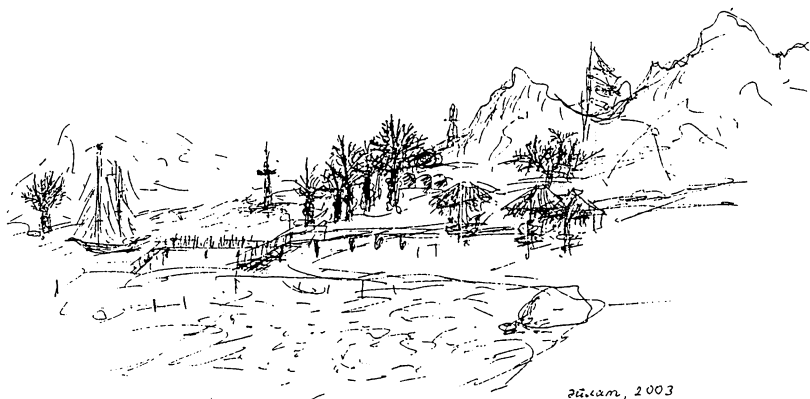
*Но вот и он –живой Тбилиси,
Весь в листьях, солнце и пыли...
И улочек увертки лисьи
Меня по кругу повели.*

*Но все равно под сенью веток
Сидели люди. Все равно
Среди скатерок и салфеток –
Хлеб, мясо, зелень и вино.*

*Я возвращался очень поздно,
Плутал то парком, то горой.
Чад ресторанный застил звезды,
Дома, как ласточкины гнезда,
Лепились прямо над Курой.*

*Нет, это все нарисовали
Или сыграли для кино:
Смех, крики «Моди, генацвале!» –
Хлеб. Мясо, зелень, сыр, вино...*

attachment: EILAT.JPG



гитлат, 2003

To: squirrel@nowhere.com

18 марта 03

Хочу еще дописать про Портнова. Выписала тебе из стихотворения «Ревность по дому» с эпиграфом из Блока:

*Но под утро приходит страданье,
Но под утро приходит беда:
В ледяном предвесеннем тумане,
Как из ада, кричат поезда.*

И еще:

*На исходе зимы, на исходе зимы,
На исходе зимы городской
По иному клаксоны взывают из тьмы,
По иному – с певучей тоской.*

*По иному трамваи звенят, из метро
По-иному выходишь на свет,
Ощущая то место, где было ребро
У Адама (у нас его нет).*

.....
*Еще ветки голы, и безлюдны углы
Но уж воздух распахнут и пьян.
И глаза у прохожих пусты и светлы, –
Так матросы глядят в океан.*

Ты спрашиваешь, как заполучить книжку? Раздобудем у Владимира Самойловича, пришлем обязательно. И еще процитирую:

БУДНИ

*На полжизни кряду –
Холодок в груди:
Будни Ленинграда,
Сумерки, дожди.*

*Снова небо хмурится,
И душа болит.
На Херсонской улице
Серый дом стоит.*

*Суэта трамвайная,
Огоньки такси.
Гложет скука тайная
Бывшие Пески.*

*Полосатый, лыковый.
Бутербродный быт.
Глубоко на Лиговке
Бурый дом стоит.*

*Комнатенка узкая,
Тень чужих забот,
Что-то Таня Слуцкая
В гости не идет.*

.....

*Отдыхают рядом
Мокрые плащи.
Будни Ленинграда.
Сумерки. Дожди.*

To: squirrel@nowhere.com

22 марта 03

Не писала неделю, потому что переводила кино.

20 марта Л. пригласили на Пурим. Приехали домой на рассвете, включили телевизор и увидели, что началась война. Ракетный обстрел Багдада. Странные фильмы смотрим в наше время, наблюдаем убийство в прямом эфире. Понимаешь точность выражения «театр военных действий». Вскрыли противогазы. Семь человек вкололи себе атропин. Так поняли распоряжение службы тыла примерить противогазы.

Вынуждена отвлекаться от военной темы.

А вот тебе еще рисунок. Узнаешь нашего общего знакомого, Женю Рейна?

Была такая запомнившаяся поездка литераторов в кибуц в 2000 году, когда приезжал Женя. Помню там Сару Погреб, Светлану Шенбрунн, Игоря, Розу и Сеню Шварцбандов, Риту Бальмину, Дину Рубину и Борю Карафелова, Тамару Дубину, Аркадия Хаенко, уже покойного, описавшего тогда эти два дня...

Женя читал стихи. Он давно знает Сару Погреб и высоко ценит ее как поэта. Помню, он процитировал тогда Пастернака, сказав, что Сара «сумела навязать себя эпохе». «Слушай, Сара», – так Женя начал свое чтение. Он посвятил его ей.

Зашла в магазин Гринберга и увидела только что вышедшую в издательстве «Гешарим» новую книжку Сары – «Ариэль».

attachment: REIN.JPG



В. Рит

10.06.99

Еще из цикла «ДЕРЕВЬЯМ»:

3

N. N.

Ты думал, небеса – антенны, крыши,
А там деревья, только срок их вышел.

Ты думал в небесах аллеи, липы,
А там каникулы, досуг нам выпал.

Ты думал там концерты, вернисажи,
А это оказались вязы, вязы.

Ты думал, небеса – поля и нивы,
А это все оливы да оливы.

Ты думал, небо – простыни, постели
А это оказались ели, ели.

Ты думал, под рукою скат неровный,
А это оказались бревна, бревна.

И мостовая больше не кочевье –
На поле битвы павшие деревья.

И дерево, обняв сестру и брата,
Легло под грунт, исполнив долг солдата.

Елена МАКАРОВА. «Крепость над бездной. Терезинские дневники 1942–1945», – И-м–Москва, «Гешарим», 2003.

Великое человеческое дело делает Лена Макарова. Она по крупичкам, по чудом уцелевшим остаткам, буквально из пепла восстанавливает, возвращает из небытия жизни, судьбы, личности бесследно, казалось, исчезнувших людей – обитателей Терезинского концлагеря. Помню, как лет уже пятнадцать назад она принесла мне и попросила перевести с немецкого два-три попавших к ней в руки письма погибшей там почти никому не известной художницы и педагога Фридл Дикер-Брандейсовой. Теперь о Фридл написаны книги, ее сохранившиеся картины выставляются. В сознание людей возвращаются все новые имена. Это действительно стало делом Лениной жизни.

И вот теперь – книга, в которой собраны дневники обитателей Терезинского концлагеря. Непростое для души чтение, надо бы написать об этом по-настоящему – я пока не готов. (Вспомнилось, как однажды ходил в одиночестве по жуткой территории этого лагеря – с чувством, что даже сейчас от долгого пребывания там можно сойти с ума). Запишу лишь, как странно вдруг соединились мысли – что-то поневоле переводилось на язык нашей жизни.

Оказывается, даже в концлагере люди вели дневники. Бытовые подробности, добыча скудного пропитания, склоки, болезни, слухи. Страх, постоянное чувство унижения перед надсмотрщиками, боязнь наказания. Споры сионистов и «ассимилянтов», заботы о воспитании детей, размышления о книгах, занятия искусством, живописью, музыкой, театром (там было даже кабаре). Член совета старейшин, сионист, еще лелеющий мечту попасть после войны в Палестину, обязан сам составлять списки людей, назначенных для отправки с эшелонам в Освенцим – и сокрушается, как это непросто: решать, кого посылать, по сути, на смерть, кому оставаться (пока) в живых. Девочка, прослушав оперу «Тоска», восхищается: как все-таки талантливы евреи, даже здесь способны заниматься искусством. Удивительный народ.

В самом деле, какой-то особый случай, пытался понять я. В Освенциме евреи становились такими же доходягами, как все заключенные. В Терезине просто собрали интеллигентов со всей Европы, позволили им на время пользоваться бумагой и красками, ставить спектакли, сочинять музыку, вести дневники.

И следом – вот ведь невольное сцепление – мысль: не были ли мы все, так называемая советская интеллигенция, кем-то вроде этих терезинских евреев? Тоже что-то имели возможность сочинять, заниматься искусством, рассуждать о высоких материях – поживаясь, когда из соседней квартиры кого-то опять уводили. А какой-нибудь Фадеев переживал, вынужденный визировать списки, кого-то старался вычеркнуть. Потом он, правда, мог на месяц уйти в запой, в Терезине такой возможности не было. И там трудней было считать это все-таки нормальной жизнью, находить для нее обоснования.

Осмыслить это до сих пор не вполне удастся.

Марк Харитонов

Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо» [Стихи]. – И-м, «Скопус», Библиотека Иерусалимского журнала, 2003.

В 1947 году начинающий стихотворец Александр Крестинский поступил в Ленинградский университет на философский факультет (отделение психологии). Мрачное было время, начались преследования «безродных космополитов». Каждый месяц «брали» кого-нибудь из студентов.

Члены университетского литературного объединения писали так называемую *гражданскую лирику*, а также *производственные* и «*датские*» стихи. Не избежал этих *веяний времени* и Александр, ставший участником 2-го областного совещания молодых литераторов. Правда, по счастью, в подборку, предназначенную для обсуждения на семинаре, включил и несколько сугубо лирических стихотворений.

Руководитель семинара Всеволод Александрович Рождественский внимательно прочел лирические стихи, остальные же брезгливо отодвинул в сторону: «А э т о тоже вы написали?» – «Я». – «А как же так?»

По пути домой юноша в клочки изорвал свои производственные вирши и бросил в Неву. Урок, преподанный старым поэтом, другом Блока, запомнился ему на всю жизнь. А стихотворение, понравившееся Всеволоду Рождественскому, не утратило своей прелести и доныне:

Ты вечером приходишь с кем,
И с кем несешь сухие весла
Туда, где сосны на песке
Стоят осанисто и росло?

Спешит в заливе лунный свет
Спасть от комариной травли.
Волной забытый детский след
Не для меня ль тобой оставлен?

Восемнадцатилетний поэт тогда и не подозревал, что след этот детский – на всю жизнь. Что 10 лет суждено ему проработать в школе, что свяжет он свою судьбу с «Костром», журналом для ребят, и напишет для них много ярких прозаических и поэтических книг.

Среди сотрудников и авторов журнала в ту пору было много замечательно одаренных людей, умевших в обход идеологических требований и партийных установок поставлять юным читателям доброкачественную пищу для ума и сердца.

Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Лев Лосев, Сергей Погореловский, Владимир Уфлянд, Олег Григорьев, Эдуард Успенский, Михаил Яснов, Марина Бородицкая – перечень далеко не полный.

В творческой атмосфере журнала Крестинскому легко работается. Одна за другой выходят в свет его книги «Железнодорожный перестук», «Туся», «Солнце на гвозде», «Маленький Петров и капитан Колодкин», «Жизнь и мечты Ивана Моторихина», «Штиблеты для дедушки». Однако наибольший успех выпал на долю лирико-

драматического повествования «Мальчики из блокады». Это мужественное и трогательное свидетельство о блокадном детстве, исполненное «высокой простоты».

Три сборника «взрослых» стихов Крестинского, опубликованных в конце 90-х в Питере, – «Отзовется душа», «Тихий рокер» и «Нищие неба» – я получил от автора уже в Израиле, куда он прибыл три года тому назад.

И вот передо мною – «Дорога на Яффо» – первая книга поэта в Стране.

«Я приехал из Петербурга в мае 2000 года, – сообщает автор. – Приехал, еще не оправившись после тяжелой, почти трехлетней болезни, в течение которой ни разу не брал в руки бумагу и перо».

Земля предков мало-помалу стала возвращать ему телесное и душевное здоровье. И вот «проклюнулись первые стихи». Тогда поэт и не предполагал, что «начинается книга».

Она посвящена памяти матери – Серафимы Моисеевны Шустеровой. Главный раздел – «Израильская тетрадь» – составляет три четверти объема книги. Если бы мне пришлось одним словом охарактеризовать «Дорогу на Яффо», то подобно мальчику, впервые увидевшему море и сказавшему о нем: «Оно большое», я бы сказал о книге Крестинского: «Она добрая».

С детской доверчивостью и наивностью неопита идет *лирический герой* навстречу новой диковинной жизни, безусловно рассчитывая лишь на ответное стремление к пониманию и участию, категорически не желая лезть со своим уставом в чужой монастырь. Автор ничего не таит от читателя, о себе повествует с обезоруживающей откровенностью:

Перед Вами, мой читатель, –
Человек со стороны.
Так планировал Создатель
И моей в том нет вины.

Сторона моя Расейка,
Город-Питер ветровой,
Папа – русский, мать еврейка,
Кровь разбавлена Невой.

Яростное израильское солнце заново высвечивает для него нелегие реалиты прошлой жизни:

Удушливый столовский запах!
Я обработан им насквозь.
На всех решительных этапах
Мне здесь обедать довелось –
Я с детства самого приучен
Не отрываться от земли,
Где столик к глобусу прикручен,
Чтобы домой не увели.

С первых же дней своего пребывания на новой земле Александр Крестинский близко к сердцу принимает ее нелегкие проблемы.

Вспоминая «блокадных трупов горы», а также «бомбежки и стрельбу», с горечью и презрением пишет о «подлом духе террора», который «противен естеству».

О «суровой поре» человеческой жизни – старости – размышляет с мальчишеским задором:

Нет, безжалостней нет
Убегающих лет,
Тает их перелетная стая.
Мы в суровой поре,
Голова в серебре,
Но душа, как прыжок горностая.

Семидесятипятилетний поэт по-юношески зорек и приметлив. «Привычные с детства цветы» здесь, в Израиле, поражают его «своей мощью и пышностью», морская даль, «непрестанно меняющая окрас», завораживает и заставляет сердце биться чаще.

Стихи густо населены людьми, среди которых много новых сограждан. Здесь и рыбаки Средиземного моря, и хозяин пивного ресторанчика, и трогательная старушка с собачкой, и «харедим» у Западной стены Иерусалимского Храма.

Стихотворение «Зов», на мой взгляд, одно из лучших в книге. Привожу его в несколько сокращенном виде:

Морская раковина лаковая!
Ее художница-волна
Вытачивала, обволакивала,
Пока не выплыла она.

.....

Я из песка ее выкапываю.
Я на ладонь ее кладу,
Прозрачно-матовую, лаковую,
Цветок в Нептуновом саду,

Прекрасно все: паренье ястреба,
Движение рыб, скалы покой,
И зов из маленького раструба –
Звучанье ракушки морской.

Слышу от сверстников: «Крестинский? Погоди-погоди! Не родственник ли того самого – секретаря ЦК, расстрелянного в 37-ом по делу троцкистско-зиновьевского блока?»

Отвечаю: «Более чем... Родной племянник. Но какое это теперь имеет значение!»

Марк Вейцман

Алекс РЕЗНИКОВ. Иерусалим: улицы в лицах. [Книга 2]. – И-м, «ЛИРА», Библиотека Иерусалимского журнала, 2003.

Когда я прохожу по этому городу, то часто ловлю себя на сходстве с профессором Плейшнером, который с глупой счастливой улыбкой вышагивал по Берну, стремясь вобрать в себя всю радость свободного бытия. Да, немало интересных уголков Иерусалима я могу теперь назвать своими. И все же вполне отдаю себе отчет, насколько несоразмерима высота пика, находящегося передо мной, в сравнении с теми несколькими шажками, сделанными у самого его подножья.

Прочитав – сначала выборочно, потом целиком – второй том книги Алекса Резникова (первый появился в 1999 году и почти сразу же стал библиографической редкостью), я лишний раз убедился в этом.

Не роман, не повесть, не сборник рассказов. И в то же время внутри немудреных на беглый взгляд эссе (всего их более двухсот, да еще столько же вошли в предыдущий том) кроются и романы, и повести, и драмы, и трагедии... Часть из них в какой-то мере известна, часть впервые раскрывает нам автор, одному ему (да еще, пожалуй, редактору) ведомыми путями раздобывший по крупице богатейший материал и соткавший из него этот восточный ковёр.

Названия улиц – что может быть более прозаичным. Из города в город переходят улицы с названиями в честь известных личностей – Жаботинского, Арлозорова, Бен-Иегуды... Вот я написал «известных». А так ли это? Я даже попробовал как-то провести доморощенный социологический опрос: попытался узнать у своих вроде бы образованных знакомых, что они могут рассказать, к примеру, о том же Арлозорове. И они неловко отмалчивались, или выдавали что-нибудь настолько далекое от истинной судьбы этого человека...

Когда я читал книгу, у меня время от времени возникало желание немедленно поделиться узнанным, озвучить его, как говорится, погорячему. И я отправлялся в гостиную и в самом деле декламировал вслух домашним рассказ, например, о Викторе Арлозорове, о том, как он в шесть лет переехал из знакомого нам украинского городка Ромны в Берлин и учился там в престижной гимназии вместе с красивой девочкой Магдой. О детской влюбленности, переросшей в серьезные отношения в юности. О том, как спустя годы Магда стала женой Геббельса. А Виктор Арлозоров, уже известный сионистский деятель, приехал в Берлин налаживать эмиграцию немецких евреев и очень хотел встретиться с подругой юности. Это ему не удалось. Но о нем не забыли. Вполне возможно, что это юношеское увлечение и послужило причиной его гибели в 1933 году на тель-авивском пляже...

Перейдем на другую улицу, носящую имя генерала Давида Шалтиэля. И столкнемся с сюжетом для авантюрного романа, изложенным в немногих строках. Родился Давид в Гамбурге в начале прошлого века. В 1923 году приехал в Палестину. Разочаровался в ней и рванул в Италию. Тяготясь работой чиновника, записался во французский Иностранный легион, в 1931 году демобилизовался. И его опять потянуло на Святую землю. Здесь он вступает в отряды Хаганы. Зная о его широких связях, Давида отправляют в Европу закупать

оружие. Вскоре в подмандатную Палестину начинают поступать бочки с цементом, внутри которых – тщательно упакованные винтовки и патроны. Затем отчаянного Давида посылают в родную ему Германию. Но за окном 1936 год, и Шалтиэля арестовывают и бросают в концлагерь. Ему удается вырваться из лап гитлеровцев, снова оказаться в Израиле, и здесь он начинает создавать разведывательную сеть Хаганы. Накануне Войны за Независимость командует соединением, которое проникает в осажденный Иерусалим, доставляя туда продукты и оружие. Генерал Давид Шалтиэль в последние годы жизни служил военным атташе, представляя молодое еврейское государство в разных странах мира. На сколько жизней хватило бы с лихвой событий и приключений, а вот ведь уместились в одну!

Теперь проследуем на улицу Бальфур. Алекс Резников рассказывает о необычном человеке, министре иностранных дел Великобритании лорде Артуре Джеймсе Бальфуре, в дни, когда в России совершался кровавый большевистский переворот, поставившем свою подпись под исторической декларацией: «Правительство Его Величества относится благосклонно к восстановлению национального очага для еврейского народа в Палестине, и оно приложит все усилия к облегчению достижения этой цели».

Конечно, присутствием евреев в любом уголке планеты Земля никого не удивит. И все же поводов для удивления достаточно. Как, например, этот, запечатленный в названии улицы имени Дона Йосефа Наси, чей жизненный путь прослежен в кратком, но таком ярком рассказе. Он родился в 1524 году семье маранов, принявших христианство. Мальчику едва исполнилось 13 лет, когда отец его, преподаватель медицины в Лиссабонском университете, умирает, а сам он оказывается в семье своей тети Грации, которая увозит Йосефа в Антверпен, где ей принадлежит крупный банкирский дом. Затем вместе они переезжают в Стамбул. Там повзрослевший юноша под влиянием религиозной тети совершает брит-милу и вступает в брак с единственной дочерью Грации. Молодой банкир входит в круг доверенных лиц наследника османского престола Селима II. Когда тот пришел к власти, внешнюю политику Османской империи фактически стал определять Наси. А его тетя незадолго до того приобрела концессию на город Тверию, и Наси восстановил городскую стену одного из четырех святых городов Израиля. А еще он очень хотел помочь евреям из Италии переехать на Святую землю... Правда, те не проявили должной сознательности. А зря... Впрочем, до прихода к власти Муссолини и в самом деле еще было далековато. Как и до Катастрофы.

Увлечшись очередным эссе, вдруг спохватываешься: а почему это так интересно читать, ведь все вполне бесхитростно изложено. Но как объяснишь, чем привлекает слушателя рассказчик? Ведь известно, что не только искусство пианиста находится на кончиках его пальцев.

Как, бывало, в школьные годы мальчишки пропускали описания природы и любовные переживания героев, а девчонки – описания батальных сцен, так и в этой книге каждый отыщет что-нибудь по своему вкусу и интересам. Любитель современной истории пройдет по одним улицам, а знаток библейских древностей – по другим.

Лично я зачитывался жизнеописаниями известных раввинов и забывал, что передо мной вовсе не остросюжетный детектив. Впрочем, известно, что сюжеты, которые нам подкидывает жизнь, не снились самому крутому сочинителю авантюрных романов.

...История сравнительно недавнего прошлого открывается на улице Рейнес. Названа она в честь известного раввина Ицхака Яакова Рейнеса. Отец нашего героя в 1837 году после разрушительного землетрясения в Цфате отправился искать лучшей доли на чужбине и осел возле города Пинска в царской России. Вот такая репатриация. И там, на белорусской земле, родился мальчик, который продолжил дело раввина-отца и проявил на этом поприще недюжинные способности. Он сам стал не только раввином, но и, как сказали бы сейчас, известным воспитателем-новатором, автором двухтомного труда, в котором изложил смелые педагогические идеи. И сам же пытался осуществить их, преподавая учащимся своей ешивы и светские предметы, чтобы еврейские юноши по окончании учебы могли успешнее найти свое место в жизни. И потомки его не забыли: не только улица носит имя раввина, но и целый район в Иерусалиме назван в его честь – Неве-Яаков.

Кажется, Чехову принадлежит фраза, что для него не существует проблем – о чем писать. Стоит чернильница – я могу написать о чернильнице. А паче – об улицах... Но вопрос в том – как писать? Алекс Резников ежедневно ходит по улицам Иерусалима и пишет о них. Пишет так, что каждое его эссе чудесным образом уводит нас далеко от того места, с которого началось повествование. И это замечательно.

Могут возразить: дескать, все это действительно любопытно, но при чем тут – Иерусалим? Не о нем же идет речь во многих новеллах, а об отдельных личностях, иногда с этим городом напрямую не связанных.

Но таков уж феномен Иерусалима, что сам он связан со всем человечеством. И дела, и духовные поиски героев книги, которые не без некоторой тенденции отобраны Алексом Резниковым, так или иначе присутствуют в самой ауре этого города – благодаря многим из них еврейская столица существует в своем сегодняшнем виде. Этот город – не только уникальное собрание исторических, теологических, архитектурных и иных подробностей. Он видится мне неким живым и все время развивающимся организмом. Тысячелетиями немало пророков, философов, героев и простых праведников служили во имя его. И доныне эта цепь не прерывается.

Надо отдать должное замыслу автора дилогии (пока только дилогии), его трудолюбию и настойчивости, с которой он второй десяток лет извлекает из забвения судьбы людей, чьи имена для многих превратились едва ли не в ничего не значащий набор букв. Но благодаря труду Алекса Резникова для читателя (для меня – уже несомненно) многие иерусалимские улицы будут теперь излучать свет тех, чьи имена они несут.

Леонид Сорока

ИМЕНА

Давид АДЕСМАН родился в 1935 году в Могилев-Подольском. В 1967 году окончил филфак Черновицкого госуниверситета. Репатриировался в 1994 году. Автор книг стихов «Летние грёзы» (в коллективном сборнике «Жажда жизни», 1989) и «Подснежники в сентябре» (1997), а также переложений из библейских книг, часть из которых публиковалась в израильской литературной периодике. Живет в Иерусалиме.

Цви АЙЗЕНМАН родился в 1920 году в Варшаве. Во время второй мировой войны оказался в СССР и работал в трудармии на Урале. В 1946-м вернулся в Польшу и попытался совершить нелегальную алию. В 1947-м был интернирован британскими властями на Кипр, откуда смог уехать в Израиль только спустя два года. 30 лет проработал в музее «Лохамей а-гетаот».

Пишет на идише. Автор семи книг прозы. Произведения **Ц. А.** переведены на иврит, польский, английский и другие языки. Живет на севере страны в кибуце Алоним.

Елена АКСЕЛЬРОД родилась в Минске, жила в Москве. Закончила филфак МГПИ. Репатриировалась в 1991 году. Автор книг для детей, поэтических сборников и книги-альбома об отце – Меире Аксельроде (1993). Стихи **Е. А.** и ее переводы (с идиша и других языков) включены во многие антологии. Лауреат премии Союза писателей Израиля. Живет в Маале-Адумим.

В «ИЖ» опубликованы подборки ее стихов «Сон о танцевальном классе» (№ 3); «Кофе под "Хронику дня"» (№ 10) и рецензии на книги Юрия Шаркова (№ 5) и Якова Хромченко (№ 7). В «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла книга Елены Аксельрод и Михаила Яхилевича «Стена в пустыне». (2000).

Иеуда АМИХАЙ (1924, Вюрцберг, – 2000, Иерусалим). Репатриировался с родителями из нацистской Германии в 1936 году. Во время второй мировой войны служил в британской армии. В 1946-м прошел ускоренный курс обучения в Учительской семинарии. Участвовал в Войне за Независимость. 15 лет работал учителем в начальной школе, а также преподавал в семинарии для еврейских учителей из стран диаспоры. Окончил Еврейский университет в Иерусалиме, где изучал Танах и ивритскую литературу. Первый сборник лирики «Сегодня и в другие дни» вышел в 1955 году. Затем вышли книги стихов «На расстоянии двух надежд», «В парке», «Сегодня в грохоте», «Не надо запоминать», «За всем стоит великое счастье», «Время», «Великий покой: вопросы и ответы»... Выпустил около 25 книг – стихи, пьесы, рассказы, романы. Его перу принадлежат переводы на иврит из немецкоязычной и англоязычной поэзии. Лауреат многих литературных премий, в том числе им. А. Шлионского (1957), им. Х. Н. Бялика (1976), Государственной премии Израиля (1982). В «ИЖ» публиковались стихи И. А. (№ 5), а также рассказ «Так умирал мой отец» (№ 7). В этом же номере напечатано эссе Зои Копельман о поэте и воспоминания о нем Льва Гилата.

Наум БАСОВСКИЙ родился в Киеве в 1937 году. Репатриировался в 1992 году. Автор трех сборников стихов, а также поэтических переложений книги «Коэлет» («Экклезиаст») и книги пророка Нахума. Лауреат премии русскоязычного СП Израиля. Живет в Ришон ле-Ционе. Работает инженером.

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов «Место, где каждодневно живёшь» (№ 4) и «Новые стихи» (№ 14-15), эссе «Три аквариума» (№ 6), рецензия на книгу Юрия Колкера и заметки о переложении Экклезиаста (№ 7), переложения из книги Исаяи (№ 8) и книги Псалмов (№ 12). В 2000 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла книга стихов **Н. Б.** «Полнозвучие».

Марк ВЕЙЦМАН родился в Киеве в 1938 году. Окончил пединститут и Литинститут им. Горького. Преподавал физику в школе. Репатриировался в 1996 году. Автор семи поэтических книг для детей и сборников стихов «Моление о памяти» (1995) и «Репортаж из Эдема» (1998). Лауреат литературной премии им. Б. Горбатова (1983). Живет в Холоне.

В «ИЖ» публиковались подборки стихов «Пока душа не сменит оболочку» (№ 5) и «Листок эвкалипта» (№ 14-15).

В 2002 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла книга стихов **М. В.** «Третья попытка».

Инна ВИНЯРСКАЯ родилась в Запорожье в 1935 году. Вместе с репрессированной матерью (отец был расстрелян) жила в ссылке в Сибири и на Южном Урале. В 1945 году переехала в Одессу, в 1967-м – в Подмоскowie. Окончила Одесский Институт Гидрометеорологии. Репатриировалась в 1973 году. Одна из основателей поселения Текоа и руководителей поселенческого движения. Работает в Доме наследия У. Ц. Гринберга. Переводы печатались в книге Зеэва Султановича «Ури Цви Гринберг. О Боге, о мире, о времени нашем» (2003). Живет в Текоа.

Ури Цви ГРИНБЕРГ (1896, Белый Камень, Австро-Венгрия, ныне Львовская обл., Украина – 1981, Тель-Авив), выдающийся израильский поэт и публицист. Писал на идише и на иврите. Репатриировался в 1924 году. Один из страстных глашатаев идей ревизионистского движения в сионизме, депутат Кнессета первого созыва от партии «Херут», участник движения за неделимую Эрец-Исраэль. Разрабатывал свободную форму стиха, основанную на библейских текстах и средневековой ашкеназской поэзии на иврите. Лауреат премии им. Бялика (1947, 1957) и Государственной премии Израиля (1957).

Переводы стихов **У. Ц. Г.** публиковались в «ИЖ» № 13.

Яков ЗУГМАН (1931, Одесса – 1976, Москва). Работал врачом-рентгенологом. Стихи публиковались в журнале «Континент» (1981, № 2). Ходившее в списках стихотворение **Я. З.** «Имена моих прадедов мне неизвестны...» озвучил один из мастеров жанра авторской песни Владимир Бережков.

Борис КАМЯНОВ родился в Москве в 1945 году. Репатриировался в 1976 году. Автор трех поэтических и трех юмористических сборников; в его переводе (в соавторстве с раввином Н.-З. Рапопортом) вышла в свет «Песнь песней» с комментариями. Стихи и переводы включены в антологии «Строфы века» и «Строфы века – 2». Стихи **Б. К.** публикуются и в переводах на иврит. Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» публиковались его стихи (№ 12) и переводы из У. Ц. Гринберга (№ 13).

Григорий КАНОВИЧ родился в Каунасе в 1929 году. Автор более десяти романов о жизни литовского еврейства, многих пьес и сценариев художественных фильмов. В 1989–93 гг. возглавлял еврейскую общину Литвы. За романы «Слезы и молитвы дураков» и «И нет рабам рая» удостоен Национальной премии республики. Книги писателя переведены на многие языки. Репатриировался в 1993 году. Живет в Бат-Яме. Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля. В «ИЖ» опубликованы глава из романа «Шелест срубленных деревьев» (№ 1); главы из повести «Огонь и воды» (№ 4); повесть «Вера Ильинична» (№ 13); рецензии на книги Эли Люксембурга (№ 1) и Елены Аксельрод (№ 6); эссе «Дымок “Ноблеса”» (№ 11). В 2002 году в «Библиотеке Иерусалимского журнала» вышла книга **Г. К.** «Лики во тьме».

Аркадий КРАСИЛЬЩИКОВ родился в 1945 году в Ленинграде. Закончил ВГИК, автор и режиссер 20 художественных и документальных фильмов. Репатриировался в 1996 году. Автор книг «Рассказы для детей» (1997), «Дело Бейлиса» (1999) и «Рассказы в дорогу» (2000). Живет в Холоне. В «ИЖ» опубликованы его эссе «Добрые люди Вениамина Клецеля» (№ 11), «Текст и линия» (№ 13) и заметки о книге Г. Кановича (№ 14–15).

Исай КУЗНЕЦОВ родился в 1916 году в Петрограде. С 1931 года живет в Москве. В 1933 году окончил ФЗУ, работал слесарем, библиотекарем, экскурсоводом, актером. С 1938 года – в Театральной студии А. Арбузова и В. Плучека. В 1941 году в соавторстве с А. Галичем и Вс. Багрицким написал пьесу «Дуэль». С 1941-го по 1948-й – в армии. Награжден Орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-ой степени. Автор фильмов «Утренние поезда», «Колыбельная», «Достояние Республики», «Пропавшая экспедиция», «Москва – Кассиопея», «Отроки во вселенной», а также пьес «Два цвета», «Взрослые дети», «Солнечное сплетение», «Приглашение к подвигу» и ряда пьес и сценариев, написанных совместно с А. Г. Заком. С 1974 года, после смерти А. Зака, работает один. Написал пьесы «Портрет трагической актрисы», «Белые флаги», сценарии к фильмам «Медный ангел», «Похищение Савойи», «Ученик лекаря» и др. Автор романов «Лестницы» (1990) и «Все ушли...» (2000). Заслуженный деятель искусств, лауреат Госпремии Российской Федерации.

Яков ЛАХ (Лиховецкий) родился в 1937 году в Киеве. Репатрировался в 1974 году. Работал инженером, переводил современных израильских поэтов, в том числе – роман в стихах Амоса Оза «И то же море». Печатался в литературной периодике. Выпустил новый комментированный перевод «Песни песен» (2003). Живёт в Безр-Шеве. В «ИЖ» № 7 опубликованы его переводы из Натана Заха и эссе о поэте.

Елена МАКАРОВА родилась в Баку. Окончила литинститут им. Горького. Репатрировалась в 1990 году. Автор 20 книг: «Открытый финал» (1989), «Искусствотерапия или Как преодолеть страх» (1986), «Friedl Dicker-Brandeis: Ein Leben fuer Kunst und Lehre (1999)», «Крепость над бездной. Терезинские дневники» (2003) и др. Ее работы в области истории, педагогики и искусствоведения переведены на 10 языков. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы ее наброски к роману «Сценарий прогулки» (№ 7), интервью с Семеном Липкиным, заметки об Александре Адонине (№ 8) и рассказ «На линии огня» (№ 11).

Ольга РОГАЧЁВА (Агур) родилась в Барнауле. С детских лет жила в Баку. Работала в журнале «Молодость». Репатрировалась в 1990 году. Окончила Хайфский университет. Автор книги стихов «Легкое небо» (1995). Живет в Хайфе. В «ИЖ» № 7 опубликованы ее переводы из Йоны Волах.

Ирина РУВИНСКАЯ родилась в Кирсанове Тамбовской области. Окончила английское отделение факультета романо-германской филологии Воронежского Госуниверситета. Работала библиотекарем, переводчиком, журналистом. Автор книг стихов и переводов «Коммуналка» (Харьков, 1995) и «Пока» (Москва, 1996). Печаталась в журналах «Радуга», «Простор», «Лицейский вестник», «Литературное обозрение»; в коллективном сборнике «Отчий дом» (Харьков, 1988), в «Антологии современной русской поэзии Украины» (Харьков, 1998) и др. Лауреат конкурса на лучшие переводы эстонской поэзии (1984). Репатрировалась в 1996 году. В 1997-1999 г.г. училась в докторантуре Иерусалимского университета. Живет в Иерусалиме.

Давид САМОЙЛОВ (Кауфман) (1920, Москва – 1990, Таллинн). Русский поэт, переводчик, стиховед. Участник Великой Отечественной войны. Первый сборник стихов «Ближние страны» вышел в 1958 году. С 1975 года жил в Пярну (Эстония). В «ИЖ» напечатаны не публиковавшиеся прежде «Вступительное слово» к книге Ю. Кима и «Стихи разных лет» (№ 13).

Леонид СОРОКА родился в 1940 году в Киеве. В детстве жил на Урале. Окончил Киевский университет. Работал в газете. Стихи публиковались в литературной периодике СССР, Израиля, США. Автор четырех поэтических сборников и трех детских книг. Репатрировался в 1991 году. Живет в Кармизле. Работает журналистом.

Алекс ТАРН (Тарновицкий) родился в 1955 году в Арсеньеве (Приморский край). С детства жил в Ленинграде. Репатриировался в 1989 году. Автор книги стихов «Антиблок» (1991). Живет в поселении Бейт-Арье, в Самарии. Техник по счетным машинам. Эссе **А. Т.** «Сумерки идеологий» опубликовано в «ИЖ» № 14-15.

Рахель ТОРПУСМАН родилась в 1970 году в Подмоскowie. Репатриировалась в 1988 году. Окончила Иерусалимский университет по специальности «Лингвистика и античная филология». В 2001 году издала книгу переводов Катулла. В 2003 году в переводе **Р. Т.** вышла книга Якова Хисдая «Смутное время: Израиль после 1973 года». Живет в Кирьят-Арбе. Переводы **Р. Т.** из У. Ц. Гринберга публиковались в «ИЖ» № 13.

Владимир ФРЕНКЕЛЬ родился в 1944 году в Горьком, с 1946 года жил в Риге, в 1985-86 годах – политзаключенный. Автор четырех книг стихов. Репатриировался в 1987 году. Живет в Бейт-Шемеше. В «ИЖ» (№№ 2, 3, 4, 5, 14-15) опубликованы его рецензии на книги израильских авторов и подборка стихов «Размышления в пустом кафе» (№ 4).

Владимир ХАНАН (Ханан Бабинский) родился в 1945 году в Ереване. Жил в Ленинграде и Царском Селе. По образованию историк. Репатриировался в 1996 году. Печатался в России, Литве, Америке, Франции, Германии, Австрии, Югославии, Израиле. Автор книги стихов «Однодневный гость» (2001) и книги рассказов «Аура факта» (2002). Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы его рецензия на книгу Павла Лукаша (№ 2) и рассказы (№ 10).

Марк ХАРИТОНОВ родился в 1937 году в Житомире. Окончил МГПИ. Работал учителем, ответсекретарем в многотиражке, редактором в издательстве. Переводил с немецкого (Г. Гессе, С. Цвейг, Э. Канетти, Ф. Кафка и др.). Дебютировал как прозаик повестью «День в феврале» в журнале «Новый мир» (1976, предисловие Д. Самойлова). Автор нескольких книг прозы. Лауреат Букеровской премии («Линия Судьбы, или Сундучок Милашевича», 1992). Живет в Москве. В «ИЖ» № 12 опубликована проза **М. Х.** «Проект Одиночество».

Сусанна ЧЕРНОБРОВА родом из Риги. Репатриировалась в 1991 году. Автор поэтического сборника «На правах рукописи» (1997). Живет в Иерусалиме. Художник «Иерусалимского журнала». В «ИЖ» опубликованы подборка ее стихов «Пустыня и море», эссе о художнике Исраэле Малере (№ 2), эссе «Линия Гимейна» (№ 5) и «Вид на живопись» (№ 9).

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЪВИНЫЕ ВОРОТА

ИЕУДА АМИХАЙ. Сонеты

Перевод с иврита и послесловие Якова Лаха 3

ИРИНА РУВИНСКАЯ. Из иерусалимской тетради. *Стихи* 9

ЕЛЕНА МАКАРОВА. В мизере. *Рассказ* 11

ВЛАДИМИР ФРЕНКЕЛЬ. На этом земном берегу. *Стихи* 17

ВЛАДИМИР ХАНАН. Два рассказа 23

ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД. Между пальмой и липой. *Стихи* 29

ШХЕМСКИЕ ВОРОТА

Ольга РОГАЧЁВА. Знаю, кого пожалею. *Стихи* 36

ЦВИ АЙЗЕНМАН. Голуби. *Рассказ*

Вольный перевод с идиша Григория Кановича 39

АЛЕКС ТАРН. Протоколы сионских мудрецов. *Роман* 44

ПРОСПЕКТ ГЕРЦЛЯ

УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГ. Тучи над Иерусалимом. *Стихи*

Переводы Якова Лаха, Рахели Торпуман, Инны Винярской ... 179

АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ. Кибуц Эстер Файн. *Очерк* 183

ГОРОД ДАВИДА

ДАВИД АДЕСМАН. Переложения из книги Иова 201

НАУМ БАСОВСКИЙ. «...Созерцать красоту господню» 206

РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

ИСАЙ КУЗНЕЦОВ. Такая хреновина. *Рассказ* 219

ХОЛМ ПАМЯТИ

ДАВИД САМОЙЛОВ. Стихи разных лет

Публикация Г. И. Медведевой 228

БОРИС КАМЯНОВ. «Знамя строителя» и его знаменосцы 232

ЯКОВ ЗУГМАН. В те разнообразные годы... *Стихи* 246

ЯФФО, 23

СУСАННА ЧЕРНОБРОВА. Из книги «Электронная почта» 250

НОВЫЕ ВОРОТА

Марк ХАРИТОНОВ, Леонид СОРОКА, Марк ВЕЙЦМАН

о книгах Елены МАКАРОВОЙ, Александра КРЕСТИНСКОГО,
Алекса РЕЗНИКОВА 271

ИМЕНА

Авторы и персонажи 278

Подписку на журнал можно оформить,
прислав свои почтовые координаты и чек на имя
Jerusalem Anthologia
по адресу:

Jerusalem Literary Review, P. O. Box 32297, Jerusalem 91322

Стоимость годовой подписки (4 номера):
В Израиле – 128 шекелей, включая пересылку
В странах Западной Европы и Северной Америки –
\$64 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:
В Израиле – 40 шекелей, включая пересылку.
В странах Западной Европы и Северной Америки –
\$18 США, включая пересылку

«Иерусалимская Антология» благодарит

Татьяну Азиз-Лившиц (Иерусалим), Инну Винярскую (Иерусалим),
Игоря Грызлова (Москва), Александра Дова (Петах-Тиква),
Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква),
Григория Кановича (Бат-Ям), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим),
Аркадия Красильщикова (Холон), Вадима Левина (Марбург),
Якова Лившица (Иерусалим), Виктора Луферова (Москва),
Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим),
Давида Маркиша (Ор-Иегуда), Ренату Муху (Безр-Шева),
Бориса Привина (Иерусалим), Алекса Резникова (Иерусалим),
Дмитрия Сухарева (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго),
Михаила Фельдмана (Безр-Шева), Ехиэля Фишзона (Нокдим),
Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Владимира Фромера (Иерусалим),
Павла Хмару (Москва), Наума Шаца (Иерусалим),
Клару Эльберт (Иерусалим), Асара Эппеля (Москва)

за поддержку журнала

*Любые советы, предложения, а также пожертвования
будут приняты с благодарностью*

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим
Our Account – 215502, Branch 585 (Gilo), Bank Napoalim

От редакции

В № 7 (2001) «ИЖ» был опубликован рассказ «Не укради». Его машинописная копия, на которой автором значился Венедикт Ерофеев, хранилась в архиве члена редколлегии журнала Юлия Кима. В предисловии «Его ли рука?» публикатор выражает сомнение в подлинности указанного авторства. И действительно, недавно нам стало известно, что рассказ принадлежит перу русского прозаика Владимира Маразмизина, ныне проживающего в Париже.

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2003 годах вышли книги:

Дина РУБИНА. «Высокая вода венецианцев»

Елена АКСЕЛЬБРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ. «Стена в пустыне»

Юлий КИМ. «Путешествие к маяку»

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА. «Иерусалимские картинки»

Наум БАСОВСКИЙ. «Полнозвучие»

Илья БОКШТЕЙН. «Быть я любимым хотел»

Илья БОКШТЕЙН. «Говорит звезда с луной»

Илья БОКШТЕЙН. «Авангардист на крышу вышел»

Дмитрий СУХАРЕВ. «Холмы»

Игорь ГУБЕРМАН. «Книга странствий»

Игорь ГУБЕРМАН. «Гарики предпоследние»

Игорь ГУБЕРМАН. «Гарики из Атлантиды»

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»)

Григорий КАНОВИЧ. «Лики во тьме»

Марк ВЕЙЦМАН. «Третья попытка»

Самуил ШВАРЦБАНД. «Схолии»

Марина МЕЛАМЕД. «Перекресток желаний»

Зинаида ПАЛВАНОВА. «Счастье без прикрас»

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ. «Времена речи»

Александр КРЕСТИНСКИЙ. «Дорога на Яффо»

Алекс РЕЗНИКОВ. «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая)

«ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ» (первый выпуск)

*Диск с новыми песнями Александра ДОВА (Медведенко), Юлия КИМА,
Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

Стихи Йоны ВОЛАХ в переводе Ольги РОГАЧЁВОЙ, новая книга стихов
Владимира ДРУКА, новая книга Феликса КРИВИНА, новая книга стихов
Владимира ФРЕНКЕЛЯ, новая книга стихов Сусанны ЧЕРНОБРОВОЙ

JERUSALEM ANTHOLOGIA – www.antho.net

Музей современных израильских художников

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского,
Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток,

Леи Зарембо, Гарика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса
Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета,
Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса

Лекаря, Иосифа Островского, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии

Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман,

Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича

и других мастеров искусства

CONTENTS

LION GATE

YEHUDA AMICHAÏ. Sonnets.

Translation and afterword of Yakov Lakh

IRINA RUVINSKAYA. From *Jerusalem Notebook*. *Poems*

YELENA MAKAROVA. *Misère*. *Short Story*

VLADIMIR FRENKEL. On this earthy beach. *Poems*

VLADIMIR KHANAN. Two short stories

YELENA AKSELROD. Between a palm and a lime tree. *Poems*

SHKHEM GATE

OLGA ROGACHEVA. I know, whom I'll pity. *Poems*

TZVI EIZENMAN. Pigeons. *Short Story*.

Translated from Yiddish by Gregory Kanovich

ALEX TARN. Elders of Zion. *Novel*

HERZL AVENUE

URI ZWI GREENBERG. Clouds over Jerusalem.

Translated by Yakov Lakh, Rachel Torpusman, Inna Vinyarskaya

ARKADY KRASILSHCHIKOV. Ester Fein's Kibbutz. *Essay*

CITY OF DAVID

DAVID ADESMAN. Arrangements from *The Book of Job*

NACHUM BASSOVSKY. "...Contemplating the Divine Beauty"

RUSSIAN COMPOUND

ISAY KUZNETSOV. Such a gimmick. *Short Story*

MEMORY HILL

DAVID SAMOYLOV. Poems of different years.

Publication by G. Y. Medvedeva

BORIS KAMYANOV. *The Standard of the Builder*
and its standard-bearers

YAKOV ZUGMAN. Those dissimilar years

23 JAFFA ST.

SUSANNA CHERNOBROVA. From *E-mail book*

NEW GATE

Reviews by Marc KHARITONOV, Leonid SOROKA,
Marc WEITZMAN of books by

Yelena MAKAROVA, Yelena Makarova, Alex REZNIKOV

NAMES

Authors and Characters

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 16, 2003
ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

Internet version: www.antho.net/jr

Israel Union of Writers in Russian

Jerusalem Anthologia Association

Editorial Board: **Igor Byalsky** (Editor-in-Chief),
Velvl Chernin, Yuly Kim, Shimon Markish, Zinaida Palvanova,
Dina Rubina, Svetlana Schoenbrunn, Roman Timenchik

Executive Secretary – **Leonid Levinson**

Graphic Designer – **Susanna Chernobrova**

Web Designer – **Karina Pasternak**

Assistants Editors and Correctors – **Binah Smekhova, Lyuba Leibzon**

Administrative and technical support – **Olga Aksyutina, Boris Bronshtein,**
Daniel Burshtein, Michael Byalsky, Victor Gopman, Gregory Gordin,
Svetlana Moiber, Anton Mukhin, Ilan Riss, Boris Shtein, Lina
Vilensky

SCOPUS Publishing House

Print: **TSUR OT**

With the support of

Boris Y. Alexandrov (Rostagroexport, Moscow)

Center for the Absorption of Outstanding Immigrant Artists

(Absorption Ministry & Education, Culture and Sport Ministry);

Israel National Lottery Council for the Arts;

Culture Department of Jerusalem City Council;

Copyright © "Иерусалимский журнал" 2003. All rights reserved
Copyrights for publications belong to the Authors

ISSN 1565-1347

Address: P. O. Box 32297, Jerusalem 91322, Israel

E-mail: review@antho.net

Phone: 972-2-6720025; 972-2-6434005; 972-2-6451288; Fax: 972-2-6716184

Jerusalem Review Representatives:

in Moscow: **Igor Gryzlov** – 7-095-5507747; igorgr@dol.ru
Victor Indenbaum – 7-095- 9157178; sifria@mail.ru

in Novosibirsk: **Vladimir Bolotin** – 7-3832-329944; bolotin55@mail.ru

in New York: **Andrey Gritsman** – 1-201-2250090; agritsman@msn.com
Rita Balmina – rita_balmin@yahoo.com

in Chicago: **Alexander Blinstein** – 1-847-6761134; rmasis1@home.com
Yefim Kotlyar – 1-847-5819304; YefimK@aol.com

In Boston: **Tanya Goldmakher** 1-508-8819355; tgoldmakher@hotmail.com

in Paris: **Vladimir Smekhov** – 331-46029978; vladimir.smekhov@wanadoo.fr

in Toronto: **Ilia Lipes** – lipes@idirect.com

תוכן העניינים :

שער האריות

יהודה עמיחי. סונטות – תרגום ואחרית דבר מאת יעקב לח
אירינה רובינסקאיה. ממחברת ירושלמית – שירים
ילנה מקרובה. קלפים – סיפור
וולדימיר פרנקל. בחוף הארצי הזה – שירים
וולדימיר חנן – שני סיפורים
ילנה אכסלרוד. בין דקל לטיליה – שירים

שער שכם

אולגה רוגצ'יובה. יודעת על מי ארחם – שירים
צבי איזנמן. יונים – תרגום חופשי מידיש מאת גרגורי קנוביץ'
אלכס טארן. פרוטוקולים של זקני ציון – רומן

שדרות הרצל

אורי צבי גרינברג. עננים בשמי ירושלים – שירים
תרגומים מאת יעקב לח, רחל טורפוסמן, אינה ווינרסקאיה
ארקדי קרסילשיקוב. קיבוץ של אסתר פיין

עיר דוד

דוד אדסמן. על פי ספר איוב
נאום בסובסקי. "...להתבונן ביופי אלוהי"

מגרש הרוסים

איסיי קוזנצוב. משהו כזה

הר הזיכרון

דוד סמולוב. שירים משנים שונות
פרסום של ג. מדבידיבה
בוריס קמיאנוב. "דגל הבונה" ונושאים
יעקב זוגמן. בשנים המגוונות ההן – שירים

יפו 23

שושנה צ'רנוברובה. מתוך ספרה "דואר אלקטרוני"

השער החדש

מרק חריטונוב, לאוניד סורוקה, מרק וויצמן על ספרים מאת :
ילנה מקרובה, אלכס רזניקוב, אלכסנדר קרסטינסקי

שמות

יוצרים ודמויות

ספרות ישראלית בשפה הרוסית

רבעון אמנותי

אגודת הסופרים כותבי רוסית במדינת ישראל
עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת:

איגור ביאלסקי (עורך ראשי),
רומן טימנצ'יק, יולי קים, שמעון מרקיש,
זינאידה פלבנובה, וולוול טשרנין, דינה רובינה, סבטלנה שנברון
מזכיר - לאוניד לוינזון
ציירת - סוסנה צ'רנוברובה
עיצוב באינטרנט - קרינה פסטרנק
עריכה והגהה - בינה סמחובה, לובה ליבזון
תמיכה לוגיסטית וטכנית - אולגה אקסיוטינה,
מיכאל ביאלסקי, דניאל בורשטיין, בוריס ברושטיין,
ויקטור גופמן, גריגורי גורדין, לינה וילנסקי,
סבטלנה מויבר, אנטון מוכין, אילן ריס, בוריס שטיין

הוצאה לאור: "סקופוס" הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



המרכז לקליטת אמנים עולים
משרד לקליטת העלייה,
משרד התרבות והספורט



מועצת הפיס
לתרבות ולאמנות



עיריית ירושלים
אגף התרבות,
הרשות העירונית לקליטת עלייה

בוריס אלכסנדרוב
מוסקווה, רוסטאגרואכספורט

© 2003 כל הזכויות שמורות למחברים ול"כתב-עת ירושלמי"

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת.ד. 32297, ירושלים 91322
טל. 055-766722, 02-6451288, 054-745322, 02-6720025
E-mail: review@antho.net

